

НИКОЛАЙ

ГРИБАЧЕВ

БЕЛЫЙ

АНГЕЛ

В ПОЛЕ







Повесть «Белый ангел в поле» известного советского поэта, прозаика и публициста Николая Грибачева — одно из лучших произведений о Великой Отечественной войне. В этой книге отчетливо видны различные грани дарования Н. Грибачева: здесь он и лирик, и тонкий пейзажист, и страстный публицист.

Николай Грибачев был непосредственным участником войны, и его военные произведения, проникнутые живым чувством, художественно убедительны, реалистически достоверны.

НИКОЛАЙ ГРИБАЧЕВ

**БЕЛЫЙ
АНГЕЛ
В
ПОЛЕ**

(ПОВЕСТЬ
О СОЛДАТАХ
И КОМБАТАХ)

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ МОСКВА 1975

ОГЛАВЛЕНИЕ

Весной сорок второго	3
Расстрел на рассвете	7
Шаг, шаг, еще шаг...	38
Юргин и Мокрусов	72
Солнце всходит за Доном	98
Кто умрет сегодня	143
Около полуночи	157
Белый ангел в поле...	175
Последний бой гусара	212
Здравствуй, комбат!	243

Грибачев Николай Матвеевич

БЕЛЫЙ АНГЕЛ В ПОЛЕ

М., «Советский писатель», 1975, 288 стр. План выпуска 1975 г. № 76. Художник А. А. Житомирский. Редактор В. П. Солнцева. Худож. редактор Е. И. Балашева. Техн. редактор Р. Я. Соколова. Корректоры Т. П. Лейзерович и Л. И. Жиронкина. Сдано в набор 27/II 1975 г. Подписано к печати 18/VI 1975 г. А 05174. Бумага 84×109¹/₂ № 1. Печ. л. 94 +1 вкл. (15,22). Уч.-изд. л. 15,94. Тираж 150 000 экз. Заказ 227. Цена 69 коп. Издательство «Советский писатель», Москва Г-69, ул. Воровского, 11. Тульская типография «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109.

Весной сорок второго на огромной, с оттаивающими окопами и сырými, как могилы, блиндажами линии фронта от Ледовитого океана до Черного моря было почти что тихо — лихорадочно работали только разведчики и генштабисты. В тылах же, мотаясь по переполненным пассажирским составам, на площадках товарняков, на попутных машинах поспешали во вновь создаваемые дивизии и армии разновозрастные группы солдат, офицеры с курсов и из госпиталей. Так с марта на Кубани под Армавиром формировалась и 197-я, позже переименованная за особые заслуги в 59-ю гвардейскую, дивизия генерала Запорожченко Михаила Ивановича. Он воевал еще в гражданскую войну, был высок, подтянут, остроумен и безоговорочно требователен. И эта требовательность в апреле и мае заставила нас напóлзать по жирному кубанскому чернозему неисчислимо количество километров — кто-то сказал, что в целом по дивизии — до Луны и обратно. Это было, конечно, совершенно безопасно, но нестерпимо, удручающе скучно. Откуда же было нам, мечтавшим о наступлениях, знать, что это была жизнеспасительная скука, что вот такая же степная жирная земля, только на Дону, станет для нас последней опорой у края пропасти?

Двадцать девятого мая сорок второго года мы проводили учения на берегу Кубани. В моих глазах еще стоял горящий под бомбами Смоленск, оседающие в красной пыли старинные соборы и новые здания, расплавленное стекло, падавшее из пылающего дома на тротуар напротив нашей редакции, где мы работали и откуда уходили на фронт вместе с поэтами Николаем Рыленковым, Дмитрием Осиным и вообще смоленским «корпусом культуры», в котором не было лишь Михаила Исаковского и Александра Твардовского — связей со Смоленском они не порывали, но были уже всеизвестны и жили в Москве. Уходя, собирались воевать вместе, но война перемешивала людей, как пшено в кипящем котле, и через год я оказался на Кубани один, в должности командира саперного батальона. И находился я в со-

стоянии странном и двойственном: в памяти стоял смоленский ад, а вокруг по садам источали дурманящий аромат заросли белой акации, серебряные облака лежали на холмах Закубанья, под ветром лоснилась пшеница. И молодые капитаны и лейтенанты в предвидении воскресенья подумывали о танцплощадке в городском саду...

Но вечером того же дня, часу в двенадцатом, командир дивизии собрал нас на срочное совещание. В бархатном небе, как якутские алмазы на современных выставках, мерцали крупные звезды. А командир дивизии был озабочен и немногословен:

— Всем вернуться в лагерь. К утру быть готовыми для погрузки в эшелоны...

Из Армавира, чадя угольной копотью в кубанские степи, эшелоны пошли через Ростов на Лихую, но вернулись в Батайск — Лихая была в огне. Повернули на Сталинград. Когда проехали Арчеду, решили, что нас везут под Москву или дальше на север, но в Филонове в вагон просунул голову старый, с висячими сивыми усами железнодорожник.

— Разгружа-айсь!..

Около ста пятидесяти километров пешим маршем на Дон. Зеленая шолоховская степь. Посвист сусликов. Безмятежное кружение ястреба. Полоса обороны: Пигафевка правее Вешенской — устье Хопра. «Так это же около пятидесяти километров, полоса для армии, а не для дивизии!» — «Ничего, как-нибудь...» И в самом деле — от кого обороняться? Фронт за сотни километров, ни одного самолета, зеркальный Дон. Только и беспокойства для любителей поспать — удары крупной рыбы в омутах.

После совещания в хуторе Гороховском в присутствии дивизионного инженера Домикеева Василия Петровича и комиссара батальона Шульжика Михаила Макаровича я пытаюсь осторожно вести «разведработу» в разговоре с командиром дивизии Михаилом Ивановичем Запорожченко. Улыбается:

— Говорят, ты стихами баловался... Как там поэты пишут относительно будущего?

— «Что там за ветхой занавеской тьмы? В гаданиях запутались умы. Когда же с треском рухнет занавеска, увидим все, как ошибались мы». Омар Хайям.

— Очень хорошо! Читай почаще, особенно на ночь в штабе. Ночи хороши, не спится, каждый ротный, комбат и адъютант до рассвета решает задачи за командира дивизии, армии, фронта, за нашу Ставку и за Гитлера... А окопы копаете — лишь бы пузо спрятать, мостики делаете горбатенькие да шаткие... А если «с треском рухнет занавеска» — тогда что? Прикиньте...

Прикидывали. И не понимали. Наши судьбы писались не нашими перьями.

Директива Гитлера № 1, 1942 года:

«Первоначально необходимо сосредоточить все имеющиеся силы для проведения главной операции на южном участке фронта с целью уничтожить противника западнее реки Дон и в последующем захватить нефтяные районы Кавказа и перевалы через Кавказский хребет».

Цейтцлер, впоследствии начальник немецкого генштаба:

«Если бы немецкая армия смогла форсировать Волгу в районе Сталинграда и, таким образом, перерезать основную русскую коммуникационную линию, идущую с севера на юг, и если бы кавказская нефть пошла на удовлетворение военных потребностей Германии, то обстановка на Востоке была бы кардинальным образом изменена».

Фельдмаршал Паулус:

«Тем самым существовала надежда решить исход войны».

Из «Истории Великой Отечественной войны»:

«Ударная группировка 6-й немецкой армии, перейдя утром тридцатого июня в наступление из района Волчанска, прорвала нашу оборону».

Шестого июля 1942 года я записал в дневнике: «...спим в роскоши, на перинах, по вечерам сидим дома и читаем». И — седьмого июля: «Совещание... Генерал-лейтенант Кузнецов... рассказывает за длинным столом, застланным белой бумагой. Ставит задачу... удержать Дон любой ценой, иначе... «Вы — солдаты, и как солдатам говорю: либо немцы будут остановлены, либо они пройдут, но не раньше, чем все мы умрем. Ясно?»

И отсюда начинается повествование о событиях 1942—1943 годов в донской излучине, связанных с разгромом немцев под Сталинградом, и о людях 59-й гвардейской дивизии, которая закончила свой боевой путь в Вене.

Имена в этом как бы предисловии — подлинные, подлинными являются и некоторые имена в самом повествовании. Когда книга выходила первым изданием, живы были командир дивизии М. И. Запорожченко, дивизионный инженер В. П. Домикеев, командир химвоты Н. Е. Краснов. Теперь их уже нет — война догнала их через десятилетия, преждевременно вырвала из наших рядов. Но продолжают поход, живут и действуют ветераны нашей гвардии комиссар дивизии А. Ф. Сухенко, комиссар саперного батальона М. М. Шульжик, командир взвода, позже полковой инженер И. М. Казаков, политрук второй роты С. Ф. Лапинис, — это он возглавлял поход за «языком» через Дон, о котором идет речь в книге, и поделился некоторыми воспоминаниями со мной, — командиры полков Т. Ф. Андриющенко, снайпер Герой Советского Союза С. М. Вильховский, Герой Советского Союза Геннадий Величко, который на всю жизнь огорчен, что первого на войне при обороне плацдарма ему пришлось убить не фашиста, а своего напарника, бросившего окоп и побежавшего к немцам. Живы и многие другие, поддерживают дружеские связи, проводят встречи ветеранов в местах бывших сражений — в станице Вешенской, Ворошиловграде, в Запорожье и других городах, в которые после яростного боя входили первыми.

Все они для меня — и добрые товарищи, и соратники, и в определенном смысле соавторы, потому что рассказу о сражении предшествовало само сражение, повествованию — деяние.

Почему я начинаю с «фактографии»?

Повествования мои слагались в разное время, на протяжении ряда лет, каждое в своей законченности. Теперь, когда они собрались воедино, мне показалась соблазнительной мысль сопроводить их краткими историческими экскурсами. Человек на войне видит мало и выполняет свою задачу в узкой полосе фронта, но в то же время является участником грандиозных событий, имеющих иногда мировой резонанс. Может быть, мои

ссылки помогут отчетливее увидеть и отдельного человека, солдата и командира, на общем фоне грозных событий 1942 года и лучше понять сущность того, что они делали ценой жизни и смерти. Говорят, что память о прошлом — это капитал, доходы с которого получает будущее.

РАССТРЕЛ НА РАССВЕТЕ

Я предполагал, что он будет написан, этот приказ. Я ждал, что его принесут.

И его принесли. Вечером. Часов в одиннадцать. Не в штаб, а прямо в землянку. Он гласил: мне вместе с комиссаром батальона присутствовать при расстреле Шершнева Вадима Сергеевича. Упомянутый расстрел «имеет произойти» в пять ноль-ноль перед строем командиров частей на лугу, напротив школы хутора Г.

Связной, доставивший пакет, был потен, пропылен и все посматривал в темное, заволоченное облаками небо, где, как на душном болоте, висел комариный зуд немецкого самолета.

— Не труди шею...— сказал ему мой ординарец.— После войны будешь на жирафу похож.

— Летает... Слышишь?

— А что ж ему, по земле елозить? Самолет!

— А как треснет?

— Не треснет. Ничего он там не видит, как слепой на чердаке. Всего дела — на психику давит.

— Кто его знает!

— Я знаю.

— Тебе хорошо молоть, у тебя тут укрытия. А я целый день на виду с бумажками бегаю, аллюр три креста. От нервов одни обрывочки.

— По уму и должность.

— Сам рядовой.

— А рядовые тоже разные. Из одних генералы выходят, из других — олухи царя небесного...

Солдаты чесали языки, а я читал снова и снова. Знал вот, ждал — к тому шло, а теперь, когда это случилось, мысли мои вели себя, как бабы на пожаре, — бегали без толку и хватались за что попало. Первая: «Ага, мы тоже в этом хуторе, идти недалеко...» Откуда, для чего выско-

чил столь идиотский при подобных обстоятельствах расчет? За сто лет не докопаешься. Зачем утром, в такую рань, когда все начинает жить в полную меру — трава, листва, птицы со своим свистом и щебетом? Жестоко. Гуманнее к вечеру, когда догорает день, удлинняются тени, меркнет свет. «Умереть — уснуть». Между тем все было просто и деловито: немецкие самолеты в такую рань еще не бомбят, стало быть, все можно совершить без помех и дать возможность командирам без лишних осложнений разъехаться по своим частям. Военная целесообразность — только и всего.

Посыльный и ординарец, чтобы не мозолить глаза, чуть отошли от землянки и там, уже умиротворенные после стычки, деловито обсуждали, что лучше: когда оторвет руку и ногу или обе ноги?

— Если левую руку, то ничего: и косить можно, и сигарку скрутить.

— Ага. Зато ходячий.

— А если правую?

— Тоже лучше. У меня дядька левша, а бочки вяжет и на балалайке барыню жарит. Тренировка.

— А Хрисуню совсем убило. При бомбежке.

— Это из ваших саперов, что ли? Не знаю, не видел.

— Убило... Подошли санитары, а он готов.

— Война...

Убило, да. А теперь расстрел... Убитых я уже видел немало: случалось, если позволяла обстановка, и сам хоронил их под жидкие залпы трехлинейек. Но то было по законам боя, то было «нормально»: раз война, значит, убивают. Кидается саперной лопаткой последний ком земли, снимаются пилотки, иногда у кого-либо блеснет слеза на глазах — и все, и снова всяк делает свое дело. Завтра могут похоронить и тебя — каждый с утра до вечера под тем ходит. Но расстрел — тут особо... Тут свой своего. Свой делал винтовку, свой набивал патрон, свой будет целиться и стрелять. А ты будешь стоять и смотреть и не посмеешь снять пилотку, чтобы проститься по исстари заведенному обычаю. Странно и страшно. Говорят, в старину сбегались на казнь, как в театр: «зрелищное мероприятие». Читая такие описания, я испытывал отвращение, ненавидел и презирал человеческое стадо, щекочущее собственными нервами видом чужой крови... Теперь будем зрителями мы, я. Где грань, отделяющая

дань бесчеловечной традиции от необходимости военного времени? И есть ли она?

Нырнув в сумятицу размышлений, я позабыл, что нужно отпустить связного: он просидел бы тут до утра, не получив «почты» или разрешения идти, поскольку в дивизии было правило использовать попутчиков, чтобы не гонять лишних людей.

— Ничего не будет,— сказал я связному.— Счастливого пути.

— Иди, иди,— подтолкнул его ординарец.— Топай.

— Дай закурить,— попросил связной.

— Ты всюду так стреляешь? Богат будешь.

— Вышел свой, честное слово.

— У казачек зеленый табак в огороде. Как лес! Проси.

— А сушить и резать когда? Бегаю...

Связной ушел. Ординарец тоже — проводить его.

В углу землянки на тонких жердочках — подсыхая, они источали какой-то почти ладанный запах — лежал мой комиссар, угловатый, крепкий костью и характером сибиряк. Покрытые тощим слоем уже размочаленной соломой, жердочки снизу сильно давили на ребра, а сверху через неплотный накатник тек подсыхающий песок. Место больше для пытки, чем для отдыха. Но комиссар лежал тихо, покойно, досасывая последнюю перед сном папиросу. Вероятно, наученный опытом, на этот раз он решил все обставить «культурненько»: дня три назад уснул прежде, чем выбросил окурок, и теперь на его гимнастерке выделялось пятно не очень искусной штопки. Мой заместитель, молодой кадровый офицер, педант в вопросах службы и в то же время остряк и любитель поэзии — невозможное, но при всем том реальное совмещение, — посмеивался: «Ничего, орденом прикроешь». Но у комиссара не было ордена. И было под вопросом, что случится вперед: орден получит или голову потеряет. Его вспыхивающая и гаснущая папироса напоминала мне маленький эпизод — летел над Доном ночью немецкий самолет, включил пулеметы. Что привиделось ему во тьме, когда невозможно было разглядеть собственные ноги, будто ты вырастаешь прямо из земли? Черт его знает! Но на несколько секунд вспышки и угасания выстрелов отождествились с курильщиком в момент лихорадочного напряжения — затяжка, затяжка, затяжка... До тошноты, когда хочется прополоскать рот водой.

— Что ты об этом думаешь? — спросил я комиссара, когда он также прочитал приказ.

— А что тут думать? Пять ноль-ноль...

— Своего ведь...

Комиссар с сожалением посмотрел на докуренную папиросу, швырнул ее в песок и, немного поколебавшись, достал новую. Спросил:

— А что это такое — «свой»?

— Не знаешь? А дважды два?

— Не крути, капитан. В психологии покопаться хочешь? Душевные болячки почесать? Так я тебе в этом деле не помощник. Знаешь, на одной зимовке в горах человек сам себе ногу резал. Пилой. Представляешь? Боль адская, но — резал... Ибо понимал, своя она была, пока здорова, а с гангреной хуже, чем чужая. То же и с людьми теперь. Как ты своих и чужих определяешь? По фамилии? По языку? По паспорту? Полицай для тебя — свой? Тельман — чужой?

— Эк хватил!

— Междометия не заменяют мысли, между прочим... Кто против кого стоит тут, на Дону? Немцы против русских? Не только. Два духа времени, две идеи, два пути человечества. Прежде хоть какая-то граница между ними была, на картах обозначалась, а теперь и ее нету — бегают от Буга и Днепра до Волги. Настоящая же нынче по умам и сердцам проходит, не удержим ее — жизнь целого поколения пойдет под откос, жертвы и слава революции, завтрашний день, и не только наш. И творится на этой границе всякое и разное. Спроси у нашего дивизионного инженера майора Доломанова, как ему отступить пришлось: одни умирали, расстреляв последний патрон, другие с полными подсумками поднимали руки и топали в плен. Между прочим, вчера из восемьсот двадцать восьмого полка командир роты к немцам перебежал — это как?

— Вадим Шершнев не бегал.

— Да, с ним похуже.

— Значит, только пила?

— А по-твоему?

— Сухарь ты все же. Отбиваешь только прямую линию. Как плотники меловую черту на бревне — слева оставить, справа стесать.

— Ладно, обзывай, я пока посплю. Обзывать — наука

легонькая, ума не требует. А когда вернешься с войны и построишь дом по своей криволинейной технологии, пригласи. В январе, когда мороз заскрипит. Приду послушать скулеж...

Спор завяз в метафористике, как телега в болоте. Так нельзя было ничего доказать, и, поняв это, я только спросил комиссара — а стоило ли применять крайнюю меру? В конце концов, ожидание смерти страшнее самой смерти. Что расстрел? Мгновение. Но в ожидании его человек, вероятно тысячи, сотни тысяч раз видит со стороны, физически ощущает собственную казнь. Каждую секунду летит в него пуля, каждую секунду ощущает он толчок в сердце и падает, падает в темную сырую яму. И видит, как падает... Мороз по коже! И Вадим Шершнева с момента вынесения приговора уже падал, падал, уже казнен, уже умирал сто, тысячу раз. Так и не может ли случиться, что, оставив все надлежащим образом до конца, его помилуют? В последнюю минуту. Но на мои размышления и вопросы комиссар ответил только вопросом:

— Ты в прошлую ночь спал?

— Часа три.

— Заметно.

— Я всерьез.

— Я тоже. Надо было еще часа два прихватить. Иначе мы все станем ненормальными...

Это значило, что комиссар для себя в отношении Вадима Шершнева решил все вопросы. Но, между прочим, точно так же думал, хотя и со смягчением формулировок, дивизионный инженер Вячеслав Михайлович Доломанов, человек серьезный и в делах житейских опытный. Я разговаривал с ним утром на переправе.

Переправа...

Это не было что-либо железобетонное или стальное, с дугами арок или кружевом ферм, сквозь которые светится синее небо, разбитое на ромбы и треугольники. И не имело ничего общего с понтонами, которые ходят, как живые, под танками и машинами. Это был обыкновенный деревянный мост с пологим, буроватого цвета песчаным выездом к центру станицы Вешенской. Ставился он для колхозного житья-бытья, катили по нему редкие полуторки, а чаще стучали быки, таская лесок и сенцо, — цоб да цобе. И был, вдобавок ко всему, идиллический тот сельский мостик единственным на довольно

большом участке Дона. И стоял бы он себе еще десять, двадцать, сорок лет, если бы немцы не прорвали в начале июля 1942 года фронт под Харьковом и в Донбассе. А прорвав, не двинулись на Сталинград, вдавив в донскую излучину, как в мешок, остатки наших разбитых армий.

Теперь, потерявшие управление, рассеаемые немецким бронированным и воздушным клином, до предела измотанные непрерывными боями, части этих армий хлынули на деревянный вешенский мост. На правом берегу Дона для них была смерть, уничтожение или плен, на левом — простор, жизнь, возможность драться... Сначала их поток напоминал струйку, неспешно журчавшую при чистом небе, но уже через три дня вокруг стоял вой и рев, от которого хотелось заткнуть уши. Тысячи машин, танков, тягачей с орудиями мчались и ползли, поднимая в сухой степи бурые смерчи, на эту ненадежную переправу. Мост гудел, и стонал, и покачивался, и не мог пропустить всех. И в лесу под Базками сбивалось, все увеличиваясь, разномастное железное стадо на колесах и гусеницах. И — общее проклятие таких мест — оно не только пришло само, а и приволокло на хвосте эскадрильи немецких пикировщиков, которые знали свое дело. Кинжальные взмахи огня, дым, песчаные вихри, столбы воды, синий бензиновый чад, запах гари, стоны раненых и умирающих, щебеночный град по спинам живых...

У офицеров и солдат этого адского транспорта были серые от пыли лица, красные, с желтыми белками глаза от бессонницы и до крови потрескавшиеся, бурые, как в засуху степь, губы — там, в излучине, истерзанные атаками с земли и воздуха, со смертью, дышащей в затылок, они сатанели от жажды, каждый нерв, каждая клетка тела требовала: пить, пить! Здесь же, когда они, дождавшись в леске очереди, вырывались на мост, под ними двигалась, завивала воронки, рябила, зеленела, сверкала вода, которой можно было напоить половину страны, но ни на одну секунду не могли они остановиться, ни до одной капли не могли дотянуться. Прочь, прочь! Спасайся сам и дай дорогу другим! И если бы кто-либо вздумал нарушить правило, ему бы не дали этого под угрозой оружия... Переправа! Я не знаю на войне места страшнее — и при отступлении и при наступлении.

Вот на этой переправе, которую мы держали и ремонтировали силами нашего батальона, и состоялся разговор

с майором Доломановым. Последние три дня, после того как пикировщики повредили мост, мы играли с немцами в прятки: днем закрывали движение, даже разбирали часть настила, чтоб им казалось, что дело сделано. А между тем весь день, укрытые от наблюдения сверху, мы работали под мостом, устраняя повреждения. Самолеты не видели нас сверху, мы не видели самолетов снизу, из-под моста, а слышали только их рев, и от этого подирал мороз по коже и длинная тень на воде под нами начинала казаться готовой братской могилой. И все же, замечая, очевидно, убыль машин под Базками, немцы раскусили нас. Уже вечером, при осветительных ракетах, они произвели жестокий налет. В ночь под Пигаревкой, в холмистых песках, поросших жесткой травкой, догорали три или четыре немецких бомбардировщика, но зато и центральный пролет моста висел на одной свае, как зонтик.

Сегодня на рассвете мы с майором Доломановым сидели на берегу у моста и гадали: что дальше? На той стороне Дона оставалось еще около пяти тысяч различных машин, а свайный пролет восстановить мы не могли. Нужен был механический копер, у нас же лишь пилы и топоры. А рассвет занимался тихий, золотистый, с щедрым разливом росы по травам — идиллический, мирный рассвет. Даже хотелось ущипнуть себя — не сон ли?

— Сегодня трибунал вынесет приговор Вадиму Шершневу, — вдруг сказал Доломанов. — Последний день.

Подумал, глядя за Дон, где стремительно ширилась зеленая полоска рассвета, прибавил:

— Расстреляют.

— Жалко.

— Да, жаль. Но иначе как? Не представляю.

— А если разжаловать в рядовые? Послать на самый опасный участок?

— Где он, самый опасный? Ты проштрафился чем-нибудь?

— Вроде нет.

— А сидишь в пекле. Ясно?

Из всех, кого я знал, майор Доломанов был самым спокойным и немногословным. В этом отношении он давал несколько очков вперед даже командиру дивизии, комбригу гражданской войны, высокому, сухому, строго-

му. Из этого вовсе не вытекало, что Долومانов не любил покопаться в «проблемах», — нет, он, как всякий из нас, не прочь был на досуге подвергнуть рассмотрению любую из них, от видов на погоду до общих перспектив войны, но высказывался как-то так односложно и исчерпывающе, что разговор вскоре прекращался сам собой. Весьма возможно, что он более сосредоточенно думал, отдавая мысли предпочтение перед словом: давно известно, что самые речистые далеко не всегда и самые умные. Но факт остался фактом. Я полагал, что разговор уже окончен, но Долومانов решил пояснить:

— Куда девать его? В тюрьму? Но это значит дать жизнь в награду по сравнению с теми, кто воюет. Нас убьют, а он останется жить. В рядовые? Но это значит приравнять рядовых к штрафникам. Они-то не вину отбывают на фронте?! У него просто не осталось места между нами, ни одной щели, куда его можно было бы втиснуть. Его уже в действительности нет, поскольку человека вообще не существует без ответственности перед другими. И кроме того, он должен быть расстрелян, чтобы не появилось нового Вадима Шершнева. В целях воспитания.

— Воспитание расстрелом?

— Да. Поскольку распускали вокруг него нюни и слюни прежде. В мире могло сойти. Война предъявляет свой счет — прошлому и настоящему... Постой-ка, что это за спектакль?

По строжайшему приказу в районе переправы все движение было уже приостановлено. Но, вырвавшись из степи, из-под рассвета, наперекор всему и всем миновал Базки и громыхал к переправе тяжелый танк. Он лез, один нарушая безмолвие всей округи, лез, словно бросая кому-то вызов, и за ним, удлинняясь и застывая в недвижимом воздухе, вставала стена пыли, а его правая фара, обесцвеченная уже обозначившимся восходом, колыхалась, как желтый немигающий глаз на морде чудовища. Танк явно нацеливался на мост, но перед красным флажком регулировщика дернулся и остановился, дыша жаром. Вскоре после разговора с начальником поста перешел через мост, пошатываясь от усталости, и сел рядом с нами старший лейтенант. Пилотки на нем не было, на левой щеке синела ссадина с запекшейся кровью. Светлый чуб, сбившийся в колтун от пыли и пота, обвис

почти до левого глаза. Форсист был в свое время танкист! Кратко представившись: «Старший лейтенант Федор Сыромятников!» — он закурил, жадно сделав несколько затяжек, спросил деловито:

— Перемахнем?

— Нет, — ответил Доломанов.

— Добивают, что ли? — кивнул танкист на мост.

— Уже.

— Как-нибудь, а? Ползком?

— Нет.

— Может, помочь чем-нибудь? Бревен подбавить?

Черта стащим!

— Нет.

— Что ж нам, так и стоять тут?

— Можете назад повернуть.

— Люди вы или не люди?

— Солдаты.

— Машину жалко.

— Мост на одной свае.

— Замечательная машина. Зверь!

— Вот и воевали бы. Там, откуда пришли.

— Мы и воевали. Нас попомнят!

— А теперь передохнуть решили? Тут не курорт.

— Курорт теперь только на том свете. У нашей пушки дуло разворочено, ствол погнут. А так все в порядке.

— Значит, и пушку, и все, что в порядке, оставите им.

— Кому?

— Немцам.

— Вы с ума сошли!

— Потихе на поворотах! Сказано — мост на одной свае. Сейчас начнем латать, в ночь пропустим машин пятьсот... если не загремим. Понятно? Пятьсот — и одна. А вы проломите мост, и машины останутся там. Не считая того, что сами пойдете рыбам на корм.

— Мы-то согласны рискнуть.

— Лыко-мочало...

Видимо, до танкиста «дошло». Он вдруг обмяк и ссутулелся, словно за секунду постарел лет на пятнадцать. И внезапно для нас — а может быть, и для себя — заплакал. Открытые глаза словно остекленели, глядели не мигая, а по серым щекам, оставляя желтые следы, поползли редкие крупные слезы, расплываясь грязными пятнами на подбородке и шее. Он плакал с открытыми гла-

зами, как в столбняке, и молчал. Мы курили и молчали тоже. Все, что относилось к делу, было сказано, остальное не имело решительно никакого значения — все как есть, от эмоций до умозаключений и от психологии до философии. До войны мы не жалели слов, волновались по мелочам, спорили и уговаривали — все это осыпалось, как мусор, и осталась жестокая, обнаженная логика самой жизни... Наконец старший лейтенант поднялся, в коротком рывке ободрал пальцами ветку полыни, редкими метелками голубевшей по косогору, и, пошатываясь, поволокся — именно не пошел, а поволокся, словно его тащили на аркане, — на ту сторону. Вскоре танк снова взревел, попятившись, развернулся метров на сорок ниже моста, взрывая песок, двинулся к воде.

— Не понимаю, — сказал я. — Брод искать?

— Тут церковь с колокольной утонет.

— Так куда он прет?

— Сейчас увидим.

— Неужели топиться?

— Может быть.

— Так надо что-нибудь сделать... остановить!

— Его снаряд не берет... Не знаешь, что ли?

Самоубийство. Что ж, и это было не ново. В мешанине зноя, жажды, взрывов, пулеметных очередей, кажущейся или действительной безысходности случалось и так. Перегорали нервные узлы, как пробки в доме, когда подано слишком большое напряжение. И все — вспышка, мрак, конец. Трусость? Нет, трусость поднимала руки и плелась в колоннах пленных, вызывая замешательство и жалость у женщин и детей. Страх? Но если страх, то не смерти — самоубийство приближало, а не отдаляло ее, — страх позора, плена, глумления над человеческим достоинством. Что еще? Полное истощение физических и нравственных сил? Мы не знали этого — и никто не знал и не знает, что думает и чувствует человек в такие мгновения, — а потому никогда не спешили с осуждением. В данном случае страшно было, что все происходит на глазах, словно это какая-то дьявольская сцена, но поделать ничего нельзя: танка не остановишь, за гусеницу не схватиться. И что ни кричи, за грохотом мотора не слышно...

Но я ошибся. Метрах в пяти от воды из танка вылез и спрыгнул на песок водитель. Затем, уже в воду, которая доходила почти до пояса, — и старший лейтенант. Он

стоял в воде и смотрел, как танк, посвечивая желтым глазом и заворачивая узенький манжет пены вокруг башни, скрылся в глубинах Дона и там, в темноте и тине, замолк. Прошло еще несколько секунд, и вода снова угадилась до зеркального блеска. Тогда старший лейтенант шагами вымерил расстояние от левой гусеницы до моста — мы догадались, что надеется когда-нибудь вернуться за машиной, упрямый человек! — и вместе с водителем перешел мост. Через пять минут они уже исчезли за домами Вешенской, ушли в степь, над которой начинало дрожать водянистое марево испарений.

На высоту за Доном выкатилось солнце.

Майор Доломанов — на мой взгляд, совершенно не-кстати — улыбнулся:

— Ну?

— Ужасно! Кажется, собственную спину подставил бы этому танку.

— Не по существу!

— А что по существу?

— Федор Сыромятников. Этот повоюет! Хотел бы я видеть немца, который попадетс я ему на пути... Что ж, зови своих саперов, начнем тюкать помаленьку...

Но «потюкали» мы мало, и то без всякой пользы. Днем, вскоре после полудня, немецкая авиация четырьмя заходами атаковала лесок под Базками. Заполыхал бензин из пробитых баков и канистр, начали рваться снаряды, мины, патроны на грузовиках, бомбы на прицепах. Даже берег вздрагивал от толчков, и по Дону шли мелкие злые волны. Я видел пожар Смоленска, когда дым вкручивался едва не в перистые облака и на тротуары стекало каплями оконное стекло, но там не было такого ужасающего, парализующего нервы грохота, такого ощущения, что земля разверзается и ты проваливаешься прямо в вулкан. К вечеру песчаный, прямо для пляжа созданный берег почернел, покрылся копотью, а уцелевшие в роще ракиты светились, рассыпая искры, как воткнутые в землю головешки. На мост выходили, выползали раненые и обгоревшие. И у девушек из медсанбата, которые их принимали, были безумные глаза. Ординарец принес мне котелок супа, но я вылил его на аэлю — не мог есть, не мог разжать зубы.

Вот где, по мнению комиссара, должен был я, чтобы не стать «ненормальным», урвать два часа для сна. Он не

видел ничего этого, пришел в сумерках с Хопра — был со второй ротой на рекогносцировке, — и я не стал ему ничего говорить. К тому же он уже спал. Сладко спал, легко посапывая, а сверху на него сеялся и сеялся песок. Слушая, как время от времени вздыхает за полуприкрытой дверью часовой — молодой парень, которому зевота сводит скулы, — улегся и я. И на меня сразу, как нечисть из гоголевского «Вия», навалилась темная клубящаяся дрема — шли ко дну черные танки, черные ракеты повисали между небом и землей вверх корнями, черные столбы воды накрывали меня с головой. Наверное, я кричал во сне — тогда это случалось со многими, — но сам себя не слышал. Разбудил меня ординарец: прибыл еще один посыльный из штадива с приказом выслать вторую роту для строительства наблюдательного пункта в песках под Волоховским. Утверждали, что в этом хуторе жил старик, который явился прообразом деда Щукаря в «Поднятой целине», но меня интересовали сейчас пески, только пески. Копать там легко, крепить — чертова работа. Солдаты второй роты, намученные жарой и дальней дорогой, спали мертвым сном, но даже в таком положении можно было кое-что узнать о характере каждого: те, что поосторожней, устроились в примитивных землянках и щелях — все защита при внезапной бомбежке; те, что побеззаботнее, со склонностью к лихачеству, разметались прямо на траве, на которую уже стала выпадать роса. На всякий случай надо было запомнить: осторожные незаменимы в наблюдении, в подготовке переправы, не брякнут наобум, не сделают тяп-ляп, а лихачи хороши в разведке, в бою с быстрым маневром. Нам многому пришлось учиться прямо на войне.

Рота ушла. А мне что, досыпать? Но в пять расстрел... На какое-то время, занятый хлопотами, я забыл о нем, а теперь, когда вспомнил в одиночестве, стало еще больше не по себе. Неподалеку среди ольховых пней и крапивы булькал ручей, выбегающий из небольшого леска, вода в нем родниковая, ледяная. Стянув гимнастерку и майку, вымылся до пояса, закурил, присев на бревно, и опять вспомнил Вадима Шершнева, который должен — я зажег спичку и посмотрел на часы, — должен через один час двадцать пять минут умереть. Темный шатен с блестящими живыми глазами, ладный фигурой, улыбчивый и подвижный, он обещал стать великолепным экземпляром

мужчины. И я понимал молодую женщину на танцплощадке в Армавире, на которую он сразу, едва взглянув, произвел неотразимое впечатление.

Там, на танцплощадке, я с ним и познакомился. Я пришел туда один, когда майский закат переходил в сизоватые сумерки, и он сам подошел ко мне: «Я видел вас в штабе, вы командир нашего саперного. Фронт далеко, девки близко, верно? Вон там танцуют две огневые брюнетки, давайте разобьем». От него изрядно пахло самогонкой, но, когда выпадал случай, мы все не чурались ее, так что ничего необычного в этом и не было. Часов в одиннадцать, когда надо было уходить в лагерь, что в трех километрах от города, он сказал: «Я Люсю провожу, а там видно будет». Люсю он проводил, но в лагерь вернулся только утром. Встретил я его дня через два: он сидел в жидкой придорожной посадке, а по бурому прошлогоднему жнивью с черными пятнами осеннего пала, рассыпавшись цепью, лениво брели солдаты. Увидев меня, комбат помахал рукой:

— Привет, капитан! Заходи — гостем будешь.

Я присел. Закурили. Он засмеялся:

— Вот учу героев от сохи и станка топать на Берлин. А они и ходят, как спутанные. Тебе не случалось пахать?

— Случалось.

— Мне — нет. Но знаю, при слабосильном тягле урочая не жди. Теоретически правильно?

Не встретив отклика — шутка его мне показалась циничной и бестактной, — Вадим вздохнул:

— А за Люсю старик с меня стружку содрал!

— Комдив?

— Нет, до него не дошло. Полковник наш. И чего фыркает, не понимаю! Сам не может и другим не дает. Но я его слабину знаю, умасливаю. Выстрою к его приходу батальон по струнке, лечу, как бес, руку с отлета к пилотке, вытянусь, вроде балерины на пуантах: «Так и так, во вверенном мне батальоне...» У него и Христос босиком по сердцу — топ, топ. Служака! Из тех, знаешь ли: «Смело мы в бой пойдем за власть Советов...»

— А это плохо?

— Нет, почему же! В свое время, на своем месте. Молодых не понимает.

— А тебе за самоволку благодарность объявлять, что ли?

— При чем тут благодарность? Не обращать внимания, как на мелочь...

Разговор мне не нравился — с экивоками разговор, с двусмысленностями. А на самого Вадима Шершнева я смотрел не без зависти: подтянут, вышколен, форма сидит как влитая, гибок, быстр. Кадровик, только что из училища! А мы, те, что пришли из гражданки, в новой нашей форме выглядели первое время ряжеными, мешковатыми, тюхами-матюхами. И в приказах наших маловато было безоговорочности, твердости, того и жди, что за командой «Марш!» будет прибавлено: «Пожалуйста». И внутренне мы терзались, догадывались, что солдаты все замечают и посмеиваются над нами втихомолку. Над Вадимом Шершневым не посмеются!

В мае дивизия проводила маневры — она, кстати, так и не закончила их, была срочно отправлена на фронт. В первую же ночь одна из рот заблудилась: связь была плохая, без телефонов и раций, на своих двоих, а ночь лунная, призрачная, с размытым горизонтом и стертыми ориентирами. Под закат, заставляя вздрагивать, из-под ног черными ракетами выносились перепелки, в придорожной посадке исходили свистом соловьи, сиреневыми облаками всплывали в небо холмы Закубанья. Отыскивая пропавшую роту, я часа два бродил среди посевов, а потом вышел к берегу реки, где в садах текла сметаной и одуряюще пахла белая акация, — вот когда впервые стала мне понятна щемящая тоска излюбленной бело-гвардейцами песни «Белой акации гроздь душистые»! В конце концов, уже проклиная и призрачный лунный свет, и дурманящий запах акаций, а заодно переулки, плетни, собак, я наткнулся на «ставку» Вадима Шершнева. Комбат ужинал у костерка, разведенного прямо в саду.

— Ага, попался! — обрадовался он. — Беру в плен по законам военного времени. Что бродишь, изображая привидение?

— Роту потерял. Ищу.

— Плюнь, никуда не денется. Ты посмотри, ночь какая, может, больше такой нам и не выпадет. Не ночь, а опера... Поешь вот, и пойдём.

— Куда?

— Я тут медсанбат разведал. И есть там три или четыре сестрички — гурии для правоверных! Особенно одна... У них там и антисептик найдется, сиречь спирт.

— Нашел чем заниматься!

— А что? «Мертвый в гробе мирно спи, жизнью пользуйся живущий». В раю, брат, из соотечественниц одна Варвара-великомученица, не шибко разгонишься...

— Иди, если охота. Я — нет.

Вернулся он часа через полтора, разбудил меня только для того, чтобы сообщить:

— Я ошибся. Там не гурии, а фурии. Через брезент язвят и лают, в палатку ходу не дают. Языки же у них — можно вместо хирургического инструмента употреблять.

Я ничего не ответил, от усталости было ни глаз, ни губ не разлепить, а капитан, выпустив еще очередь острот, плюхнулся рядом со мной на траву и уже через секунду захрапел. Так я его и оставил на рассвете и снова нос к носу столкнулся с ним лишь в эшелоне. Железнодорожный путь дивизии первоначально лежал через Батайск на Миллерово, но немецкая авиация разнесла Лихую, и наши транспорты повернули на Сталинград. Там мы простояли часа три, с одиннадцати до четырнадцати, и Вадим Шершнева чуть не опоздал к отправлению. Он был пьян совершенно, когда лыка не вяжут и родную мать не признают, но бушевал и отбивался — его насильно втиснули в теплушку. И даже не в командирскую, а в хвост поезда, к зенитчикам.

Перед вечером, проснувшись, но не проспавшись, он, завидя меня, стал кочевряжиться:

— А, начальник эшелона! Дорожный главком! Вопию и рыдаю — виноват, проштрафился...

— Брось паясничать, комбат!

— Эх, капитан, на ступеньку выше залез — и уже учаешь! А ты мне скажи: куда ты нас везешь? Знаешь? Нет, не знаешь... И никто не знает... Лихая — чик, Миллерово — чик... Потому живи... Баба подвернулась, рюмка — хватай, пока другие не перехватили.

— Спи.

— А я не хочу... Я думаю... Ты, я, они — кто? Временная затычка к бочке... Думаешь, до Берлина дойдем? Я — нет. Ты — тоже нет. А кто дойдет, не знаю... Может, тот еще не родился... давай песни петь: «Догорай-горай, моя лучина...»

— Раскиселился, — констатировал адъютант. — А ну, взяли!

Мы засунули Вадима Шершнева, как сырой тюк, на

нары. Некоторое время он еще возился на соломе и что-то бормотал — за стуком колес не разобрать, — затем уснул. Увидел я его в Арчеде. Только что взойшло солнце, начало пригревать, но из степи тянул ровный, напористый ветер, принося запах полыни и сырой земли, а на западе поднялись перистые облака, обещающая перемену погоды. Паровоз, временами пуская пары, отращивал белые усы, помощник машиниста, хромой сухощавый человек в замасленной робе, разговаривал со старой стрелочницей, закутанной в деревенский платок. Лица у них были усталые, озабоченные. А невдалеке слонялся Вадим Шершнев, собирая какие-то невзрачные цветочки, — он снова был свеж и подтянут, словно ничего не случилось.

— Вчера я много мякины намолот? — улыбнулся он, поздоровавшись. — Как напьюсь, так и несет...

— Было.

— Понимаешь, старого товарища встретил, только что из госпиталя. Руки — как не бывало... Ну, с горя взяли сверх боекомплекта. — Посмотрел на меня пристально, спросил: — В донесение включал? Как ЧП?

— Нет. Пока.

— И не стоит... По-человечески... И себе же лучше: чистеньким прибудешь, без происшествий. В образец поставят. Начальник эшелона без происшествий — тоже этап по службе.

Я разозлился:

— Ты, капитан, начинаешь мне надоедать пустословием. Между прочим, я в армии временно, отвоюю, форму сдам — и привет. Если жив буду. Это вам, кадровым, надо об этапах по службе думать, о генеральстве мечтать. Для вас это профессия...

Почувствовав, что разговор вышел за рамки шуток, он промолчал и ушел в вагон. А я, остыв, решил никому ничего о происшествии не докладывать. Подумал утешительно для своей совести: «Перемелется — мука будет».

Высадились мы на станции Филоново и, пройдя около полутораста километров степью, прибыли на Дон в районе Вешенская — Еланская — Хопер. Никому и в голову поначалу не приходило, что тут и воевать придется, думали, получив оружие, что будем доучиваться, что входим в какой-то особо глубинный резерв. Но дней через десять иллюзиям суждено было рассеяться. В деревянной школе станицы Вешенской, неподалеку от дома Михаила Шоло-

хова, состоялось совещание командиров частей. Столы и парты в школе уже покрылись пылью, сквозь пыльные стекла окон пробивалось солнце, брусками топленого масла лежало на щелеватом деревянном полу. Влетев в раскрытую форточку, бились о стекло два или три шмеля, нагоняя сонливость. Их назойливый зуд, вероятно, отвлекал мысли рыжеватого, невысокого роста генерала, излагавшего обстановку, потому что он вдруг сказал: «Можно было и окна открыть. Впрочем, сойдет и так» — и продолжал рассказывать о прорыве немцев под Харьковом и в Донбассе. Заключил он неожиданно: «Кроме той, что вы занимаете своей дивизией, земли для вас позади нет. Вопросы есть?» Вопросов не было.

Когда генерал уехал, командир дивизии сказал:

— У немцев губа не дура... Разрезают нас пополам и с военной точки зрения, и с экономической — где голова, где ноги. Кто думал, что мы прибыли сюда на казацких харчах жиры нагуливать, самое время очухаться.

Начали расходиться. В толкотне у крыльца я встретил Вадима Шершнева.

— Поздравь, — сказал он, — иду на высоты за Базки плацдарм держать. Вы меня видите, я вас нет... потому что вы, как мокрицы, будете в лесочках копошиться. А я — на голом бугре, на виду у вселенной.

— Почему именно ты?

— Краса и гордость Войска Донского... Откуда я знаю? Приказали — и все. Жребий!

Задача батальона, по правде сказать, была трудная и, чего греха таить, опасная — прикрыть район переправы до эвакуации последнего солдата и последней машины. Весь остальной берег отдавался без боя — его было нечем держать. И Вадим Шершнева сел на высотах, и там я его видел в последний раз — если не считать одного из заседаний трибунала, куда мы были приглашены, но это уже позже.

В тот день я занимался рекогносцировкой у Дона, а заросли там не приведи бог — гущина осокорей, лозняки, перевитые ежевикой, промоины, паутина на сухих деревьях, бурьяны. И духота вдобавок. И комары. И слепни. А потом километра четыре ехал верхом, и лошадь была костистая, тряская. И спотыкалась. Может быть, она никогда не ходила под седлом, может быть, я в казаки не годился начисто. Или мы оба выступали не в своих ролях.

Во всяком случае, я был изжеван и разбит так, что казалось, все у меня внутри начинает рассыпаться на составные части. Однако в Вешенской не только передохнуть, но и пообедать не довелось: дивизионный инженер, ссылаясь на комдива, приказал мне проверить с инженерной точки зрения оборону батальона Вадима Шершнева. Дело уже пошло к вечеру, в степи, накаленной за день, волочились хвосты пыли за машинами и тягачами, уходившими к переправе. У горизонта иногда виделись немецкие бомбардировщики, но к нам не сворачивали, шли на какую-то другую цель. У нас оставался только постоянный сторож — «рама», которая, почти неразличимая в белесом небе, совершала по кругу свои разведывательные вояжи.

В общем, обстановка была спокойная, и я без помех обошел позиции батальона. Потом зашел на командный пункт. Он мне не понравился — узкая, едва повернуться, землянка, прикрытая ракитовыми сучьями, без всякой засыпки.

— Для суслика строил? — спросил я у Шершнева.

— Да я только сплю тут. А жизнь — под солнцем и луной.

— Окопы тоже на живую нитку. Иные даже ходами сообщения не соединены. Ты воевать сюда пришел или загорать?

— Да не разводи ты бюрократию, капитан! Я кадровый военный, боевой устав знаю. Но ведь и смекалка должна быть!

— И что ты смекнул?

— Что воевать всерьез мы здесь не собираемся. У нас даже артиллерии порядочной нет, только противотанковая. И это только во-первых.

— А во-вторых?

— Во-вторых, не хочу строить оборону для немцев — придут и сядут на готовое. Пусть сами потеют, я им не батрак.

— Как знаешь, — сказал я. — Мне в дискуссии с тобой входить времени нет. Доложу.

— Доносик? Я понимаю, что ты привык в гражданке строчить входящие-исходящие, но тут ведь война. Может, учтем, а, капитан?

— Нет, не учтем.

Он посмотрел мне в глаза, усмехнулся, сказал примирительно:

— Ладно, поработаем. Черт с ней! Мне чужих мозолей не жалко, я-то сам копать не буду. А ты там не очень нажимай. Заметил, дескать, некоторые упущения, дал указания, приняты к исполнению... И пойдём поужинаем. Не бойся, спиртного не будет, одно молоко. По степи брошенные коровы бродят, а тут у меня дояр нашелся...

Ужинать я не стал, но дивинженеру доложил примерно в этом роде: «Некоторые упущения, даны указания, приняты к исполнению». При этом я был совершенно уверен, что Вадим Шершнева, как говорится, до центра земного шара закапываться наверняка не станет, но и не подведет — в конце-то концов он малый не дурак, понимает, что за прорехи придется расплачиваться собственной шкурой. Но и при всех смягчениях меня не покидало некоторое чувство вины перед Вадимом — словно я все же пытался ему подставить подножку, набрасывал на него какую-то тень. А ведь опыт войны был и у меня самого не больше — без году неделя. Кстати сказать, не понравился, как я узнал, мой доклад и командиру дивизии — он, как многие другие, любил Вадима Шершнева и считал, что из него выйдет прекрасный боевой офицер. И поэтому, вероятно, так получилось, что, когда майор Долломанов сообщил комдиву мои соображения, тот хмыкнул: «А не фантазер у тебя комбат саперного?»

События как будто подтверждали такое мнение комдива. Спустя сутки немцы атаковали позиции батальона, бросили несколько танков, но батальон выдержал и даже не понес значительного урона. Поскольку для дивизии это была первая стычка с немцами и они убрались не солоно хлебавши, да еще потеряв два танка, в полку и в штабе дивизии наметилось приподнятое настроение. Поговаривали, что наиболее отличившихся солдат и офицеров представят к награде, Вадима Шершнева — тоже.

Но гром этой победы, имевшей больше моральное, чем военное значение, раздавался всего одни сутки.

Назавтра с утра, узнав, что о его храбрости говорят в дивизии и вроде собираются представить к ордену — а ордена тогда давались куда как туго! — Вадим Шершнева послал ординарца на левый берег Дона за «дымкой», местной самогонкой, которая по хуторам и станицам водилась в изобилии. Он считал, что такое дело — первый

успешный бой — обязательно надо «спрыснуть», тем более что немцы, не преуспев в атаке, как сквозь землю провалились. Лишь много после, когда мы стали брать пленных, все стало понятно: бросая на первых порах все силы на главное направление, немцы не слишком заботились о флангах и наносили удары проходящими частями — лишь бы очистить правобережье. Так и получалось, что сегодня они атаковали батальон, а на следующее утро степь перед ними была пуста, хоть шаром покати, и только у горизонта висело бурое марево то ли боя, в котором погибали наши арьергарды, прикрывавшие отступление в глубину излучины, то ли пыли, взметенной ветром, — мы не знали. И солдаты шершневского батальона отсыпались, лузгали подсолнухи да слушали, как посвистывают возле своих нор суслики. И вместе с ними слушал Вадим Шершнев и смотрел, лежа на спине, в белесое, выцветшее небо, истекающее зноем, и томился скукой...

Ординарец вернулся в час — ходил в хутор за несколько километров от Дона, да и реку одолевал не по мосту, а переплывал на лодке выше, как повелел комбат: «Начальству глаза не мозоль, действуй, как в разведке!» Принес две бутылки, больше не достал — часть казачек выселили из фронтовой полосы, часть скрывалась в лесах, чтобы к ночи вернуться, хорошо, что бабка одна попалась с запасом — сидит дома, приказов не признает, твердит свое: «Моя смерть на пороге, искать не надо». В три часа Вадим Шершнев потребовал еще «дымки», но ее не было. Тогда он отыскал адъютанта, который, лежа на животе у окопа, колдовал над картой, сказал:

- Поскучай тут без меня, я — в штаб полка.
- Вызывали?
- Да. Звонили.
- Зачем?
- Понятия не имею. Начальству виднее.
- Перегаром от тебя несет за версту. Ничего?
- Пока дойду, выветрится.
- Смотри сам...
- Смотрю...

Оставшись один, адъютант не переставал размышлять об этом внезапном звонке. Вызывать командира батальона, обороняющего плацдарм, на другой берег? Гм... Что-то он о таких случаях не слышал и не читал. Другое дело — комиссар: того действительно вызвали сегодня ут-

ром на совещание. Но у него и другой круг обязанностей: должен снабжать батальон самой разнообразной информацией, которую по телефону не передашь, живет постоянно под градом вопросов. Ему без этого нельзя, хотя и в бою он со всеми вместе. С комбатом иначе. И к тому же он выпил... Так как сомнения не давали ему покоя, адъютант разбудил связного, который минут двадцать назад сменился и теперь видел первый сон в щели от бомбежек, спросил:

— Из штаба полка на твоей смене звонили?

— Нет.

— Припомни. Может, комбата вызывали?

— Нет.

— Память не заспал?

— Что вы!..

Еще больше встревожившись, адъютант лихорадочно решал: «Что делать? Сообщить в штаб полка? Но если комбат ушел без разрешения, худо будет, совсем худо. Послать вслед порученца? Но что он сможет сделать? Ничего. Вызвать по телефону комиссара? Но разговор станет достоянием связистов». В конце концов он написал записку комиссару, чтобы тот нашел и вернул комбата, — написал, не зная, что комиссару эта записка будет стоить крови. Вручая ее связному, наказал:

— Только лично! Если иначе нельзя будет, проглоти, но никому не показывай. И лети так, словно у тебя под босыми ногами раскаленное железо. Марш!..

Связной сделал все, что мог, но отыскал комиссара уже в конце дня, когда по Задонью, споласкивая серой водичкой перелески и накаленные дороги, полились сумерки. В ботинки связного, пока он мыкался между хуторами, натекал песок, ноги горели, словно он в самом деле шел по раскаленному железу, от голода подвело живот. Он надеялся передохнуть, выпросить у какого-нибудь солдата хоть кусок хлеба, но комиссар вручил ему коротенькую записку на листке блокнота и приказал возвращаться. Он с укором взглянул на комиссара, но тот, жилистый, длиннолицый, со впалыми щеками, склонился над планшетом, засовывая блокнот; в спешке это не получалось — мешали карта и книги, и комиссар тихо выругался. И больше ничего.

Все, что последовало за этим, может быть передано в самой сжатой, почти телеграфной форме. События нале-

зали одно на другое, как вагоны во время крушения. Перед закатом немцы атаковали батальон Вадима Шершнева, обрушив основной удар на правый фланг. Это была какая-то мотомехчасть, появилась она внезапно, и положение сразу стало крайне тяжелым. Адъютант, взявший на себя обязанности командира, был в первые же десять минут тяжело ранен осколком мины. Батальон остался без управления, и лишь выдержка командира второй роты, сумевшего вызвать поддержку артиллерии с левого берега, предотвратила полный разгром. Но третья рота была уничтожена почти полностью — полнокровная, хорошо укомплектованная, не побывавшая ни в одном серьезном деле рота. Лишь далеко за полночь удалось собрать десятка три раненых, а убитые, главным образом молодые солдаты в возрасте девятнадцати — двадцати лет, остались до утра лежать на склонах высоты — их некому было убирать и хоронить. Ночь была суховейная, без росы, и живыми казались только звезды и цикады.

В десять часов пятнадцать минут на дороге неподалеку от штаба полка подобрали раненого комиссара батальона. Рана была не смертельной — пуля попала в бок, прорвала ребро, не задела важных органов, — но сильно кровоточила, и комиссар то и дело впадал в беспамятство. Он едва мог сообщить, что все случилось в одном из домов хутора Г., куда он пришел в поисках комбата, — тот уже натоптал сюда тропинку, захаживал и прежде, когда батальон стоял на левом берегу Дона. Драма разыгралась без свидетелей: хозяйку, пожилую женщину, дня три назад вывезли в тыл, а ее дочь, статная ясноглазая дивчина, с щемящей проникновенностью певшая «Ой ты, Галю, Галю молодая», спряталась у соседей. Она убежала, когда, выйдя в чулан за салом для капитана, услышала в доме выстрелы и крик. Комиссар полка и два солдата нашли в пустом доме перевернутый стол, битые тарелки на полу и среди осколков и остатков закуски пистолет Вадима Шершнева. Без кобуры. В одиннадцать часов отыскали его самого — спал на соломе в сарае. Он не мог идти, висел на руках у солдат и бормотал что-то нечленораздельное — был мертвецки пьян.

Я узнал об этом утром от майора Доломанова.

— Слыхал новости? — спросил он.

— Слыхал. По телеграфу «длинное ухо».

— Что думаешь?

— Крепко пощипали. Роту жалко. Но и то хорошо, что не сбили и не утопили в Дону весь батальон.

— Я не о том.

— О чем же?

— О твоём приятеле Вадиме Шершневе.

— Ранен?

— Хуже.

— Убит?

— Хуже.

— Шуточки,— засмеялся я.— Словесный блуд. Хуже не бывает.

— Бывает. Слышал ты что-нибудь о переселении душ? Вот ты умираешь, а твой дух в свинью втискивают — хватай дерьмо и хрюкай от удовольствия в грязи. Как?

— Противно. Мистика обычно бывает куда поэтичней.

— Еще противней наоборот — когда в человека зверье набивается, свинья в том числе. И это, к сожалению, не мистика, одна из сторон реального бытия. Как рудиментарный отросток — остаток хвоста... от зверья же ведем род свой.

— Самое время заниматься дарвинизмом... Что произошло?

Он рассказал. Я не поверил. Не мог поверить. Не имел силы поверить.

Потом один раз я присутствовал на заседании военного трибунала. На дневном. В маленькой деревянной школе хутора Г., начальной, на три класса. Стены оклеены грубой бумагой, которая и от рождения вряд ли была белой, а теперь выцвела от солнца, пожелтела, пошла селедочными пятнами. На партах, выкрашенных темно-коричневой краской, лежал слой пыли — она мертво отсвечивала в полосах света, падавших из двух небольших окон, в которых так от зимы и сохранились двойные рамы. Присутствовавшие на заседании командиры сидели за партами, неловко подогнув ноги, некоторые чертили пальцами по пыли замысловатые узоры или рисовали штабные обозначения танков, окопов, наблюдательных пунктов, стрелы наступлений и ретирад. Словно они работали над оперативными картами. Я готов был поклясться, что они предпочли бы сейчас находиться где угодно, хоть в бою, только не здесь — большинство даже не поднимало глаз, чтобы не встретиться взглядом с обвиняемым. В левом

углу с часовым за спиной сидел на табурете, также крашеном в коричневый цвет, Вадим Шершнеv. Вместо щегольской шерстяной гимнастерки на нем была обыкновенная хлопчатобумажная, сильно поношенная, и поvерх нее темный, заурядный штатский ватник. Лицо его уже потускнело, словно и на него, как на парты в пустующей школе, навевался слой пыли. Но больше всего поразили меня его глаза — они были безжизненны, невыразительны, словно стекла в покинутом доме, только без крестовин. Я встретился с ним взглядом, зрачок в зрачок, и могу поклясться, что он не узнал меня.

Допрос вел очень пожилой полковник с совершенно белыми висками и лицом, иссеченным мелкими морщинами, — председатель трибунала. Среди судивших он выглядел самым усталым.

— Почему вы покинули батальон?

— Н-не... не знаю.

— Поставим вопрос иначе: какую цель вы преследовали, покидая батальон?

— Я не думал, что немцы будут атаковать.

— К немцам мы еще вернемся. Что вам нужно было на этом берегу?

— Я перед этим выпил. Просто так, от скуки. Захотелось еще...

— Вы понимали, что это значит в боевой обстановке?

— Один человек не решает...

— Я имею в виду устав, а не ваши к нему комментарии.

— Это тяжелый проступок...

Полковник морщится. Глаза его задумчивы и грустны, и мне начинает казаться, что вся эта процедура для него так же мучительна, как для нас, командиров частей, присутствующих здесь не по доброй воле, а по приказу.

— Почему вы решили стрелять в комиссара?

— Н-не... помню.

— Он вам сказал что-нибудь?

— Кажется... Точно не помню.

— Постарайтесь вспомнить.

— Он сказал, что надо идти в батальон.

— И что же?

— Видимо, я отказался.

— Точнее. Форма отказа.

— Я послал его к... Выругался.

— Дальше.

— Он сказал, что я дезертир и...

— И?

— И трус... как будто так.

— Разве это неправда?

— Нет... То есть после первого боя мне было мутро-но, но бежать я не собирался. Прошу поверить. Я хотел отпустить нервы и выпил... Но дезертировать я не соби-рался.

— И после этого вы стали стрелять?

— Не помню. Это могло быть только случайно. Воз-можно, я хотел его попугать, но пальцы уже не слуша-лись...

— Пистолет был в кобуре?

— Нет... Я еще раньше положил его на стол.

— Для чего?

— Мне было не по себе... Один, тишина. А немцы ди-версантов сбрасывают...

— В каких отношениях были вы с дочерью хозяйки? Молчание.

После окончания заседания я некоторое время — нам было по пути — шел вместе с председателем трибунала. Солнце сильно сползло книзу, песчаная улица хутора, днем почти белая, уже порыжелела, а танковые и автомо-бильные колеи, которыми она была иссечена, выглядели теперь синеватыми шрамами на нездоровой коже. Две на-ши тени, длинные и уродливые, качались, ломались на стенах домов и плетнях.

— Неприятная картина, а? — вздохнул полковник.— А сколько их, таких... И в полях тоже — роем, буравим, рвем. Хорошо, что земля своего голоса не имеет, от сто-на душа заледенела бы. А что делать нам остается?

— Да, конечно...

— У вас, у молодых, заживет. Мне хуже — второй раз. Вот на такой предвечерней улице в гражданскую войну однажды чуть и душу богу не отдал: вывернулся откуда-то из леска разъезд белых, рожи потные, пьяные, из-под копыт песок красным огнем... Молоденький офи-цер на сером коне, ладный такой звереныш, как рысь, едва шашкой не достал — хорошо, что за плетень успел свалиться, только по сухой золе «р-р-р». Пулю получил в мякоть ноги. Оно и добило бы, да по хутору тревога пошла, стрельба поднялась... Тогда думалось: ну, мы

свое кончаем, другим заступать. Не выходит вот... Уже, знаете ли, тело покоя начинает просить, но не дается и не дается. И душу вот вдобавок рви с коллегой вашим...

— Скажите, товарищ полковник, в чем тут суть? Загул? Трусость? Случайный шок?

— А я и для себя не во всем разобрался. Не подходят тут упрощения.

— А все же?

— У вас вот, по вопросам судя, прямолинейно все: загул, трусость, шок... Правильно? Как будто правильно. Да только вы от личности идете, от ее единственности. А личность-то эта в стеклянной банке выращена, что ли? Она комплекс, произведение от разных множителей. В этом вашем Вадиме Шершневе разными величинами, не считая водки и девок, сидят папа, мама, дядя, учитель, приятель, комдив, вы, я... Да, и вы и я! Сказочку «Пятачок погубил» случайно читать не доводилось?

— В детстве. Стара.

— Вот именно, вот так... Мы все новую мудрость днем с фонарем ищем, а старый опыт, цены его не учтя,—побоку, побоку! Мол, бабки да матки наши лаптем щи хлебали, пням молились — значит, не пример и не указ... Лихо обобщаем! А вот дельный садовник, к примеру, поумнее будет: яблоко-то повкуснее и покрепче он тоже норовит вырастить, путей к тому ищет, да притом яблоньку и окапывает, как дед еще делал, и побелит известкой, чтобы всякая дрянь не лезла, и сухой или ненужный сучок обрежет, крону формирует... Так-то вот! Не очень я мутно излагаю? Притомился...

— Нет, ничего. Скажите, ранение комиссара — это случайность или умысел?

— Трудно сказать. Шершнев, собственно, был невменяем, а оружие и у трезвых иногда стреляет не к поре. Так что это ничего не проясняет и не меняет. Главное — сломался, изнутри расплзаться стал. Но, кажется, я опять в психологию ныряю... Уж простите, в печенках все это у нас сидит — у тех, кому и резать потом по крупному приходится, и совсем дерево валить, и корчевать даже. Режешь, и мучаешься, и думаешь: а без этого нельзя? Чтобы совсем — вряд ли пока что, а убавить можно. Если б не только знаниями набивать человека, а с самого начала и разумные нравственные пределы ставить — сюда

нельзя, стоп! И в рефлексах это закрепить, в ре-фле-ксах! Мы же иногда больше на словеса уповаем, на уговоры, на, извините, сюсюкающие поучения. Может, я старый ворчун, по-вашему, пережиток, а только я к беде ближе стою и так думаю: не пойдет у нас на сюсюканье дело — особой, даже любопытных, наплодим, а целое по швам затрещать может... Вот этот Вадим ваш...

— Почему мой?

— Ну, наш... Даже вернее... Вадим этот — кто он? Эгоист, себялюбец, своеволец. Ни товарищей он по-настоящему не любит, ни профессию...

— Позвольте, как же профессию? Кадровый военный.

— Да?

— Разумеется. Он сам подчеркивал это.

— Именно сам. А профессия эта для него — прибежище. Сначала он писателем хотел быть, журналистом — на худой случай, но не хватило чего-то: то ли таланта, то ли трудолюбия. Решил в инженеры податься, в электротехнический институт — на экзаменах срезался. И тут подвернулось военное училище... Так и появился на свет комбат Вадим Шершнев, надежда и любимец прямых и непосредственных начальников... Личность без заводной пружины... Ну, извините за болтовню, у меня это вроде отдушины — давление снимает... Горькая ведь это служба — судить. Прощать, добрым быть — полегче, да и ответственности за жизнь человеческую поменьше...

Помолчал мгновение, глядя на дорогу, прибавил:

— А может, оно и глубже все, сложнее... Может, и я, как долбленка на грозовой реке, по гребешкам прыгаю... Будьте здоровы и удачливы...

На том разговор наш и кончился. Полковник ушел к себе на квартиру, а я — в штаб. Теперь я еще раз перебирал все это в памяти, сидя над родниковым ручейком, лепетавшим что-то свое по корневищам ольхи и зарослям крапивы. И даже не сразу заметил, что ручеек вроде замутился, вроде подернулся паутиной — это стал подниматься над ним туман, сырой и знобкий. А сквозь кроны дубов и раakit начинало проступать слегка порозовевшее небо. В нашей землянке загорелся фитиль над снарядной гильзой, и было видно, как надевает и затягивает офицерскую «сбрую» — пояс и ремни — комиссар. Через несколько минут он вышел, раза два присев и выкинув руки, направился к ручью, увидев меня, окликнул:

— Аленушку изображаешь, капитан?

— Да так курю.

— Размышления о бренности бытия?

— Вроде...

Комиссар постоял, подумал, спросил:

— Слушай, ты не можешь меня куда-нибудь послать?

— Могу.

— Куда?

— К чертовой матери.

— Далековато... Я бы предпочел переправу.

— Не хочется на расстреле присутствовать?

— Да... И заслужил он, а свербит в нервах.

— У меня тоже. Но — приказ.

— Да, приказ... Ну ладно, ополоснусь сейчас, и двинемся мы на кухню. Повара небось уже зашевелились, а живым жить надо. Хотя чайку попьем, чтобы не курить натошак. Да еще и неизвестно, доведется ли завтракать и обедать — каша, брат, становится все круче. Вчера листовочку подобрал — фрицы уже в Донбасс зовут, уголек добывать. Свободу обещают и хлеб, только про зарплату чего-то молчат. Скупятся. И зря: в соблазнах нельзя скаредничать, у дьявола опыт перенимать надо...

Попив чаю — он был едва теплым и, настоящий с вечера, отдавал санным отваром, — пошли к школе. Сначала тропинкой вокруг мельничного пруда, где иногда солдаты ловили маленьких черепах и ради развлечения подсовывали их под головы спящих, затем по улице, той самой, где мы беседовали с полковником. Сейчас она была серой, хотя сумерки рассеивались все быстрее, как муть в быстрой реке. Возле школы уже были начальник штаба дивизии, два командира полка, начарт, командир зенитчиков. Курили. Только потому, что молчать вроде неудобно, пытались завести общую беседу, но разговор получался односложный.

— Дождика бы. Пыль прибить.

— Да... А то каждая машина хвост тянет, за тридцать километров с воздуха видна.

— А у зенитчиков гайка слаба.

— Если вообще есть... Переправу проворонили.

— Зенитками все небо не закроешь. Истребителей нет.

— А немцы сплошь вышли на Дон. От Громков до Матвеевского.

— Не до Матвеевского, а до Серафимовича.

— Окапываются. Не без страха живут.

— А кого им бояться? Нас? У дивизии фронт пятьдесят километров.

— Так-то так. А все присос на боку. Саднит...

И ни от кого ни слова о том, что должно было произойти. Можно было подумать, что всех интересуют только практические, будничные, даже без попыток заглянуть вперед, дела войны. Однако это только так казалось. На самом деле то, что должно было произойти, волновало каждого и каждого по-своему касалось, но говорить об этом почему-то полагалось неудобным, и подлинные чувства маскировались ничего не значащими фразами. Без четверти пять собрались все, в общей сложности около двадцати человек, и молчаливой толпой пошли к месту казни. Это был совсем небольшой, не болотистый, но мокрый, низинный лужок, открытый в сторону школы и окруженный с остальных трех сторон сперва каймой низкого кустарника, а дальше молодым леском — тонконогим осинником с вкраплениями берез. Посреди лужка чернела могила с коричневым бордюром торфянистой земли, выброшенной при рытье. Мы все по очереди проходили мимо нее, и я заметил, что на дне уже поблескивает вода, хотя могила была, безусловно, свежая. Появился командир дивизии, бледный, видимо невыспавшийся, хрипловатым от внутреннего напряжения голосом приказал построиться. Мы подравнялись быстро и молча, спиной к восходу, лицом к могиле.

Два конвоира привели и поставили у края могилы — спиной к ней — Вадима Шершнева. На нем была та же хлопчатобумажная гимнастерка, тот же расстегнутый поношенный ватник, а на голове черная кубанка с выцветшим синим верхом. Руки у него были связаны за спиной. Лицо его было серым, будто перед этим притерли кожу золой, но спокойным. Он смотрел прямо перед собой, в сторону школы, где его судили, не разжимая губ, все время как бы что-то глотал, и сквозь расстегнутый ворот гимнастерки видно было, как выпячивается и западает кадык. Только этот движущийся кадык, казалось, и жил, все остальное словно одеревенело в нем, умерло до того, как раздался выстрел. Прозвучала команда:

— Смирно!..

В мертвую тишину упали слова приговора. Раздельные, сухие, беспощадные. Безумная надежда вспыхнула во мне — вот сейчас чтение приговора кончится, наступит пауза, а затем: «Но, принимая во внимание...» И все мы вздохнем с облегчением, и без тяжести на душе взглянем друг другу в глаза, и разойдемся по своим местам, чтобы продолжать эту битву, в которой пока что дела шли от плохого к худшему... Но в прозрачную зеленоватую тишину, такую плотную, что мы казались сами себе запаянными в толщу стекла, упали другие слова:

— Приговор привести в исполнение!

Я думал, что расстреливать будут солдаты из винтовок. Но солдат не было, даже те, что привели осужденного, ушли. Зато, скосив глаза, справа от себя и на шаг впереди строя я увидел пожилого коренастого майора, который, чуть расставив ноги, поднимал пистолет ТТ. Я обязан был смотреть, все видеть — для того находился здесь, — но не мог, закрыл на мгновение глаза. И это также стало потрясением: я вдруг вспомнил рассуждения председателя трибунала о «сомножителях», и мне показалось, что рядом с Вадимом Шершневым стоят еще какие-то фигуры, смутные, плохо различимые, и дуло пистолета в руках майора колеблется перед этим странным и страшным расслоением цели. Может быть, какую-нибудь из них тоже заденет пуля, обожжет пламя выстрела?.. Нервы, нервы... Никто не сумеет сказать, сколько мыслей может пронестись в голове человека за такое короткое мгновение — они летят быстрее света, в каких-то немислимых сечениях и ракурсах, совмещая прошлое с будущим, козявку, ползущую по рукаву гимнастерки, со звездными безднами вселенной. Можно все вспомнить и все представить, даже самое невероятное. Но даже среди самого невероятного не могло у меня тогда родиться предвидения, что двадцать три года спустя я снова приду в знойный полдень на этот лужок, что, шурша пересохшей, побуревшей от засухи уже в середине августа травой, буду искать и не найду могилку Вадима Шершнева — ни бугорка, ни ложбинки. Ничего. И только с полдесятка встревоженных овец, отдохавших в тени, вытаращат на меня добрые и глупые глаза, недоумевая: кто, зачем, чего ради тревожишь ты покой наш?

Раздался выстрел. Он казался тише, глуше, чем я ожидал.

Я открыл глаза.

Вероятно, предполагалось, что осужденный после выстрела запрокинется на спину и упадет в могилу. Но Вадим Шершнев падал лицом вперед — сначала, словно они стали ватными, обвисли плечи, затем руки, потом подломились ноги. Качнулась трава, брызнув сизой крупной росой. Пуля вошла ему в висок, он уже перестал жить, ощущать, понимать, но тело еще дрожало в конвульсиях. Раздался еще выстрел. Все было кончено.

Пришли два солдата с лопатами — не саперными, а обыкновенными, какими копают картошку по осени, — опустили тело в могилу и стали молча засыпать. Командир дивизии подал команду: «Вольно. Разойтись!»

И все стали быстро и молча расходиться — впереди был трудный, жаркий, полный неизвестности фронтовой день...

Станица Вешенская, связанная с именем Михаила Шолохова, представлялась нам куда значительнее и романтичнее, чем оказалась на самом деле. По среднерусским нашим меркам — небольшое село с обыкновенными хатами, с обнесенными плетнем дворами, которые здесь называют — базы. А вокруг — серые, сыпучие пески, едва прикрытые тощими вихрами полыни и растечениями чабреца. И эти пески по ночам визжали и скрипели под колесами грузовиков, тягачей и повозок, — части, соединения, армии, отступая из излучины, уводили свою технику, вытаскивали из огня все, что возможно. Днем же неистовствовала немецкая авиация, были пикировщики. Дегались по дорогам лишь одиночные пешеходы, жалась к лескам и кустикам.

И вдруг при полном солнце, направляясь через Гороховский в тыл, пофыркивает тягач НАТИ. Глазам не верится! Водитель — Куликов Иван Павлович. Немцы уже больше двух дней занимают правый берег, а он только утром переправился. Сам. Без чьей-либо помощи.

В конце длинного разговора мы предлагаем ему уйти в тыл, а трактор оставить. Решительно отказывается.

— Но в тылу вы отдохнете, а тут немцы!

— Я их и поближе видел...

Немецкий генерал Типпельскирх писал:

«Действия немецких войск, казалось, еще раз увенчались блестящим успехом. Но при ближайшем рассмотрении этот блеск меркнул. Русские армии были, может быть, деморализованы, но не разгромлены. Количество пленных и трофеев существенно не увеличилось».

Где теперь генерал Типпельскирх — не знаю. Иван Павлович Куликов живет в Сухуми.

ШАГ, ШАГ,
ЕЩЕ ШАГ...

— Эй, солдат, орудью фрицу подарил?
— Хоть телегу бы прицепил, чего зря дымишь!
— У него, братцы, ось в колесе, а он и не видит.

— Чего увидишь, глаза поперед лба на сто верст драпанули.

— Ишь, с ним гутарят, а он молчок в кулачок.

— Ему чего не молчать — едет. Пусть бы пешки подрал — погутарил бы...

— А ить это, братцы, не солдат, а баба, ей-бо! Солдат — он к супротивнику грудью становится, а баба — она тое самое место кажет...

Степь, всхолмленная, горячая, с тусклым воздухом, похожим на волнистое зеленоватое стекло, курилась пылью от горизонта до горизонта — по всем ее дорогам, насколько хватал глаз, нервозно и поспешно катился поток отступления. В белесом небе, наполняя его гулом, время от времени пунктирно чернели немецкие самолеты, а на земле ухали взрывы, после которых то, как густокронное дерево, вспучивался вихрь праха, то начинало гореть. Сухая муть, зыблясь, заволакивала и заливала кипение людей, коней, машин. Печально мычали истомленные жаждой, с запавшими боками коровы, которых угоняли в тыл, серыми струйками по обочинам текли отары овец. По станицам и хуторам вдоль улиц стояли сивые казаки с испуганными глазами, положились казачки, за юбки которых цеплялись ребятишки, потерянно спрашивали: «А мы как же?» Но поток отступления, пыля и громыхая, катился мимо, и никто, закрученный им, не мог сказать

ничего вразумительного, потому что никто и не знал — что завтра, послезавтра? Беда, неожиданно павшая на огромный край, на десятки, на сотни тысяч людей, обладала страшной лицезримостью, но еще не было ни внятного ее объяснения, ни предвидения последствий. И каждый встречал ее своими тревогами и сообразовывал свои действия с собственным разумением.

Дыша бурой пылью, покрываясь и пропитываясь ею, день за днем продвигался вместе с этим жарким и взбаламученным потоком, тарактел своим колесным трактором и Павел Петрович Самородов. Коренастый, обросший щетиной, с колтуном в волосах на непокрытой голове, он упорно осуществлял свою собственную цель — уйти от наступающих немцев и увести трактор. И пока все шло как будто ничего, и огорчало и беспокоило его лишь то, что, несмотря на всеобщее вокруг движение и мельтешение, чувствовал он себя одиноким и потерянным, как в дремучем лесу, — танки и машины обгоняли его, подводы отставали, а группы пеших солдат и беженцев, то одна, то другая, не успеешь присмотреться, сворачивали с грейдера на проселки и стежки, травневшие среди пшеницы и кукурузы, и как бы истаивали или проваливались сквозь землю. И не с кем было перемолвиться доверительным словом — кто станет слушать! — и только насмеяться над ним находились охотники:

— Эй, казак, орудию фрицу подарил?

— У него, братцы, ось в колесе...

— А ить это не солдат, а баба, ей-бо!..

Он щурил свои сероватые, глубоко запрятанные под густыми бровями глаза, облизывал языком пересохшие губы и тут же сплевывал — в горло лезла всякая дорожная дрянь, — но молчал. Как дерево или камень. Безответно. Ибо все, что двигалось по бокам, впереди и позади, — все это, по его сельским понятиям, был «мир», а с миром, он знал, не перегрызешься, не перелаешься, ему, раз он за тебя взялся, своего не докажешь.

Да и что и кому мог доказать солдат без части, без начальства? Солдат, который бежит? Лучше уж перетерпеть, и еще хорошо, что люди в такой беде шутят, — значит, накатился на душу камень, да не все придавил. Как-нибудь оно, может, и устроится, станет на свое место, только панике в руки не даваться, не повихнуться на озлоблении. В иное время можно бы и сдачи дать, под-

ходящим словцом подколоть, а тут чего уж — всем и так дали, что и некуда больше...

Наступление немцев, никем как будто нежданное, застало его в лесу неподалеку от Северного Донца — вез на прицепе муку по сырой, среди берез и раkit, дорожке с шевелящимися тенями, настраивался позавтракать — перед выездом не успел, бубнил, запинаясь на позабытых словах, «Волочаевские дни», и — на тебе: навстречу подполковник на полуторке с бортами, посеченными пулями и осколками: «Отступаем... Поворачивай оглобли и жми на Миллерово!» И — пошло, поволокло. Правда, теперь трактор гол как сокол, позади только железный крюк да моток стального троса, а тогда он так и двигался с грузом на прицепе. Своего армейского полевого хлебозавода, в котором служил, он так больше и не нашел — начальников, кладовщиков, пекарей, охрану словно корова языком слизала, — но зато в посадке за горящим хутором приобрел попутчика, совсем молодого солдата. Щуплый, с черными, как терновник, глазами, с чешуйчатым от солнца носом, с наспех — сам себе санитар — перебинтованной рукой, подвешенной на вышитом полотенце в наляпах крови, солдат был растерян и перепуган.

— Посыльный я, иду себе из штаба, а они ка-ак дали!

— Немцы?

— Ага. Танки с крестами.

— Где?

— А вот тут, в хуторе. Ка-ак наскочили — дырр... Я — в погреб... Кувшины с молоком там стояли, побил на черепки, а так ничего. Думал, до ночи пересижу, там видно будет, а тут дым сверху как потек, как полился — глаза вон выдирает, чувствую, что сейчас крышка. Ну, высунулся воздуха глотнуть, и тут — трах по руке... Я опять в погреб, задыхаюсь... Потом, когда притихло наверху, голову посунул — гляжу, и нет никого...

— Ладно, садись, — кивнул Самородов на прицеп с мешками. — Разговорами дорогу не одолеешь. Поехали,

— Куда?

— На соединение с войском. Куда, куда!

— А может, тут схватиться? Дым из погреба выветривает...

— Ну и дура, вот дура! Разве от него сховаяешься? Все равно штыком выколупают. А штыки у них знаешь какие? Плоские, как кинжалы.

— Говоришь — войско. А может, его уже и нету, войска, а?

— Тю! — изумился Самородов. — В погребе сидел, а голову не прохладил, психику разводишь. Что оно, войско, сахар в кипятке? Его считать — не пересчитать... Лезь, говорю!

И то ли произвели на солдата впечатление плоские штыки, которыми его будут выколупывать, то ли неисчислимость войска, которое не может растаять, словно сахар, то ли рассудительность Самородова, но он успокоился, поойкивая и чертыхаясь, полез на мешки с мукой и тут же побелился с ног до головы. А угнездившись, приладив удобнее раненую руку, сказал деловито:

— Я тебе, в случае чего, «воздух!» буду кричать.

— Ага... Тебе бы еще зенитку туда, совсем была бы у нас своя воздушная оборона... Персональное ПВО!

— А ты, батя, не смейся.

— Ладно, сейчас слезу пушу. Самое оно для нас, солдат, подходящее дело — носом хлопать, слезами воротник стирать...

И так они и ехали по все больше заполнявшейся степной дороге, и одно время даже подвозили молодую женщину с восьмимесячным ребенком, все имущество которой было завязано в клетчатую шаль — бельишко да малость еды. Когда появлялись самолеты, как бы далеко они ни были, женщина покорно и трогательно склонялась над ребенком, заслоняя его, так что виделась только ее гибкая и сильная спина в синей шерстяной кофте, но не вскрикивала и не паниковала, самоотверженно исполняя тот последний долг, который диктовало ей чувство материнства. Мальчишка же, еще ничего не ведая, то весело гугукал, то похныкивал, а к вечеру стал все чаще заходиться плачем. И перед закатом женщина, попросив остановить трактор, сошла, сказав:

— В хутор пойду. Молока хлопчику надо, свое погорело.

— Может, и совсем тебе тут переждать? С таким мальком в белый свет — неладное дело.

— Муж год как в армии. Председателем сельсовета был.

— Коммунист?

— Коммунист, ясное дело.

— Понятно.

— Я и говорю... Покормлю сынка и в ночь уйду. По-могут люди добрые.

— Ну бывай жива и удачлива...

И дальше день без особых происшествий так и ска-тился за холмы, почадил красноватой пылью и кончился. А когда уже ночь, как сажей, перемела дорогу — не вид-но не только того, куда правишь, а и того, на чем си-дишь,— Самородов свернул трактор в ракитник возле небольшой речушки, журчавшей под мостиком. Из по-мятого котелка похлебали хлеб с луком, раскрошенным в теплой водичке, припахивающей тиной и карасями.

— Каши бы,— вздохнул солдат.— Гречневой, со шваркой.

— Сильная еда! — согласился Самородов.— Ну ни-чего, во сне добудем, только ложку на боевом положе-нии держи.

— Ты вот скажи, батя, опять мы отступаем... Чего?

— Чего, чего... Того самого... Нажал он, значит.

— А мы чего не нажали?

— Раз на раз не приходится, так я думаю... Вот на гражданской войне, скажу тебе, нас белопогонники чуть не месяц гнали — зубами скрипим, а пятимся и пятимся. Ну, а потом мы их... До самого моря, одно им и оста-лось — топись или сдавайся... Море-то видел? Ух, скажу тебе!.. Зеленое все, и волнами, волнами, как пшеница при ветродуе. Только еще белая пена там полошится, а так совсем похоже. Раз один только видел, а сам чуть не подростком был, зеленой луковицей, а стоит в глазах по сию пору, так и стоит.

— Тогда что... Ни танков, ни самолетов не было. А те-перь снизу бьют, сверху бьют, в тылу бьют — куда ни по-вернись.

— Ишь ты... А кавалерия? Она, кавалерия, саблями на солнце как полыхнет, да как на тебя полетит, да как это самое «ура!» гаркнет — тоже не ягодка малина, а му-раши по спине... И главное, ты психику не разводи! Ну, тюкнуло тебя малость, бывает. Через месяц опять пой-дешь на девок заглядываться. Только поперед себя не забегай, ногами зря не сучи. У меня вот дед был рязан-ский по корню, к своему времени и в пехтуре топал не-мало, так он научал нас: «Шаг, шаг, еще шаг — и в Ряза-ни; шаг, шаг, еще шаг — и опять дома». Соображаешь?

— Теперь и на дороге убить могут.

— А ты про смерть мысли не держи. Про смерть думать — жить некогда будет...

Напоследок, пошуршав и похрустев веточками, на которых примасивался подремать, солдат выразил сомнение:

— Муку-то для чего везем? Без прицепа быстрее бы.

— Ну, ну! — оборвал его Самородов. — Хитер бобер, наперекор попер... Мука-то твоя? Моя? Мука — она государственная, под расписку выданная. Хороший батька сына по рукам огреет, если тот кусочек хлеба бросит, а тут вон сколько. Ты спи, а то завтра сморит на жаре. Спи давай!

Да, неоперившийся, неразгонистый еще совсем был солдатик, без разумения жизни, только в обкатку пошел. Из топора супа не сварит. А все же и ничего, понятливый, и повеселее с ним было, компания все же. Но чем дальше, тем больше рука у него разбалывалась, хоть кость и не была затронута, и на толчках он все чаще постанывал, и даже аппетит у него стал спадать. При удобном случае Самородов зачерпывал для него свежей водицы, выпрашивал молоко, бормотал утешительно: «Ты потерпи, сынок, что ж теперь делать-то?.. Шаг да шаг — оно и обойдется как-нибудь... Еще и в орденах домой придешь — чего удивительного! Потерпи только». Однако на подъезде к Миллерову, километрах в десяти, — было это сегодня утром — попался отступающий госпиталь, и молодого солдата, тут же обработав загноившуюся рану, забрали на машину.

— Спасибо тебе, батя, — сказал он на прощанье, расстроганно помаргивая черными глазами. — Сильно помог ты мне...

— А я и не помогал, вместе нас трактор вез.

— Не надо, батя, не маленький я... От сердца говорю.

— Ничего, ничего, — улыбнулся Самородов. — Я тебе, ты мне — держимся. Ничего.

По обычной своей доброте сказал бы, наверное, он и еще что-либо, подушевнее, повнятнее, но машины госпиталя, принимая левее, в объезд города, уже трогались. Может быть, повернул бы с ними и он, но ему нужно было заправиться горючим, и рассудил он — в городе этого добра пруд пруди, все равно выливать и поджигать, чтобы не досталось немцам, — по всему пути так делали. И тут ему не повезло. Немецкие бомбардировщики нано-

сили очередной удар по железнодорожному узлу, где было еще немало застрявших эшелонов, и он как раз угодил в эту перепалку. Одна из тяжелых бомб выворотила мостовую совсем поблизости, и осколки вспороли мешки с мукой, и воздушная волна, непостижимым образом оторвав прицеп от трактора — стар был крюк на прицепе, трещиноват, — швырнула его бортом на железный столб, превратив муку в белое облако. Деревянный кузов прицепа разлетелся в щепки, а правое заднее колесо с отломанным куском оси укатилось к железнодорожным путям. По странной случайности трактор, заслоненный прицепом, не пострадал вовсе, только развернуло его поперек дороги. Жив-здоров был и сам Павел Петрович, но, перебегая из кювета в воронку, которая казалась надежнее, а потом в щель, потерял он сначала пилотку — сдуло ветром, маловата была, — а к тому же обронил где-то вещмешок, самым ценным содержимым которого, не считая мыла и бритвенного прибора, была совсем новая пара белья и запасные байковые портянки, в которых ноге всегда тепло и мягко. Он, правда, вознамерился было пуститься на поиски, но неподалеку, заливая все вокруг пламенем, хлестала из пробитой цистерны горящая нефть. «Бельишко-то жалко, да шкура дороже», — рассудил Самородов.

Теперь, когда солнце стало на сто дубов и жгло, как термитный снаряд, он снова, оставив город позади, ехал один и без прицепа, и кому охота, насмехались: «Эй, дядя, у тебя ось в колесе!» И щетина на щеках и подбородке, поутру темная, с искоркой седины, становилась бурой, и такими же бурыми были сбитые в колтун волосы на непокрытой голове, и пропотевшая на спине гимнастерка, и сам трактор с масляными подтеками. И, не отвечая на насмешки, поскольку это ни к чему, иногда оборачивался он назад, мысленно совал кукиш в побуревшее небо, вслед улетевшим бомбардировщикам: «А трактор-то я увел! Шиш выкуси!»

Прежде, растворенный в привычном распорядке тыловой жизни, представлял он фронт умозрительно, по рассказам других, — пулеметы, минометы, бум, трах, — а если в досужую пору наплывали мысли о войне в целом, то сводились они у него к неким смутным историческим обобщениям: Наполеон и Москву взял, да был бит; русские под иноземцами никогда не живали и жить не ста-

нут, а советские под фашистом и тем более. Как там и когда — не его умом дойти, — а уж оно на свое место угнездится. И уж если выпало так, что надо воевать, то о чем и разговор, надо воевать, то есть каждому делать свое дело, кто к какому поставлен. Иначе же и нельзя, как нельзя не пахать землю, когда пришла весна, не тушить хату, когда она от чего бы то ни было загорелась, и не строить новую, когда от старой остались головешки. А что тяжело бывает — тут чего уж... Всем достается, многим и хуже... Закруглив таким образом свои рассуждения и подперев их опытом понятной жизни земледельца, он со спокойной душой ложился подремать, или обхаживал трактор, или ехал за мукой. Сейчас же, мысленно суя кукиш в побуревшее небо: «Шиш выкуси!» — начинал он все более ожесточаться, как бы вступая в свою особую, личную войну — с немецкими летчиками, с немцами вообще, с самим Гитлером. В первые дни отступления он просто действовал «как положено», спасал «вверенное имущество», выполняя свой долг, теперь же, после бомбежки и потери прицепа, трактор мало-помалу начинал уподобляться особой, что ли, позиции, кусочку территории, отданной под его личную защиту. И ему представлялось, как приедет он в расположение своего фронта, — где он, неизвестно, а должен быть, — и покажет удостоверение, в котором записан его НАТИ-Д-1-19, и скажет — вот он, трактор, в целостности и сохранности, а что прицепа нет, ничего не поделает, боевая потеря...

Из этих размышлений вывел его окрик артиллерийского майора, запыленного, осунувшегося с лица:

- Эй, на тракторе! Минутку!
- Это меня, товарищ майор?
- Именно.
- Слушаю, товарищ майор.
- Конек у тебя что, из-под плуга?
- Так точно. В мае нас вместе призвали из колхоза под Белгородом.
- Трактор не призывают, а берут.
- Оно хоть пнем по сове, хоть наоборот,
- Будь по-твоему. Селезенка не екает?
- В исправности машина, содержал.
- Жаль, не теми подковами кована. Если бы гусеницы.
- Кому что на роду написано...

— Орудие потянет?

— Чего не потянет? А только чужая машина, другой части.

Майор Вороновский, ко всему на свете, что не касалось артиллерии — «бога войны», относившийся несколько свысока, при последнем намеке тракториста почувствовал раздражение. Шатаются вот без толку, ничего не зная, забивают дороги, суетятся, прут куда глаза глядят и еще чего-то из себя строят... И первым его побуждением было крикнуть: «Молчать!» — поставить тракториста по стойке «смирно» и объявить о мобилизации трактора. Однако, посмотрев на заросшее лицо Самородова и решив, что тот ему годится в отцы — самому Вороновскому только что исполнился тридцать один, — он переменился в намерении, сказал примирительно:

— У нас тягач подбило при бомбежке, хоть орудие бросай. Одно бросим, другое — чем воевать? Пустой едешь, в одну с нами сторону — потащи, а?

— Это можно, — подумав, согласился Самородов. — Потащим.

— Ну и хорошо, и да здравствует союз меча и орала! Запрягай — и поехали. Прохлаждаться некогда, каблуки оторвут...

Дивизион майора Вороновского олицетворял собой все, что осталось от артиллерийского полка после того, как на его позиции у Северного Донца внезапно выскочили немецкие танки. Это был десятиминутный кошмар с грохотом, лязгом гусениц, визгом танковой брони при попадании снарядов, полосами жирного чада за горящими машинами, нечеловеческими, леденящими душу криками артиллеристов, погибавших под грязными траками гусениц. И все это происходило в лесу, при треске падающих сосен и ладанном запахе горевшей хвои. То, что майор Вороновский уцелел, было чистой случайностью, какими полна война, но, сформировав из остатков полка дивизион, он стал как бы другим человеком. Выходец из села, вдосталь хвативший в юности лучинного и лапотного лиха, коммунист в двадцать лет, он был человеком цельного, сильного характера, и разгром полка породил в нем не панику и растерянность, что случалось не так уж и редко, а озлобление и ту внутреннюю неистовость и холодную цепкость ума, которые по-настоящему и являются психологическим «хлебом войны», стойко питаю-

щим внутренний мир командира. Даже сейчас, на этом бедствующем и смятенном участке фронта, в открытой степи, заволоченной пылью и дымом, словно горела она где-то внутри, в поддоне, для него не существовало вопроса: кто кого? — а только вопрос: как ему действовать возможно наилучшим образом? Поэтому, хотя и смотрел он на трактор Самородова пренебрежительно, разговаривал о нем в тонах насмешки, в действительности он был рад неожиданной «выручке».

Расчет осиротевшего орудия помог Самородову «запрячься». А любопытствующий водитель последнего в колонне тягача, рябой от оспы, с приплюснутым носом и разбойными глазами солдат, сказал:

— Битый битого везет.

— Чего? — не понял Самородов.

— Ничего. Сказочки рассказываю. На основе буквы для первого класса.

— Если такой сказочник, в детский сад нанимайся, няней, — съязвил Самородов.

Рябой засмеялся:

— Не пыли, пехота, чихать охота!

— Разговорчики! — прикрикнул молодой лейтенант.

Дивизион тронулся, и выгоревшая гимнастерка Самородова, подсохшая на ветерке при короткой остановке, снова начала темнеть, подтекать потом. Опять вдоль дороги двигались беженцы и разрозненные пехотные части, иногда небольшая колонна машин; иногда, приламывая посадки, проносился, как паникующий бык, одинокий танк. Время от времени, порождая бесполезную нервозность и суетливость, перекатывалось от задних к передним, из бог весть где затерянного хвоста к бог весть где затерянной голове потока, протяжное: «Во-о-оздух!» И, как положено, Самородов, кося в него сероватыми, глубоко посаженными глазами, без излишней торопливости, но как-то очень споро устраивался под трактором, если вокруг было голо, или совался в кювет или ямку, если они были, и, ощущая животом, грудью, густо обшестиненной щекой теплоту нагретой земли, бормотал: «Ничего, живы будем — не помрем!» И в нем нарастало и нарастало ожесточение. А при всем том ему было и страшно, и он не только ощущал, но и понимал силу этого страха и не стыдился признаться в этом самому себе и, твердо веря, что существуют герои, которым сам черт

не брат, не то чтобы завидовал им, а считал их людьми другого, более высокого разряда, имеющими над ним такое же превосходство, как гусеничный трактор над колесным или самолет над грузовиком. Но когда после бомбежки рябой солдат, все больше прицеплявшийся к нему со своими разговорами, спрашивал его: «Ну как, дядя, продаем дрожжи?» — он усмехался: «Ничего, славно передохнул в теньке!»

Вечером, когда в степи стемнело, стали привалом в лесистой балке. Листва в ней была пыльная, трава пыльная, и все почему-то пахло гарью, но сама передышка была прямо-таки счастьем, которое понятно только вконец измаявшемуся человеку. Поужинали кто чем, костра не разводили — в небе зудели самолеты, — сухоедение запили теплой водичкой из железной бочки, в которой, по всему судя, еще недавно возили бензин. Самородов, поев и попив, уже выбрал обсохшую промоину возле трактора, в меру покатую, так что было удобно лежать, и совсем собрался спать, когда к нему подошел рябой:

— В люксе устроился, дядя? Две перины под боком — справа кочка, слева ком?

— Ничего, способно. Угреюсь — и ничего.

— А куда это, скажи, пожалуйста, пер ты нынче, выкатив zenки? Искал по свету, где оскорбленному есть чувству уголок?

— Отступал. С вами по одной дорожке.

— Умные-то на своих двоих отступают, пособнее выходит. Нырнул в балку, в лесок — поминай как звали. До самой Москвы можно прошмыгнуть без единой бомбежки.

— Тебя, что ль, в Москву звали? Меня — нет.

— Для отрыва от Гитлера. Тут чем дистанция длиннее — тем и шанс больше.

— А трактор?

— Чего — трактор?

— За мной он. Вверенное имущество.

— Тю-тю! Города оставляем, заводы, земли... А тут что и спасать — керосинку на колесах.

— А орудию вашу тянет... Гусеничных не хуже!

— Нашел чему радоваться! С этим делом, так считай, влип ты по самую макушку. Как муха в блинное тесто — оглянуться не успеешь, и на сковородке. Понимаешь ты, что значит с артиллерией связываться? На нее,

дядя, все охотятся в первую очередь — и самолеты, и танки, и пушки, само собой. Как на льва в Африке. Пехотинец что? Пехотинец для фрица — козьявка с карабином, главное — артиллерию сбить.

— Поучаешь, а сам тут же.

— Мне нельзя, — хмыкнул рябой. — Уйди я — в дезертиры запишут, значит, на край ямки и — пиф, паф, ой-ой-ой, умирает замечательная личность. Я, дядя, на привязи. Это у тебя веревочка перетерлась.

— Козел я тебе, что ли?

— Нет, трепетная лань. Но это не имеет значения.

— Сам на привязи — сам и ходи. А меня не тронь, без тебя соображу, что к чему.

— Тоже мне маршал Кутузов в Филях!

— Уж какой есть... И ступай ты, поспать дай.

— Хо-хо, сознательный! — засмеялся рябой. — Подумал небось чего такое... А это я тебя, дядя, на политическую идейность проверял. Приемьш ты у нас, личность под знаком вопроса.

— Ты себя потряси, может, мусор и посыплется. А я с гражданской войны все проверки прохожу, у меня от них печати негде ставить.

— Я найду!

— Иди, иди, не тарахти...

Рябой солдат принадлежал к числу тех бесполезно хлопотливых людей, которые, считая себя умнее и сообразительнее всех других окружающих, без конца плодят различные мнения и соображения, как в том анекдоте: «Мое дело заявить, а там разбирайтесь сами». Любят они поиграть фразой, пококетьничать словом, но мысли у них, в общем, поверхностные, и никому от них никакого толку, только перевод времени, однако обладают они воистину неотразимой способностью — утомлять и раздражать. Именно этого и добился своим разговором рябой, и, хотя Самородов хотел спать и, по его разумению, вполне добротнo для этого устроился, сон к нему не шел. Степь, остывая, начинала рождать запахи цветов и трав, пригасившие днем на пыли и солнцепеке, в синей мгле неба туманились звезды, и думы у него шли практические: что, хотя, когда ехал он один, был сам себе голова, однако же теперь, когда артиллеристы взяли, оно и лучше, словно из единоличников в колхоз вступил; что колхоз его, в котором он десять лет бессленно проработал тра-

ктористом, теперь оккупирован и разорится немцами, так что дел после войны будет — невпроворот; что собирался вот отправить жену с ребятишками на Урал к родственникам, да не отправил, и теперь придется им хлебнуть большого горя, и тут ничего не поделаешь, тут одно — жди и надейся; что он вот хоть и не с разносолов, а насытился, и лежать ему ничего, способно, и поспать можно, в тылу же где-то мужчины преклонных лет, и женщины, и подростки на тощем пайке сидят, съел и гадай — обедал, нет? И ночью у станков маются, пушки, снаряды делают, танки, тракторы тоже, и такие, как вот его; и если они тут на фронте без толку бросать их станут — так это и неизвестно даже, как назвать, и не подберешь такого поганого слова... Хату крестьянин годы собирает, по бревну, по досточке, а растянуть при толоке — и часа много...

Ему казалось, что он только-только привалился и сомкнул глаза, что и первого сна прилечь не успел, как началась побудка. В степи едва серело, сер, а не розов был и прикрытый облаками восточный край неба. Порывисто, толчками расшевеливая листву, дул прохладный ветер, и некоторые солдаты надели пыльные, словно изжеванные шинели, серыми привидениями топтались у машин и орудий. Майор Вороновский, фигура которого угадывалась издали даже в сумерках по собранности и резкости движений, ходил от тягача к тягачу, поторапливал:

— Поворачивайся, поворачивайся! Как бы дождь не ударил, потонем в черноземе. А нам бы сутки хорошего хода...

— Дождь или бомбы,— сказал рябой солдат.— Или вместе...

— Разговорчики! Бомба не снаряд, одна на цель — тысяча мимо. Если бы летчики били, как мы, нас бы давно на свете не было.

У Самородова он спросил:

— Отдохнул конь? Не подведет?

— Выдюжит, товарищ майор.

— Ну смотри... Вытянешь — совсем в артиллеристы зачислим. Гусеничный тягач дадим.

— Вы мне, товарищ майор, первым долгом пару белья выдайте. Последнюю в бомбежке загубил. Задубеет, а смениться нечем.

— Дотянешь — две дам. Одну свою.

— Вот спасибо на слове...

— Спасибо потом. Двинули!..

Но не получил майор Вороновский суток хорошего хода, как Самородов не только двух, но и одной пары белья. Пугавшая артиллеристов туча на востоке поднялась до трети неба, огрузла, навалилась на вихры посадок под горизонтом, даже, казалось, потянуло от нее мокрым ветерком и донесся отдаленный гром, но потом она стала блекнуть и растаяла. Это спасло дорогу, но расчистило небо для немецкой авиации — желтобрюхие, с крестами, словно в небо поднялся какой погост, бомбардировщики то и дело гудели над степью. Для дивизиона это имело те последствия, что он мог двигаться гораздо быстрее, чем прежде, — беженцы и машины, все, кто мог, устремились на проселки, тягачи шли на полной скорости, какую из них можно было выжать. Лишь временами, когда рев в небе становился особенно густ, приходилось пережидать в тени посадок. Однако в большой, на перекрестке дорог станице, куда дивизион спустился по длинному пологому склону около трех часов дня, ему было приказано остановиться. Тучный генерал-полковник, в заляпанных глиной сапогах, с красными щеками, на которых тускло отсвечивала седая щетина — он уже два дня не брился и за две ночи не больше трех часов спал, — приказал майору Вороновскому и двум батареям сорокапятимиллиметровых пушек, тоже оказавшихся здесь случайно, перекрыть и удерживать до ночи дорогу.

— Пехоты тут до двух рот, да не в ней дело... Танки идут. Дорогу расчищают, вроде бульдозера. Сбейте им темп!

Генерал тут же — рвалось, наверное, где-либо и в другом месте — и уехал, передав командование прибывшему с ним полковнику пехоты. Пожилой, с явно выступающим брюшком, тот, сняв пыльную фуражку и пригладив волосы на лысеющей голове, спокойно и выжидающе оглядел командиров из-под насупленных бровей, спросил:

— Ваши соображения? Только коротко.

— Сил маловато, — сказал капитан из сорокапятников и осекся, почувствовав, что выпалил не то.

— У него, у немца, тоже, — буркнул полковник. — Там, у танков в тылу, еще наши дерутся.

Людей, долго отступающих, появление танков против-

ника всегда ошеломляет, но немногословие и спокойная деловитость полковника как-то быстро остудили нервозность. Самородов же, трактор которого находился рядом с беседующими командирами, все смотрел на полковника. «Где я его видел? — копался он в памяти. — Еще на гражданской войне? Так теперь бы не узнать, много воды утекло... Во время коллективизации? На областном слете трактористов?» Но так и не вспомнил.

Майор Вороновский разместил свой дивизион по краю садов, взбегавших в гору. С фронта батарею прикрывала балка, и прямо перед ними, по противоположному склону, заворачивая серым удавом влево, лежал грейдер, по которому артиллеристы только что прошли сами. «Хороша позиция, — подумал майор Вороновский. — Если фрицы пойдут колонной и подставят бока, насыплем уголька в штаны!» Тягачи, трактор и два прицепа с имуществом отвели в сады позади батарей. Артиллеристы начали лихорадочно окапывать орудия и делать щели, но работа не была выполнена и на треть, когда за вершиной противоположного холма поднялись клубы пыли и слышался лязг железа. Немцы в самом деле шли колонной, как на учениях, но после первых же залпов танки натренированно стали рассредоточиваться, расползаясь вправо и влево. А развернувшись по фронту, остановились и открыли огонь с места.

— Сволочи! — выругался Вороновский. — Боятся атаковать с ходу, поводыря ждут...

И не ошибся — вскоре с запада, прямо по курсу грейдера, поднырнули десятка два пикировщиков. Из танков метнулись не очень яркие при дневном свете красные сигнальные ракеты, и пикировщики, выстроившись кругом, центр которого постепенно смещался к дивизиону Вороновского, начали свою работу. Это была бомбежка не «все вдруг», а методическая обработка целей; в конце чуть разомкнутого круга очередной бомбардировщик клевал носом, заваливался и, грохоча пулеметами и подывая, шел к земле; дойдя до какой-то точки, метрах в двухстах — трехстах от земли, он открывал люк, из которого выскальзывала пачка бомб — их можно было не только пересчитать, а даже, казалось, и прочитать надписи на боках; бомбы шли на цель, а пикировщик, дрогнув, задирает нос и пристраивался в круг. За первой волной бомбардировщиков прошла вторая, и лишь после этого

танки, маневрируя и стреляя с ходу, двинулись вниз. И сразу же один из них закрутился на месте — самый нижний, напоротившийся на сорокапятчиков, а два других, прямо против дивизиона Вороновского, загорелись. Три или четыре из головных, все еще маневрируя, продвигались вперед, но некоторые уже и попятились выше по склону. Возможно, нарвавшись на отпор, танки попросту обошли бы позиции артиллерии, но справа далеко уходила в степь балка с крутыми краями, а слева, ниже мостика, речка образовала заболоченные низинки, и немцы, видимо, не хотели рисковать.

— Теперь игра на нервах, — сказал Вороновский командиру первой батареи, известному в полку гитаристу и любителю женского пола. — Теперь — не спешить и не зевать...

Отведя трактор в сад, для чего пришлось промять плетень, Самородов приткнул его к старой, с трещинами в коре и отодранным суком яблоне и, достав лопатку, стал аккуратно и споро, как все делал в своей жизни, копать щель по обрезу кроны, чтобы не попортить корни дерева. Он понимал, что яблоня выродилась и хиреет, но чувство хозяйственной бережливости, властное в нем, как инстинкт, не позволяло ему без нужды губить еще живое — война войной, а что можно сберечь, то и надо сберечь. Добром кидаться — досыта век не наедаться. А тут и чужими руками сколько погублено будет... Минут через десять к нему подошли два других водителя, тот, рябой, с которым он лаялся прежде, и другой, помоложе, подтянутый, русский, с ясными глазами.

— Гляди, дядя погреб копает! — засмеялся рябой. — К зиме соленые огурчики заведет, капустку и прочую закуску.

— А, опять ты, — разогнув на минуту спину и отирая грязным платком потный лоб, усмехнулся Самородов. — Вот посечет тебе фриц осколками то самое место — войдешь в ум.

— Мне ума не занимать, другому могу одолжить без отдачи. Не обеднею! А дот я уже себе сварганил, метр семьдесят да глубиной двадцать пять. Точно укладываюсь, включая все возвышенности.

— Брось, Кругликов, — сказал русский солдат. — Он правильно поступает — тут так, что больше попотеешь, дольше поживешь,

— Вот попал я в кротовое войско! — осклабился рябой. — Роют, копают, роют, копают и опять отступают. Нет, не про вас поется: «Смелого пуля боится, смелого штык не берет».

— Про тебя?

— А ты думал! Настоящий солдат — это лихость и маневр.

— То-то и маневрируешь на тягаче, куда пальцем ткнут.

— Тут не повезло мне. Мой характер для танка создан, только понять этого никто не может. Вот если бы я армию комплектовал, я бы с первого взгляда определял — кому летать, кому ползать. У меня на людей глаз!

— Это цыган лошадь на глаз определяет, и то ошибается, — усмехнулся Самородов. — А человека, хоть он какой из себя, хоть черненький, хоть рыженький, только в деле видать.

— Рыжих в саперы! — категорически определил рябой. — Топорами тюкать и пузыри пускать. Не люблю рыжих... У меня один такой девку отбил, не понять, чем и взял, — глазки синенькими кляксами, нос в конопушках, на голове клочок соломы. И чего она в нем нашла?

— Значит, было чего.

— Не было! Просто у девок на пестренькое мода.

— Веселый ты человек, — вздохнул Самородов. — Только в мысли легкости много, сверху носит, вроде пробки. А кругом-то горе и горе. От него шуткой не отбрешешься.

— Об этом пусть Советская власть думает и высшее командование.

— Советскую власть попусту не ковыряй. Ее народ в крови добывал, душу вложил в нее. Потеряем — в чужом хомуте потом и стоном изойдем.

— А я что? Поставили — службу. В тыл не бегу, в плен не спешу.

— Еще чего — в плен!

— А есть, что и топают. В рассуждении — из плена вернешься, с того света нет.

— Ну тебя к черту, — сказал молодой русский солдат. — Мелешь и мелешь... Я к тягачу пошел.

— Иди, иди, — согласился рябой. — А то он соскучился без тебя, овса не ест, воды не пьет, в шар земной подковой бьет.

— Щель подкопаю. Война все же, не посиделки.

— Копай, копай. Хоронить не надо будет — присыплет, и вечная память. Был парнишка неплохой — со святыми упокой.

— Тьфу...

Русый солдат ушел, рябой закурил и, устроившись в тени, продолжал чесать язык, пока не началась перестрелка и на позиции дивизиона не упали первые снаряды. Тут он замолк, наморщив лоб, прислушался, пока сигарка, про которую совсем забыл, не дотлела и не обожгла ему пальцы. Вздвогнув, словно от укуса змеи, и пустив заковыристым матюком, он резко вскочил и пошел к своему тягачу, буркнув Самородову: «На том свете свидимся, дядя! Пока, пока!» А Самородов едва ли не впервые за последние сутки засмеялся, и при этом обнаружилось, что во рту у него два верхних зуба металлические, а одного нижнего совсем нет.

Щель была почти готова, так что, сидя в ней, можно было укрыться с головой, но Самородов не полез в нее сразу, хотя снаряды падали недалеко, а сперва обтер травой руки, так что земля отошла, а ладони обзеленились, потом оглядел трактор — все ли в порядке — и подвязал на место лопату: мало ли что, прикажут срочно двигаться — и позабудешь. И лишь когда началась бомбежка, он забрался в щель, поерзал плечами, прилаживаясь поудобнее, и стал глядеть вверх, пытаясь увидеть самолеты. Но над ним было только чистое, совершенно умиротворенное небо, а самолеты выли в стороне, скрытые листвой яблони, и листва эта тихо шевелилась под теплым ветром, и по ней прыгали солнечные зайчики, и начинало сдаваться, что и война, и немецкие танки, и самолеты — все лишь дурной сон, когда неловко лежишь, а стоит только пересилить себя и порезче повернуться, как все переменится на свой настоящий вид. Когда же он действительно смог увидеть бомбардировщики — шла вторая волна, — ему стало уже не до них: и на позициях дивизиона, и в саду все визжало, выло, стонало, всплескивалось огнем, пылью и сорванной листвой и небо над головой тоже было в пыли, в мусоре, в сорванной листве и комьях земли, как пол после неряшливого ремонта.

К заходу солнца бой затих. Еще два немецких танка горели на склоне — жирный дым от них, как тушь из

опрокинутого пузырька, стекал вниз, в балку,— а три или четыре темнели в пшенице, подбитые. Остальные ушли. Какие понесли потери сорокапятчики и пехотинцы, было неизвестно, но в дивизионе майора Вороновского три орудия годились разве что на металлолом. При багровом закате похоронили убитых, на освободившийся от снарядов прицеп уложили раненых. Собрав уцелевших, майор Вороновский, тоже раненный в руку — ее перехватывала, окольцовывая, совсем еще белая, не успевшая загрязниться перевязка,— сказал:

— Получен приказ на отход. Двигаться начнем сейчас же, немцы до утра не сунутся. Вопросы есть?

Вопросов не было.

— А ты как? — спросил майор у Самородова.— У нас теперь два тягача без нагрузки.

— Понимаю... Орудий жалко.

— Что в бою погибло — другое дело... У войны свой расчет — на десять часов немца задержать, в тылу за это время сто орудий сделают... Так как же?

— Да что ж,— вздохнул Самородов.— Чего уж тут... Тихий ход, лишний рот. Я уж самостоятельно, мне трактор бросить никак нельзя.

— Ну и ладно. Двигай на Боковскую, а оттуда к Вешенской, так тебе к переправе поближе. Спросишь — расскажут. И гони, не глядя на ночь. А нам подальше — на Клетскую...

Теперь ему стало еще неприятнее. Уже в самой станции, накрытой тьмой, придавленной предощущением беды — ни одна собака не взлаяла, пока он проезжал улицу, ни один человеческий голос не коснулся уха, хотя люди не спали, не могли спать, — он почувствовал, что теперь действительно одинок, что, позлословь сейчас кто-нибудь над ним, и тому рад был бы — все ж таки живые души, свои люди. Но еще неуютнее стало, когда он выехал в степь. Над головой тькло, мерцающая, бездонное звездное небо, падающая краями за совсем близкий, прямо рукой подать, горизонт, и небо это было сейчас чужим и враждебным, потому что там, под звездами, — взз, взз! — сновали немецкие самолеты. Пугающе внезапно наплывали в низинах купы деревьев, так что брала оторопь, а при самом спуске мерещилось, что тянет его в какую-то пропастину, у которой то ли есть дно, а то ли и нету вовсе. Прежде, когда он работал в колхозе, ему тоже

приходилось разъезжать по ночным полям, но тогда он включал фары и земля была своя, мирная, работающая — похрустывала, шелестела, пошевеливалась тенями, высыпала росу, гнала соки в пшеницу, свеклу, подсолнух. Работала земля, трудилась по своему закону. Тут же степь была темна и настороженна, как дом, в котором совершилось убийство, и по тому же самому грейдеру, по которому ехал он, ползла немецкая армия, нацелившись ему в спину, прикрытую заскорузлой от пота гимнастеркой, дулами винтовок, автоматов, пулеметов, пушек. Бременами это ощущение чужого металлического взгляда в спину, этой нечистой силы, становилось таким непереносимым, что ему хотелось развернуться и, наперекор всему, зажечь фары, чтобы поглядеть — что именно там и как? Но он знал, что фары зажигать нельзя, и продолжал ползти в темноте, до боли напрягая глаза и сомкнув на руле деревенеющие руки.

Однако, когда взошло солнце, а ничего не изменилось — только трава посвежела от скупой росы да дорога опять начала оживляться, — он снова приободрился. В каком-то хуторе, когда он уже свернул на Вешенскую, казачка дала ему поесть — вынесла кувшин парного молока и полбуханки ситника. Он хлебал, торопясь, молоко прямо из кувшина, обливая подбородок и волосатую грудь, а женщина, прислонившись к перильцам крыльца, плохо прибранная, в косо обвисшей коричневой юбке и непричесанная, жалостливо смотрела на него, приговаривала:

— Ешь, родимый, ешь, все одно пропадать.

— До Вешенской еще далеко? — пытался он отвлечь ее от невеселых мыслей.

— Да кубыть верст с двенадцать наберется. А нам всем пропадать...

— Так уходила бы за Дон, там, говорят, свои.

— Казак-то мой в войске, а мне куда ж с малолетками? Свет велик, а дороги нету. Уж лучше дома, все одно...

— Ну хоть щель бы вырыла. Бомбу бросят или стрельба пойдет — мало ли чего. Обережение все же.

— Да мы в погреб бегаем, все одно...

Сам человек от земли, понимающий всю бедственность такого положения, Самородов мучительно искал способ хоть чем-нибудь утешить растерянную и убитую

горем женщину, но утешить было нечем. И он только молча поклонился — материнству и горю заодно. Около часа дня он увидел с кургана мутно-зеленый кусок Дона, веселую, с серебряным отливом зелень прибрежного леска и Задонье — широчайшую, глазом не обнять, равнину, желтоватую, с вкраплениями ржи на переднем плане и все синевшую, синевшую от сухого тумана и где-то вдалеке незаметно смыкающуюся с небом. И пока он стоял и смотрел, из окопа возле дороги вылез молодой солдат в совсем свежей гимнастерке и брюках, в пилоточке набочок, смачно сплюнув подсолнечную шелуху, улыбнулся:

— Любуешься, дед? Самое такое время для туризма. Главное — дорога бесплатная.

— Да вот путешествую помаленьку, — засмеялся и Самородов, испытывая удовлетворение от того, что вот и пришел конец его мытарства, вот и добрался до своего фронта. — Вроде оно и ничего получается.

— Последний, что ль? Или еще там кто волокется?

— Чего не знаю, того не знаю. Не докладывали.

— Немца на буксире, случаем, не тянешь?

— Сам топает. Обутка у него крепкая. А ты вот скажи, как на переправу мне попасть.

— Ишь ты! — хмыкнул солдат. — Думаешь, там глаза проглядели, тебя ожидаючи. А там таких, как ты, драпунов, тыщи стоят. Только у них техника настоящая, а с твоим драндулетом, того гляди, и вовсе не допустят.

— А ты мой трактор не поноси, — обиделся Самородов. — Он знаешь сколько пшеницы наработал? И орудие спас, из которого вчера немецкий танк стукнули, — трах, и дым в небеса!

— Ну-у! — удивился солдат. — Выходит, заслуженный он у тебя, ударник! Но все равно виду никакого нет. Ты бы написал на нем про орудие и танк или плакат навесил бы — тогда пустят...

Отведя душу с веселым солдатом, Самородов, все сильнее ощущая дыхание Дона, своеобразный, ни с чем не сравнимый запах бегущей воды, спустился к Базкам и первым делом отыскал склад с горючим. На солнце тускло отсвечивали два металлических бака с бензином и соляркой. Он думал, что тут еще существует обычный порядок, и приготовился вести нудные разговоры с заве-

дующим базой, но шофер грузовика, к которому он обратился, махнул рукой:

— Ищи и бери, что надо. Не нынче, так завтра жечь.

— Так, поди, много тут?

— Прорва. На посевную и уборочную запасено, возили черт те откуда. Кое-чего военные части взяли, а все прорва. Полыхнет!

— Этак и станица пеплом пойдет.

— И пойдет. А чего попишешь? Немца тут не сдержать, на том берегу упираться будем. До ручки добиваемся, я тебе скажу. Это ведь если даже опять до Берлина идти — умопомрачение одно, тыщи верст. Сапог на каждого и то пары по три надо. Да о Берлине пока куда и думать, пока он наших в Дон и Волгу пихает... У нас слышать — на Сталинград главными силами через излучину подается. Не знаешь? А на мост вот не пускают, крутимся тут под бомбами...

Послушав словоохотливого шофера, Самородов малость приуныл. Не то чтобы он ему полностью доверял — люди, которые поспешают с ответом до того, как их спросили, у него доверием не пользовались, походили в его глазах на бочки с неисправными пробками, завинчивай не завинчивай, все течет. Но и бодрости рассказы о переправе прибавить не могли. Все же, заправившись, он двинулся к мосту, но уже едва не за километр его остановил патруль во главе с младшим лейтенантом. Прочитав удостоверение, младший лейтенант сказал:

— Заворачивай оглобли, отец, устраивайся вон в тех ракетах, видишь? Загорай пока.

— Так мне на мост.

— Когда на мост можно будет — скажу. Привыкли к анархии на драпе, а тут — порядок.

«Те ракеты» были концом леса, который широкой куртиной начинался у моста и сходил на клин под Базками. Зная от опытных людей, что перечить начальству — только неприятности накликать, Самородов завернул трактор и поехал под ракеты. Подумалось, что будет он тут один, как на хуторе, потому что те, кто прибыл раньше, уж обязательно пробились на переправу или поблизости к ней, но в конце леска стояло несколько подвод, полуторка с минами и гранатами и два гусеничных тягача, один с покалеченной пушкой, другой с прицепом, накрытым брезентом. Несколько пожилых солдат, разувшись и

развесив на просушку портянки, спали, вольно раскинувшись на траве, двое, достав где-то замусоленную колоду карт, играли в подкидного дурака, еще один, с черными густыми усами, похожий на грузина, орудовал иглой, зашивал порванные брюки.

— Издалека? — спросил Самородова усатый.

— Из-под Лисичанска.

— Не знаю такого... Фриц далеко?

— Вчера в Кашарах танки отбили, нынче не видел.

— И Кашар не знаю.

— С неба упал?..

— Из Донбасса. Прет и прет, стерва!.. Ну, тут его окунут — не вынырнет. Свежие части стоят, с игопочки.

— На Днепре вынырнул, — сказал один из игравших в карты. — И на Северном Донце тоже.

— Так он свою силу давно в кулак собрал, а теперь истощает. А мы свою только собираем. Понимать надо!

— Чего уж тут понимать! Второй фронт бы открывался...

— У нас военфельдшер вторым фронтом английскую соль называл. Слабительное.

— Остряк нашелся!

— Правильно рассуждает. Так и побегут они тебе, англичане и американцы, большевиков да советскую власть спасать! Своим горбом ставили — на своем горбу вывозить придется.

— А что хлебов попорчено! — вздохнул усатый. — Известно, чего зимой и кусать будем.

— Паек, — сказал другой игравший в карты солдат. — Наше дело солдатское.

— Ну и дура, — сказал его партнер. — Паек где растет? Соображать надо.

— Нам бы за Дон перемахнуть, а там оно само покажет... Ну, умник, кукарекай, у меня три туза с козырем. Гитлер капут!

Проигравший, круглолицый солдат с заячьей губой и светлыми, навывкате, дурашливыми глазами, став на четвереньки, изобразил петуха, и все вокруг засмеялись. Покончив с представлением, солдат свернул козью ножку, предложил:

— Давай еще кон. Один черт — делать нечего.

— На переправу как рассчитываете? — спросил Самородов.

— На картах гадали. Выпадает кругом шестьдесят шесть. Техники там набито под завязку, лес шевелится. С утра ходил на разведку, попахал носом под бомбежкой, а в остальном не светит. Ты, если намаялся, храпка задай, надо будет — толкнем...

Самородов хотел спросить, нет ли чего поесть, но постеснялся и в самом деле прилег на теплую, уже перестоявшуюся, костенеющую траву. И поскольку на душе у него все же стало поспокойнее — к настоящему своему фронту прибился, — сон получился крепкий, забористый, так что не слышал он ни хлопанья зениток с того берега, ни гула моторов, а проснулся как бы от толчка снизу, будто сама земля ударила ему в грудь, пытаясь сбросить с себя. Сперва, подчиняясь инстинкту, он вскочил, потом сработала солдатская «автоматика», и он снова лег, вцепившись руками в траву и кося глазом вверх, в просвет между деревьями. Над головой, разрывая гулом уши, так что немело и покалывало в груди, проходили эшелоны сбросивших груз немецких бомбардировщиков, а там, у переправы, видимо, наплывали новые, и землю словно молотили гигантскими железными цепями. Потом в центре леса ухнул, выкинул высоко в небо кинжал бледного пламени чудовищной силы взрыв, за ним еще и еще. Как в кошмаре, пронеслось по небу автомобильное колесо, затем корнями вверх повисло молоденькое дерево, потом, секунду спустя, чиркнув по макушке матерого тополя, взорвалась, все обливая пламенем, бензиновая бочка. Еще не затих грохот, когда из дыма стали появляться солдаты с подпаленными бровями, в разорванной одежде, порой залитой кровью. Они бежали, вряд ли понимая, куда и зачем, и мычали, и ругались, и никто ничего толком не мог сказать, пока не появился тот, из патруля, молоденький лейтенант. Щека у него была подрана, с присыхающими капельками крови, и голос хрипел и срывался.

— Сматывайся, живо! Заводи!

— Куда?

— В степь, к черту на рога! Лес горит, а тут машина со снарядами.

— Доигрались, — сказал солдат с заячьей губой. — Спереди пожар, сзади фриц. Одно спасенье, что в Дон сигать.

И длинно, заковыристо выругался.

Самородов, не ввязываясь в пустопорожние разговоры, хотел двинуться в Базки, но дорога была забита грузовиками, гнавшими от переправы, и он сразу понял, что втиснуться в этот поток не удастся — сомнут. И потарахтел в объезд степью, ныряя по канавам и колдобинам. Обогнув Базки и снова спустившись к Дону, он увидел команду саперов, которые грузили в лодки мешки с мукой и переправляли на другой берег. Распоряжался ими бойкий, напористый младший лейтенант с черным аккуратным чубом. В ответ на вопрос о переправе лейтенант махнул рукой:

— Ухнула... И так на честном слове держали, а теперь ухнула. Да тебе-то чего? Садись в лодку, перекинем.

— Трактор у меня.

— С трактором дело не пойдет. Подорви и брось. Хочешь, толовую шашку дам?

— Жалко.

— Тогда не пойдет.

— А парома пониже нет?

— Может, что и есть. А может, и нету. Не знаю.

— Ладно, поеду.

— Дело хозяйское! А только так думаю, трактор твой уже списали на боевые потери. И тебя тоже, возможно.

— Это что же выходит, вроде беззаконные мы?

— Примерно. Приблуды.

— А вы?

— Мы фронт держим.

— И удержите?

— Должны.

— Ладно, тогда я поехал.

— Как знаешь...

«Вот же оно как получается,— рассудительно думал Самородов, продвигаясь вдоль Дона по худой затравенней дороге,— спешил, спешил, а попади в тот лесок днем раньше, и, того гляди, лапти врозь. Тут и угадай... И опять-таки — фронт стоит, и настроение у ребят ничего, а под Миллеровом говорили, что всему как-то, что нового войска на скорую руку и не собрать...»

В первом хуторе парома не было, у конца стежки, по которой, наверное, ходили казачки полоскать белье да гоняли гусей, стояла одна небольшая лодочка, совсем прохудившаяся — верхняя доска выщерблена, словно ее грызли зубами, в щели ладонь пролезет. В следующем

хуторе, так как начинал о себе заявлять голод — всего только молока и похлебал за весь день, — отправился он на поиски магазина, в надежде — вдруг там что залежалось? Но и магазина в хуторе не было, и парома, и лодок тоже — угнали, остались только коряги для привязи. Зато повезло в третьем. Парома не было и тут, но в садочке на выезде к реке горел костер, и человек семь солдат варили в большом черном казане кулеш со свиной, подкладывая в костер хворост из плетня, который тут же обламывали. Солдаты были исхудавшие, в засаленном обмундировании и стоптанных ботинках — тоже отступали в излучине, — но веселые. «А чего нам теперь нос вешать? — пояснил один из них, избранный за главного. — От немца оторвались, вон две долбленки на воде — стемнеет, и к своим... А то, братец, сплошная рогозна получалась... сигали, сигали!» Перебрасываясь шуточками и прибауточками, солдаты накормили Самородова кулешом — хлеба и у них не было — и даже предложили «вступить в компанию». И пошел круговой разговор:

— Трактор же у меня.

— А чего трактор? Брось.

— Чужим легко бросаться.

— Ну, насолидоль и в землю зарой. В ней, в земле, и овощ сохраняется, а тут железо.

— А далее чего?

— А далее, как погоним немца, возвернешься и заберешь.

— А как его самого убьют? Пропал тогда трактор.

— А убьют — на кой ему хрен трактор? В рай, что ли, на нем поедешь?

— А может, плыть будем? Поели, попили — чего прохлаждаться?

— А как самолет очередь шархнет? Ночи ждать надо.

— Ночью — оно способнее. Я тебя вижу — ты меня нет.

— А если немцы придут?

— А они еще за версту до хутора начнут из автоматов пускать, страху нагонять — мол, идем, идем, покажись, Иван, или тикай... Сто раз переехать успеем!..

Поняв, что солдаты уже забыли и о его тракторе, и о нем самом, Самородов поблагодарил их за кулеш и двинулся в Нижне-Калининский. Но и здесь не было ни па-

рома, ни подходящих лодок, из которых можно было его сколотить. А дальше начинался лес.

Лес этот был большой и диковатый — раkitник, крушинник, дубняки, лозняки на пересохших протоках, жесткая, как проволока, осока, ежевика, словно колючая проволока. Нежилой, неприветливый лес. По непостижимой игре природы кручи здесь отступали вправо, как бы заваливаясь глубокой дугой в степь, а Дон отtestнялся влево, образуя огромную излучину, через которую проходила одна, да и то неторная, дорога из Нижне-Калининского на Рыбный. Никакой местной географии не зная, Самородов оставил трактор на опушке и пошел берегом на разведку с той целью, чтобы понадежнее упрятаться на ночлег. И с удивлением заметил, что по берегу нету даже сколько-нибудь заметной стежки и что ходить тут не приведи бог, днем глаза повыхлестаешь, а ночью и вовсе каюк. Так прошел он с километр, когда обнаружил небольшой, но, по всему видать, глубокий заливчик — вода в нем на середине выламывалась завихрениями, казалась темной, а под берег выбивалась рыжая, непрерывно шевелящаяся пена. На обрывистом берегу высились дубы, иные уже подмытые разливами, — корни их, как темные в чешуйках клешни, висели в воздухе, нащупывали что-то, хватали ветер. А прямо в центр заливчика, проточив глубокий ров и наметав к воде песчаную коску, выходила из глубин леса теча, теперь пересохшая. В нижнем конце заливчика на обрыве виднелся штабель бревен, окоренных и уже потемневших, навверное заготовленных еще по снегу, но Самородов сперва не обратил на них никакого внимания, а прошел по тече вверх, в глубину леса. И тут, под нависшими над ней раkitами и лозняками, нашел он такое место, где и sloна можно было спрятать, и даже днем было бы отыскать его невозможно, разве что случайно наткнувшись. Пригнав и поставив трактор в эту «берлогу», как сам он окрестил ее, Самородов пошел на берег, чтобы попить и помыться, и только тогда обратил по-настоящему внимание на штабель бревен. «Господи, совсем готовый плот! И стрежень Дона вдалеке выбивает прямо к противоположному берегу, сам потащит!» Обрадовавшись, что еще раз повезло ему, — вот что значит шаг, шаг да еще шаг, хорошо, что не послушал никого! — он, попив с ладоней и ополоснув лицо и шею, сразу же, в горячке,

и приступил к делу — сталкивал вагой бревна под обрыв, потом, шлепая босыми ногами по глинистому закрайку, отводил их к песчаной косе в устье течи. И не заметил, как, свекольное от пыли и дыма, застилавших горизонт, село солнце, и вода в реке потемнела, пахнув прохладой, и в протоке напротив отслоился туманец. «А завтра вязать стану,— решил он.— Как завиднеесть, так и возьмуть».

Ночь была такой тихой — ни взрыва, ни выстрела, ни вскрика, ни даже гусяного гогота и крика петуха,— какие не часто выдаются даже в мирное время. Тихой до оторопи, до того, что казалось, закладывает уши, словно после нырка в воду. Перед закатом еще тянул ветерок, пошевеливая то тут, то там ветку, а потом обвял. И, лежа на охапке свежей травы возле трактора и остерегаясь поворошиться, чтобы лишний раз не шуметь, Самородов думал и думал о том, как будет вязать плот. Он мог разобрать и собрать трактор, умел пахать, сеять, косить, жать, молотить, мог поставить сруб и даже кое-как притесать окна и двери, оштукатурить и побелить хату, вырезать, если находился алмаз, стекло взамен выбитого, вырыть погреб, подшить валенки, починить полушубок — словом, как всякий русский сноровистый человек, был горазд на тысячу разнообразных и порой затейливых дел, но плоты вязать он не умел. И видел их в кино, потому что жил на маленькой речке, по которой и одно бревно сплавить затруднительно: концами в берега упирается или на мель садится. «А ничего,— утешался он уже со слипающимися глазами,— лиха беда начало...»

Однако и начало оказалось хуже, гораздо хуже, чем он думал. Ему ничего не стоило, заломив комель и прижимая его ногой через определенные интервалы, скрутить лозину, чтобы она не ломалась при вязке,— еще лучше бы на костре подпарить, но костер нужен большой, опасно,— ничего не стоило намотать хомут. А дальше и не получалось — куда что совать и как затягивать? Уже обсохла роса, уже покусывали, словно били малокалиберной пулей, оводы, уже солнце прожгло лучами кроны дубов и пятнами вызолотило траву, слепяще полыхнуло на воде, а те пяток бревен, которые он увязывал и увязывал все утро, елозили и расплзались под ногами. На таком плоту не то что с трактором, а и одному плыть опасно: защемит — и поминай как звали. И мало-помалу ожив-

ление, с которым приступал к работе, схлынуло, и он начал понимать, что, уж во всяком случае сегодня, на переправу рассчитывать нечего, а если так, надо подумать и о пропитании. Сетенку бы хоть какую, размышлял он, была бы рыбка на жарено — поигрывает вон, пускает круги. И что сковородки нет — не беда, закатав в лопухи и глину, славно можно испечь и без сковородки. Да сетенки-то никто не позабыл, и, стало быть, придется идти в хутор добывать чего ни попадет. Кругом тихо, стрельбы нет — чего не попробовать? Только с оглядкой надо, не то и свои, чего доброго, могут полоснуть пулеметной очередью — поди угадай, что там на уме у солдата, который сидит на другом берегу, иному необстрелянному среди бела дня сам Гитлер привидится...

Кончилось, однако, все благополучно. Не было никого — ни немцев, ни своих, ни жителей. Хутор еще не был занят, но уже мертв — ставни закрыты, двери и ворота на запорах и на всей улице ни поросенка, ни котенка, ни собаки, ни курицы. Будто чума прошла, вымела все живое. В лавке дверь была настежь, и туда он и пошел и наскреб с полпуда муки, а в рассоле открытого бочонка выловил три тощие селедки. На полу похрустывали рассыпанные розовые и синие леденцы, но он не стал их собирать — детская забава, — а соли, сколько ни шарил, не нашел вовсе. За лавкой у рукомоиника, прибитого прямо к забору, стояло чистое цинковое ведро, он и его прихватил, сложив туда свою добычу. Несколько раз возникала мысль зайти в какую-нибудь хату, все ведь брошено, все едино достанется немцу, но он так и не сделал этого — «от чужой беды сытость хуже болезни». В это время из хутора Лебяжинского ударили орудия, и снаряды разорвались на высотах за Рыбным, и он, решив, что, возможно, показались немцы, поспешил в лес.

Вернувшись, он торопливо ободрал и съел одну селедку, но вместо ощущения сытости появилась боль в желудке, и он забрался в свою берлогу. Теперь, порешил он, придется действовать по-партизански, работать только с наступлением сумерек — днем мало ли чего, у немцев под носом сидит. Все же, отоспавшись до полудня, он тут же, возле трактора, снова стал крутить лозу, нарубив ее в глубине чащобы, и не в одном, а в разных местах, чтобы не так было заметно. А едва пали сумерки, опять поел селедки, но только небольшой кусочек, сразу затем

напился и взялся перевязывать наново все те же самые бревна. Часа через два, измаявшись, до крови ободрав руки, он попробовал свое сооружение и только плюнул — рогозна, как говорил тот солдат, и рогозна! Неужели он такой бесталанный, такой криворукий, что придется ему все-таки оставить тут трактор — тот самый трактор, который он черт знает откуда тащил через бомбежки, по жаре и пылище? Трактор, на котором он прибыл в армию прямо из колхоза и который был для него как бы кусочком родного дома, семьи, поля? Правда, и трактор теперь был малость не тот, прежде у него всегда было что-нибудь на прицепе — плуг, бороны, сеялка, платформа для перевозки зерна, сани для навоза, а теперь голый крюк да моток троса... Трос! Ах, дурак, ах, баранья голова, — забыл, что есть трос! Да ведь это, если его расплести, черт знает сколько проволоки, а проволока — не лоза, с проволокой он управится, руки к железу привычны. «Ах, голова, голова, — уже отходя душой, корил он себя, — всего одна на весь век дана, и то со придурью...»

Остаток ночи он расплетал трос — сначала на три пряди, потом каждую еще на три. Трос был многожильный, стальной, жесткий, зажать для удобства нечем, и дело шло медленно. Кончил он работу только в середине дня и тут же задремал, а когда проснулся перед закатом, почувствовал такой острый голод, что в мыслях развел нудный спор с самим собой:

«Селедку есть больше нельзя — подохну».

«А чего есть?»

«Так выдюжу».

«Работы вон сколько. Работа без еды — погибель».

«А чего есть?»

«А мука?»

«Теста не поешь, кишки завернет».

«А если испечь?»

«А по костру как саданут!»

«А если ямку сделать? Печку в земле? Прежде умел...»

«То чего не сумеешь...то не на войне».

«А ты подлинней вырой... Да проволоку сверху накидай, да дерном прикрой. Проволоку тоже отжечь не худо».

«А дым?»

«Чего — дым? От сухих дров дыму — как от сигарки».

«Пахнет...»

«Ну и что? На войне не в диковинку, всегда что-нибудь горит. И ветерок на реку тянет, рассасывает...»

И что там ни говори, последнее слово осталось за желудком, и Самородов принялся делать печь — выкопал в кромке обрыва длинную канаву, привалил ее проволокой и дерном, оставив посредине место для ведра, а со стороны устья обставив ветками. Потом замесил тесто, раскатал, окуная в муку руки, колобками и уложил на дно ведра, застелив его листьями. И уже после всех приготовлений поджег дубовые щепочки, наструганные ножом, и стал подкладывать дубовые же сучки. Дуб горит медленно, коротким пламенем с вишневыми и синими переливами, а тепло дает сильное, плотное — это знал он давно, от отца еще и деда. И получилось все ладно, добротно — печка исправно работала, давая совсем слабые отсветы, и то совсем вблизи, и дыма почти не было, а что и был, так тек по ложбине к реке. Чтобы уже не канителиться другой раз, он снимал одни колобки — и первые тут же съедал с селедкой — и ставил другие, так что вскоре израсходовал добрую часть муки. Колобки, пресные, подгорающие, тестеватые, не напоминали ни хлеб, ни пироги, ни блины — они были вязкими, тяжелыми, но он, почувствовав сытость, дал им свою оценку: «Ничего печево!»

Закатав оставшиеся колобки в лопухи и хозяйственно засунув их под кожух трактора, чтобы мыши не добрались, он пошел к реке. Сумерки давно загустели, ночь, темная, с теплым ветром, плескавшим по веткам, — тем лучше, меньше и его возня слышна, — плотно придавила реку и лес, а дела с проволокой пошли куда быстрее. Но при всем том был и свой недостаток у ночи — коротковата, — и когда начало рассветать, плот был готов, но вышел жидковатым, в одно бревно, и с трактором на него соваться было еще опасно. Приходилось, ничего не поделав, оставаться еще на сутки, и он замаскировал плот, набросав на него коряг, сухого хвороста и рыжей травы, прибитой течением. И, еще до восхода солнца забравшись в свою берлогу, лег спать, и уже слепил в дреме глаза, когда почудились недалеко шаги, только какие-то странные, то быстрые-быстрые, словно кто-то притопывал на месте, то плавные, скользкие.

Он даже задерживал дыхание, чтобы услышать появившееся, и жал ухо к земле, но понять ничего не мог.

К тому же под ухом шевелились какие-то мурашки и козявки, шуршали, тикали, поскрипывали. Так и маялся он час или два, а странные шаги не смолкали, и тогда он решил выглянуть, а выглянув, тихо выругался — это были тушканчики, кенгуру в миниатюре, и он сам удивился, что не догадался раньше. Он тут же улегся снова, но нервы были настроженны, и сон не шел, и вскоре пришлось опасаться уже всерьез — с дороги, пересекавшей излучину, донеслась иностранная речь, несколько коротких фраз, и, хотя вскоре все замолкло, дрему как рукой сняло. Он понял, что немцы уже вышли на берег, — а это случилось еще раньше, и это были не немцы, а итальянцы, но этого он не знал, — и решил, что теперь уж и вовсе надо держать ухо востро. Одно время беспокоила мысль — а как найдут и захватят? Но он сам себя и успокоил: «Так и ползут они в эту чертоломню, как же!.. И поймать в таком лесу — дивизию пускать надо...»

Сон не шел, да он уже и боялся спать — вдруг захрапит? Такой недостаток за ним водится, и прошло время, прежде чем жена притерпелась, а в первые годы поталкивала в бок: «Повернись!» И так и лежал он с открытыми глазами, изнывая от духоты и терзаний мышкой, и, хотя в бога не верил, готов был от нечего делать помолиться, чтобы к ночи зашла гроза. Но солнце и на этот раз садилось чисто, только закат был красноват и по небу, очень высоко и в завитках, тянулось красное волокнистое облако, словно чья-то рука расписалась там кровью. «Не к добру вроде», — подумал он, но, подумав так, не встревожился: небо — оно вон где, оно само по себе, а он сам по себе. И если не к добру, так всем, и немцам тоже, все под ним ходят...

Как во всяком русском человеке, когда он делал что-либо долго и упорно и уже видать конец, а ему мешают, в нем все укреплялось и укреплялось злое упрямство. Был он не у своих и не у чужих, а где-то посередине, одинокий человек, затерянный на кусочке лесистой земли, до которой ни у кого руки не дошли. Когда сталкиваются громады гор, кто будет думать о песчинке? Ну и что? Он — живой, а если живой, значит, при своем соображении и интересе. И раз на то пошло, так уж трактор трактором, это все одно дело, а другое дело то, что, раз уж так сложилось, должен он сам одержать свою собствен-

ную победу над немцем, должен поставить на своем, чтобы и детям в глаза глядеть не стыдно было. И в конце концов, он при своей земле и воде, а немец при чужой, ему и должно быть страшнее. Танки и артиллерию сюда не двинешь, а карабин и у него есть, можно и сдачи дать, и уж на самый крайний случай может он столкнуть бревно и уплыть на нем, и угляди попробуй его во тьме... И с такими самоутешительными размышлениями приступил он к работе.

Часа в два ночи все было кончено: плот был прочен, даже с запасом. После этого Самородов сложил на плот два шеста, ведро с остатками муки — и его жалко было оставлять, — снял и повесил на кол у дальнего края плота нижнюю рубашку для ориентира, чтобы не вбухать в темноте трактор в омут, и стал ждать, пока начнут стрелять орудия или полетят самолеты, — спешить как будто некуда, а звуковая маскировка не помешает...

Перед рассветом, когда край неба едва засветился зеленым, а по Дону зыбился пятнами туман, два солдата, находившиеся в наблюдении на высоком рыжем обрыве перед Лебяжинским, проводив глазами немецкие самолеты — по звуку, — заметили, как что-то смутное движется по реке, пробиваясь по стержню к устью ерика.

— Глянь-ко, Серега, плывет

— Плывет... А чего это?

— Сено, должно быть.

— Или крышу где бомбой сорвало...

— Слушай, а как немец?

— И то...

— Может, очередью шарahnуть?

— Велено — без приказа не стрелять... Беги к сержанту, так, мол, и так...

Пока один солдат уполз докладывать, другой ясно различил, что это плот, а на нем человек, орудующий шестом. Гонимый сильным течением, плот ткнулся в берег, крепко ввяз в песчаную косу, и человек тут же выскочил на берег, попробовал ногой грунт. Солдату стало страшно, он решил, что приплыл немец с какой-то фантастической машиной — а фантастических слухов о немецкой технике погуливало немало, о том же трубили и сами немцы в листовках, сбрасываемых с самолета, — солдат стало страшно, и, не дожидаясь, пока вернется напарник, он дал очередь из автомата. Но солдат был молодой, пер-

вый раз стрелял по живому человеку, и нервы у него приплясывали, и пули только взбурлили воду, а из-под обрыва раздался крик:

— Ты что по своим, так твою...

И именно окончание фразы, сугубо отечественное, оказалось сейчас самым надежным пропуском и паролем — солдат не только перестал стрелять, но и тут же выступил в роли советчика:

— Заводись и тикай налево, в лог! А то как двинут из минометов...

Около девяти часов утра, накормленный, но до невозможности обросший, со спутанными волосами, в заскорузлом от ила обмундировании, Павел Петрович Самородов сидел в штабе саперного батальона. Он сидел, с трудом помаргивая слипающимися глазами, а молодой командир батальона ходил у стола, то и дело поглядывая на дребезжащее стеклами окно — на Дону «работала» артиллерия, — и все спрашивал, и все не мог до конца понять, каким образом можно было через такую реку переправить трактор, когда противоположный берег уже три дня занимают немцы. И Самородов снова и снова рассказывал ему, что там был штабель бревен, и у него нашелся трос, и что в лесу никого нет — наверное, сидят только на кручах, и что с трактором он пришел в армию из колхоза и он для него вроде живой, и что ничего во всем этом особенного нет, так уж получилось... Потом подошел лейтенант из особого отдела, с волосами в медную рыжину, и Самородов вспомнил рябого водителя тягача: «Рыжих не люблю!» — но особист, выслушав комбата, сказал: «Что ж, пусть идет в тыл. А машины приказано задерживать». И тогда Самородов сказал, что трактора он не отдаст, а комбат засмеялся:

— Сросся ты с ним, что ли? Тогда оставайся в батальоне. Дел хватит!

И Самородов только кивнул.

Но так и не суждено было многомытарному трактору долгой жизни. Он хорошо поработал, особенно таская бревна и баркасы на переправу, когда части в августе форсировали Дон, однако к зиме стал все надсаднее кашлять дымом и в конце ноября, во время наступления в излучине, совсем отказал и был списан, а его упрямому водителю пришлось пересесть на итальянский трофейный грузовик...

«Вы все видели отход наших частей на левый берег р. Дон... Паника, страх — вот подлинная причина наших неудач.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Всем частям дивизии ценой жизни удерживать за собой левый берег р. Дон...

Огонь ближе чем на сто метров не открывать...

...паникеров, трусов и врагов расстреливать на месте».

Из приказа по дивизии. Июль 1942 г.
Под станцией Вешенская.

ЮРГИН И МОКРУСОВ

Из неполных двадцати лет жизни Игорь Юргин больше трех лет провел на воровстве — ларьки, мелкие магазины, винные забегаловки. Кличка Лорд за красивую внешность и какое-то врожденное высокомерие — блондин с шелковым чубом, глаза серо-голубые, большие, сдержанно-внимательные, лицо с тонкой кожей, когда злился, бралось пятнами. Пророчили большой размах, но пока держали на подсобных ролях — разведка, наводка, скрутка голов молодым продавщицам, вплоть до вербовки, до вовлечения в разгулы. А потом провал, суд, больше полутора лет в тюрьме. Хлебал баланду, пощывкивал голодной слюной, в таком возрасте жевать хочется с утра до вечера.

В тюрьме застала и война. О ней много судачили вкривь и вкось, но, пока она была далеко, мало беспокоились. А потом накатилась на город, он дымил пожарами, вокзал затопили эвакуирующиеся, на станционных путях, хватая за душу, стонали при воздушных тревогах паровозы. Многоголосый стон этот перекатывался через каменные стены тюремного двора, вривался в камеры, звучал как предостережение о смертельной опасности и крик раненого о помощи. Даже надзиратели теперь больше посматривали на небо — не летит ли? — чем на своих подопечных. Заключение волновались:

— Пускай и нас в тыл везут.

— Нам вышки не давали, а тут одной бомбой всех прикончат.

Боксерского сложения крупный финансовый аферист, дядька с широким, как лопата, лицом, обманчиво простоватым, подмигивал:

— Проситесь в армию, урки! С фронта дорога в любую сторону.

— Пример покажи.

— У меня в деле печать не та. И профессия не подходит с немцами работать. Со своих индюков перо скубу...

Вскоре Юргина вместе с большой группой других и в самом деле освободили досрочно. Не досидел нескольких месяцев. Но вышел не на волю, а в запасной полк, от туда в саперный батальон. Подвернись старые приятели, махнул бы на сторону — привык к нестесненной жизни, выпивкам, доступным крученым девкам. Но главарей после суда увезли отдельно, тех, с кем сидел, раскассировали по разным частям. А одному боязно, куда сунешься при военных проверках? Бумажки надежной не достать, дезертирство пришьют — придется носом стенку нюхать. Командир роты, старший лейтенант с пшеничными усиками, чем-то похожий на него самого, только плотнее сложением и ниже ростом, ознакомился с его документами, посмеялся:

— На подвиги уже ходил, вот и покажи немцам кузькину мать! Можешь?

Он думал, что если уж никуда не деться, то может. В роте и взводе люди разные, кто откуда, но все волю, трудяги — что видели в жизни? Ни сласти, ни страсти. Иные из деревни, небось в нечистую силу верили, ночью в нужник ходили, и то крестились. Он посматривал на них свысока, говорил мало; если заходила речь о войне, немцах, политике, домашних делах, усмехался, и только, — подождите, начнется настоящее дело, он покажет. Но до фронта было далеко, стреляли только раза три по мишеням, а занимались с утра до вечера шагистикой, играли в подрыв мостов, закладывали вместо толовых шашек кирпичи, тюкали топорами и копали, копали, копали. Он решил терпеть, помалкивать, но среди людей от людей не схоронишься и натуру под замком не удержишь, просочится. Первая стычка произошла с солдатом Мокрусовым, двадцатилетним кубанцем, чернявым, жилистым, непоседливым.

На стоянке во время марша им поручили заделать

ямы, выбитые грузовиками на выезде с моста через Хо-пер под Усть-Бузулукский. Стояла полдневная жара, недвижная листва прорисовывалась на фоне неба, будто была отпечатана на голубой бумаге. Спину пощипывало, мокра, от солнца слепило глаза, лицо обливалось потом. Чернозем, сухой поверху, раскалывался каменными глыбами, ниже, влажный, налипал на лопату, как смола. Но Мокрусов работал размеренно, спокойно, и это взорвало Юргина.

— Гляжу на тебя — фраер и фраер, — сказал он. — Чего вылимониваешься? Червонцы на лопату не липнут.

Мокрусов дернул головой, словно его укусила оса, глянул бешеными глазами:

— Я тебе не фраер, а солдат! Сообразил?

Лицо Юргина вспыхнуло пятнами, понял, что допустил оплошность, сказал примирительно:

— Чего завинчиваешься? Пошутил.

— С такими шутками катись подальше... На лопату вон получше налегай, тут не только еда поровну.

Юргин промолчал, подумал: «Ладно, деревня, припомним». С непривычки к тяжелой работе у него немели руки, ныло в коленках, тянул уже не на силе, а на злости — подумаешь, велика важность землю ковырять, каждый может! В расположение роты едва плелся, лопату тащил по пыли, прикидывал — стукнет Мокрусов командиру или политруку? Мужики — они такие, за червивое яблоко крик на версту поднимет, видел на базаре. Мокрусов споро шел впереди, посвистывал, обругал разорвавшуюся на вершине березки ворону: «Немцам лети накаркивать, дура! Своих не узнала?» И вдруг, обернувшись, спросил Юргина:

— Слушай, правда, что ты воровом был и в тюрьме сидел?

Юргин от неожиданности заплел нога за ногу, чуть не споткнулся. Мгновение подумав, решил, что шила в мешке не утаишь, буркнул зло:

— Правда.

— Били?

— Что значит «били»? — удивился Юргин.

— У нас, как поймают, первым делом мордуют. Кто чем. Пока милиция не приехала. Сам я не видел, давно было, а такой обычай.

— Меня не били. Сдачи кровью дал бы!

— Смелый ты,— с простодушным удивлением подытожил Мокрусов.— У меня, как подумаю, и то душа в пятки. Ужасты!

Юргин промолчал.

Дня через три шли на Вешенскую. День был похож на пекло, начало прижигать с утра и в каждом часе прибавляло. Только первые в колонне дышали хотя и горячим, но чистым воздухом, остальные хлебали мелкую, рыжую на свету пыль. От пота чавкало в сапогах, мучительно хотелось пить, но нигде ни колодца, ни ручья, у пояса даром болталась пустая фляжка. Юргин с трудом шевелил запекшимися губами, ругался про себя десятиэтажно; хотелось бросить вещмешок, скатку, винтовку, побежать налегке искать воду — должна же она где-нибудь быть. Или остановиться и закричать: «Караул, пить!» Удерживала гордость, боязнь насмешек — твоя слабость на час, людская память на год. До привала дошел чуть живой, плюхнулся на теплую траву, закрыл глаза. Кружили голову, обостряли жажду запахи, густые, пряные, казалось, что ими пропитано все — земля, небо, гимнастерка, печенка, кровь в жилах. Услышал бульканье и фыркание, повернул голову — Мокрусов, сделав большой глоток из фляжки, гонял воду через зубы во рту, потом выпрыснул на траву.

— Добро портишь,— укорил пересохшими губами Юргин.— Дай мне глотнуть.

— А ты уже вылакал? — удивился Мокрусов.

— До капли.

Мокрусов помедлил, колеблясь, завинтил пробку:

— Не дам.

Юргин хотел обругать — «жмот!» — но спохватился:

— Жила... Ну, продай, у меня два рубля есть.

— Тю! — хмыкнул Мокрусов.— Баба я тебе с квасом в ларьке? Держи свои бумажки при себе, может, на махорку сгодятся. Пить нельзя тебе, вот что, совсем ослабнешь. А еще топать и топать. Сообразил?

Юргин посмотрел на него с ненавистью — шутит, издевается? Нашел время, дурак. Во рту словно пыльный бугор наваялся, воздух с трудом проходит, а он — «ослабнешь». Обжег ненавидящим взглядом, завалился на спину — пропадите вы все пропадом. Но через минуту почувствовал толчок в плечо.

— Давай фляжку, отолью,— сказал Мокрусов.

Сблизил горлышко с горлышком, осторожно, словно

закладывал детонатор в мину, плеснул чуть, на доньшко, посоветовал:

— Глотка два выйдет. Первый раз погоняй и выплюнь, второй в нутро можно.

«Жмотничает»,— подумал Юргин и выпил все. Вода была горячая, но стало легче. Мокрусов засмеялся:

— С черноземом вбухал! Он-то аж под язык набился, а ты его в кишки. Гляди, пшеница в брюхе вырастет!

Юргин стал отходить от злости, сказал примирительно:

— Не пойму — как ты терпишь? Устроен, что ли, по особому? Говорят, верблюды в пустыне совсем не пьют по неделям.

— Сам ты по рассуждению верблюд и есть. Я на Кубани колхозничал. Привык обходиться. У нас жара похлеще, на уборке пшеницы не то что пылью, а остью горло забивает, как рашпиль зачихнули. Ничего!

— На Дон бы скорее, там воды хватит.

— Да разве там вода? Вот у нас в Лабе вода — попьешь с ладони, а руку до локтя оближешь! На вид мутная, со снегов по горам бежит, а сладкая и холодит до пяток. Купаться тоже ладно, перевернешься на спину — версту сама тянет, быстрая очень. Бабы — они пятками пробуют, визжат, ледяная, мол, а мы привычные.

Наладившуюся было беседу оборвала команда: «Становись!» Хочешь не хочешь — иди. Юргин подумал, что нырнул бы сейчас даже в ледяную речку, хуже не будет, но вокруг мерцала, текла только распаренная степь, серебряно-зеленая, с желтыми пятнами сурепки. В белесой, туманящей глаза синеве кружили коршуны, у горизонта, отделенная текучим воздухом, между небом и землей висела лесная гривка или посадка. Этот жаркий, зыбкий простор со смазанным горизонтом пугал Юргина. Он привык к городу, там, куда ни пойдешь, во что-нибудь упруешься, при опасности можно проскочить проходными дворами, укрыться. А как тут жить, как воевать, совершенно непонятно, отовсюду виден, встал — и на мушке. Как суслик. Одно утешение — фронт далеко; наверное, на учения ведут, на маневры. Но в общем провалилось бы все к чертям, лучше бы еще пять месяцев в тюрьме досидживать — голоннее, конечно, да зато прохладнее и спокойнее. Ну, воли нет, а тут она есть? Без решетки, без стен, но с утра до вечера все по приказу и под приглядом.

Остановились, не дойдя до Вешенской, в хуторе Гороховском, небольшом, с одной песчаной улицей, но уютном — с огородами в подсолнухах, левадами, садиками, перетекающими в лески, где топорщились невысокие елки и лопотали осинники. Дней десять жизнь текла спокойная, сытная, к пайку вдобавок прикармливали пожилые казачки с задумчивыми глазами, угощали салом, молоком, вздыхали: «Свой такие же где-то бедуют». Жаловались — пшеничный колос голову клонит, скоро убирать пора, а некому. Не унывали молодые казачки, поигрывали влажными глазами, дразнились:

— Эй, солдат, стрелять умеешь?

— Учен.

— А глазами?

— Как будет приказано.

— А можешь обнять, чтоб трудно дышать?

— Давай попробую!

— Побьешь Гитлера, приходи свататься. Только с орденами, на смирных и квелых мы воду возим!

— Вот и шли бы воевать, если такие смелые.

— Не сдюжите — придем выручать. А вас приспособим юбки носить и детей рожать...

Чаще других цепляли Юргина — строен, красив, по виду удал. Он вспыхивал волнением, но помалкивал. По квартирам не стояли, в батальоне отрыли щели, а спали на траве, тепло. Строевых занятий, которых никто не любил, — налево, направо, кругом, шагом марш, — не было. Ходили в рекогносцировки, цели и смысла которых Юргин не понимал, а потому и не утруждал себя размышлениями. В марши втянулся, накормленный, с фляжкой колодезной воды на ремне, шагал без натуги. В мареве зелени и синевы, как сквозь запотевшее стекло, возникали картины прошлого — «чисто взятые» ларьки и небольшие магазины, маслянистые на ощупь сотенные в кармане, «малина», большой, на две связи, деревянный дом в садах окраины, божница с лампадой за облаками табачного чада, упитанная блондинка на коленях — юбка задралась выше некуда, на полных белых руках синяки от ссадин, залапали; глаза отчаянные, хриловатый приятный голос: «Меня мамка родила, в зад коленом поддала». Потом пьяный угар, когда ничего не страшно и ничего не жаль, и каменный сон на весь день. Задумавшись, расслаблялся, в затылок гудел незлобивый бас Лапченко,

ростовского слесаря, плотного, словно сбитого из железа:

— Юргин, подбери пятки. Каблуки с мясом выдеру!

Но вскоре спокойная жизнь кончилась, через хутор с переправы потянулись отступающие из донской излучины. Небритые лица с землистой кожей и запавшими щеками, воспаленные глаза, прожженные, изорванные, замызганные брюки и гимнастерки.словно их когтил, валял по кострищу какой-то зверь и они только чудом вырвались и еще слышат на затылке горячее дыхание. Когда их спрашивали — что там, как? — глядели исподлобья, отвечали на ходу, зло:

— Сходи сам — узнаешь!

Или совсем зловеще:

— До завтра доживешь — узнаешь!..

В развезженных песках улицы надрывались, буксуя, натужно выли перегретыми моторами грузовики. Саперному батальону приказали сформировать заградотряд для проверки — снаряды, патроны, мины, гранаты в тыл не пропускать, сгружать в отведенных местах, передавать на боеснабжение дивизии. Водители и офицеры ругались, иные хватались за пистолеты, требовали составления актов, расписок с печатями — части их рассеялись, исчезли, но они упорно продолжали цепляться за «свое» имущество. Ползли слухи о шпионах и диверсантах, в небе появились немецкие разведчики, бороздили одиночками рассветное и предзакатное небо. Наивный и любопытствующий солдат Антон Прибылко, сельский житель из-под Шостки, ругался: «Зундит, стерво, як штопор в ухо закручивает!» Солдаты батальона, в большинстве молодые, необстрелянные, втягивали головы в плечи, ждали бомбежек.

И дождались.

При первом налете, внезапном и жестоком, Юргин стоял на посту у штаба, внезапно и жестоком, Юргин стоял на посту у штаба, на берегу старого мельничного пруда. Когда, распарывая тьму, с подвиганием пошли бомбы, он в первое мгновение ничего не понял, даже с любопытством поглядывал в небо, с вечера заволоченное яловыми, без дождя, облаками. Но взрывы, содрогающие землю, бьющие по ногам, красные вымахи огня, шипение осколков поразили смятением, погасили нормальную работу мысли, как ворвавшийся в окно вихрь коптилку на столе. Неподалеку была заранее откопанная щель, но он позабыл о ней, стоял, окаменев, смотрел — все вокруг выло, трещало, разламывалось.

Загорелся на противоположном берегу пруда сарайчик, вспучился пламенем с шапкой дыма, в пляшущем свете старая, с корявыми сучьями ракета приподнялась над берегом, зависла на секунду, перевернулась корнями кверху, рухнула в воду, почти одновременно ближе к Юргину поднялся багровый столб воды, хлестнул каплями и моросью в лицо. Вынести все это было выше его сил; потеряв всякую способность соображать, подчиняется только животному побуждению, которое заставляет зайчонка биться в когтях совы, даже когда уже давно оторван от земли, он бросил винтовку на ступени крыльца, перемахивая через плетни, путаясь в огуречной и тыквенной ботве по огородам, оступаясь в колдобинах, побежал. Куда? Не знал и не думал.

Лишь в степи за хутором, когда все затихло, упал на траву, обхватил голову руками, начал отходить. И первой связной мыслью было — что дальше? Подаваться в тыл? Нельзя, знал — там повсюду посты проверки. А осталось ли что после такой бомбежки от батальона? Может быть, что там уже и штаба нет и спрашивать некому?

С этими мыслями уснул, вздрагивая, ежась от ночного холода.

Арестовали его утром, когда зашел в крайний дом попросить поесть, привели в штаб. Без пилотки, — потерял где-то, когда бежал, — чумазый, с прорехой на брюках, сквозь которую лезла бахрама кальсон и просвечивало тело, стоял, опустив голову. Прикидывал в уме: перетрусил, будут смеяться, но это ничего, от смеха не умирают; возможно, будут судить, посадят — что ж, уже судили, сажали, не помирают и от этого. Комбат, усталый, осунувшийся в нервотрепке последних дней, не спешил начинать разговор, курил, отмахивал дым рукой. Комиссар батальона, высокий, с пристальными глазами и упрямым подбородком, склонился к столу, рисовал на листке бумаги завитушки огрызком карандаша.

— Что ж, Юргин, излагай, — приказал наконец комбат. — Что к чему и почему.

— Сами знаете, — не поднимая глаз, тихо ответил Юргин.

— Ничего пока не знаем.

— Думайте как хотите.

— На молчанке, Юргин, далеко не уедем. Война шуток не любит, это хоть понимаешь?

— Вам виднее.

Могло показаться, что Юргин подавлен, не может справиться с мыслями. Отупел, как молодой бычок, оглушенный ударом кола. На самом деле он лишь повторял изученную тактику, вел себя так же, как когда-то на суде. Тактику эту, как верующие закон божий, в их среде заучивали заранее, на всякий случай,— если попался, говори как можно меньше, допрашивают хитрые крючки, могут зацепить на одном слове.

Комиссар оторвался от своего занятия, поднял голову:

— Выплюнь жвачку, Юргин, пустое дело. У нас, шахтеров, есть под землей такая команда: «Береги голову!» Считай, что тебе ее подали. Не понимаешь? Высвети ему, комбат, ближайшую перспективу, пусть полюбуется.

Комбат пожал плечами, выдвинул ящик стола, подчеркивая и разделяя паузами фразы, прочитал несколько параграфов из устава, выдержку из приказа, только что полученного в частях,— жесткого приказа, категорично. Сказал:

— Куда ни кинь, Юргин, все клин. Передадим дело в трибунал, считай, что конец. Одного того, что убежал с поста во время боевых действий, хватит поверх головы, а у тебя еще дезертирство, поймали-то вне расположения части. Немцы наступают, наши люди мучаются и гибнут в оккупации, сотни, тысячи каждый день ложатся мертвыми на поле боя — почему должны нянчиться с тобой? По чужой крови на вольготную жизнь хочешь выскочить?

Только теперь дошло до Юргина в полной мере — не на мелкой шkode засыпался, переступил черту, за которой прямо в глаза глядит смерть. Вчера казалось — бежит от нее, сегодня видно — к ней, напрямик в собственную могилу. Побелел, лоб, шея покрылись холодной испариной. Лихорадочное воображение, действуя со сноровкой базарного художника, одним росчерком пера набрасывающего профили непритязательных заказчиков, нарисовало ствол винтовки, ищущий голову. При разговорах о «вышке» у него леденело внутри еще там, на воровском промысле, оттого, чтобы не наделать беды в запале, даже финку носил укороченную, подрезать можно, но до сердца не доставала. И вот она, «вышка», сделать один шаг...

С трудом разлепил задрожавшие губы, пробормотал:

— Я не дезертир... Испугался... Обеспамятел...

— Успокойся. Раскручивай по порядку.

Когда он окончил, его, объялого, еле передвигавшего ноги, отвели в небольшую пуньку с камышовой крышей, порядком раздерганной непогодами. У двери, трухлявой, перекосившейся, — ржавая клямка не накидывалась на пробой, подперли дрыном, — поставили часового. В маленьком, разве что ребенку пролезть, окошке справа от двери увидел кончик яблоневого ветки и кусок безоблачного неба, такого мирного, спокойного, что хотелось заплакать. Повалился лицом вниз на охапку соломы, пытался унять горячечную скачку мыслей, представить — что происходит в штабе, подписывают документы в трибунал?

Но там еще ничего не подписывали. Комиссар все так же сидел за столом, комбат ходил, поскрипывая разошедшимися половицами, докуривал третью папиросу, говорил:

— В штаб докладывать все равно придется, замалчивать такие вещи — преступление. И губить жалко — зелен, глуп. Что думаешь, комиссар?

— Мало ли чего разного... Вот думал, что страх — это капитуляция разума перед инстинктом самосохранения. Плохо? Плохо. А не будь этого инстинкта, никакой вид не выжил бы, человек тоже. Верно?

— Мудро. Лет через сто ученое звание можешь получить... А сейчас как быть? Может, следователю в письменном виде свой философский трактат пошлешь?

— Снять бы ему, сукину сыну, Юргину этому, штаны, насыпать горячего до слез.

— Сыпать сам будешь или поручишь кому?

— Может, ты своими правами обойдешься? Я все же думаю, что умысла не было, от страха все. Если хочешь знать, у меня тоже мокрицы по спине ползли, когда каша эта заварилась. Спросонья совсем очумелый был.

— Черт ее знает, что тут делать. Согласен — от страха. Но ведь нервничают все кругом. Если бы нормально в оборону сели, притерлись бы понемногу, а тут через нас отступающие катятся, порой смотреть страшно — несутся, как с пожара. В наших частях еще живого немца не видели, пули не слышали, а у многих психика на балагайку похожа. Ну, обойдусь я своими правами, а сверху и стукнут. За слюнтяйство. Могут?

— Могут.

- Ты ведь в политотдел донесение писать будешь?
- Буду.
- Так что делать?
- Решай сам. Ты командир. А Юргина жалко.

Пришел посыльный, комбата срочно вызывали на переправу — поврежден мост. Сунул окурочок в алюминиевую миску с водой, служившую пепельницей, махнул рукой:

— Ладно, стукнут — до свадьбы заживет. В трибунал передавать не будем. Мои права — восемь суток строгого ареста на хлебе и воде. Потолок. Объясни ему, чтобы от страха не помер. Приказ подпишу, когда вернусь.

Комиссар зашел в пуньку часа через полтора, дергали неотложными делами. Юргин к тому времени раз двадцать сгонял сам себя на расстрел, пережег нервы, обхватив руками затылок, словно защищаясь, лежал окаменело. Услышав скрип двери, сел, смотрел широко открытыми глазами — сейчас поведут. Увидел комиссара, попытался встать и не смог, не слушались ноги. При первых словах судорожно, со всхлипом, вздохнул, будто выскокчил на поверхность омута, стало жарко.

— Вот и сиди, — объявив решение, закончил комиссар. — Без глупостей сиди, смирно. Как в Одессе говорят? Думай за жизнь.

В растерянности не знал, что сказать, выдавил:

— Спасибо.

— Не за что, не пятак подаю. Бывай...

Ремень, перочинный ножик, спички, табак у Юргина отобрали. На хлебе и воде можно было жить, но в первые четыре дня нестерпимо хотелось курить — сосал камышинку, жевал ракитовую щепочку, рот забивало сухой трухой, горчило, сбивало тоску. Однажды при смене часовых догадался по голосу — заступил Мокрусов. Было за полночь, в пуньке, как в бочке с дегтем, черно, только в маленьком окошке синела звезда. С вечера где-то неподалеку громыхало, сейчас ни на земле, ни в небе ни звука, из щелей тянет прохладой, похоже, выпала роса. Выждав минут пять после того, как затихли шаги караульной смены, спросил:

— Это ты, Мокрусов?

— Ну я. Чего тебе?

— Курнуть дай. Хоть разок затянуться.

— Арестантам не положено. Отсидишь — покуришь.

— Тумба ты бульварная, вот что. Ладно, перемогусь. Наших при бомбежке много побило?

— Никого не побило... Кончай балачки, а то начальника караула вызову!

Про себя обругав Мокрусова, — как же, из одного отделения, спали рядом, а тут «не положено»! — Юргин вдруг словно споткнулся — он сказал, что тогда никого не побило. Как — не побило? Он сам видел пожар, вырванную с корнем ракиту, столб воды, громыхало и визжало кругом и — «не побило»? Заливает, секретничает! Не навяжденье же это было, не приснилось спьяну, тогда бы и пуньки этой не было, а она вот — стена, стена, стена, солома под боком, мышь в углу скребет, звезда в крохотном окне. Или вправду не побило? Тогда, значит, не так страшен черт? И он зря бежал, едва не пропал, и все ни за понюх табаку? Поговорить бы обо всем этом с Мокрусовым, да не стоит, устав блюдет, тоже своя рубаха ближе к телу.

Ровно через восемь суток, в то же самое время, когда посадили, заместитель комбата старший лейтенант Кондратюк, щеголеватый, в белом подворотничке, велел начальнику караула открыть дверь, заглянул в пуньку, усмехнулся, сказал официально: «Юргин, на выход!» Всмотрелся в осунувшееся, посеревшее лицо, в погасшие глаза, покачал головой, сказал нараспев как будто не к месту:

— Не ходи так часто на дорогу в старомодном ветхом шушуне... Стихи Есенина. Не читал?

Не дождавшись ответа, кивнул:

— Отвести в роту.

И ушел.

Юргин подивился — война, бомбежки, а выпустили по часам, ничего работает машинка! Жмурясь от солнца, повернулся к начальнику караула, рыжеватому флегматику с толстыми щеками, спросил — что нового в батальоне? Тот хмыкнул равнодушно:

— Топай!

В роте к ранее откопанным щелям прибавилось две больших землянки, у одной из них, врытой в бугор, хлопотал голый до пояса Мокрусов, делал ступеньки, без которых, как ни гляди, можно было жить еще тысячу лет. Увидел Юргина, выпрямился, отер пот, раздвинул крепкие губы в ухмылке:

— Привет узнику капитала!

— Это почему капитала? — удивился Юргин.

— А как же? Не было бы капитала, не было б войны, не было б войны, не было б бомбежки, не было бы бомбежки, не было б отсидки. Выпили бы, песни заиграли, нынче воскресенье. Значит, за капиталом тебе и должок, востребуй при случае.

— Запустил ветряк. Наше отделение тут?

— Тут. У Иванченко чирей на том самом месте, пузом вниз храпака задает. Остальные на кухне дежурят. Заходи и гостюй.

— На солнце посижу. Закурить дашь?

— Хорошо попросишь — найдется.

Не обиделся, обычное присловье, как при получении писем «пляши — отдам». Сидели рядом, дымили. Юргину не хотелось заводить серьезного разговора, спросил:

— А львов где брать будешь?

— Каких львов?

— Каменных, для лестницы. Княжеские хоромы видал? Там всегда ставили.

— А-а, ты вон про что... Скучно. Меня дневальным оставили, а делать нечего. Пшеницу пошел бы косить — не пустят.

— В роте все живы?

— У нас все. В первой на переправе двух убило и четырех ранило. Днем после того наскочили. Одного сбили, самолет тут недалеко лежит, летчика взяли.

Больше всего Юргин боялся, что после отсидки станут досажать расспросами, насмехаться. Прежняя жизнь перекосила его представления о жизни и людях, болезненно взвинтила самолюбие — ему всегда навязчиво казалось, даже когда этого не было и в помине, что в нем угадывают вора, смотрят с опасением и гадливостью. Никаким внешним шиком, никакой бравадой этого жгучего ощущения заглушить было невозможно. Только пьяным угаром. Что, если и тут будет то же самое? Первые дни после возвращения в роту он чувствовал себя так, будто предстояло идти босыми ногами по раскаленным углям или голому пролезть через колючую проволоку.

Но, к его удивлению, пошучивали над ним в той же мере, что и над другими, добродушно, без желания разозлить. И в ту ночь, оказывается, перетрусил не он один — кто-то, позабыв про каску, пытался натянуть на голову по-

дол гимнастерки, так что ремень сполз к подмышкам, сонливый солдат Крамарев вместо щели сиганул в ручей с ключевой водой, потом до утра стучал зубами. Правда, политрук роты по совету комиссара предупредил, чтобы Юргина не трогали, но люди и сами, применяясь к положению, быстро учились строить отношения на сочувствии и доброжелательности, ненавязчивой взаимопомощи. Если годы советской власти уже прочно заложили в сознание принципы коллективизма, то война тысячекратно подчеркивала их справедливость и спасительность — тут и слепому видно, что в одиночку не только не победить, а и не выжить. Одни это понимали в полной мере, формулировали: «Сам погибай, товарища выручай!», другие просто чувствовали, как землю под ногами. Есть она, и все, чего тут такого.

Юргин все чаще задумывался, Мокрусов пошучивал:

— Скучный ты. Тараканы в голове завелись, что ли? Фриц на тебя в бинокль глядит, радуется — ага, крепко я его прищемил.

— А на тебя?

— Эка хватил! На меня как глянет, так и скиснет. Душает — ишь, какой он веселый, Мокрусов этот, не иначе припас для меня чего-нибудь горячего до слез. Лучше б, дескать, я в своей фатерляндии сидел, а то и ног не унесешь.

— Бойтся, а на Дон припер.

— Без соображения и припер. У нас баба одна малахольная была, наберет, сколько руками захватить, конопля да в один сноп и вяжет, а поднимать станет — рассыпалось.

Задумывался Юргин оттого, что чувствовал себя сбитым с толку. Прежде кто не свой, не из шайки или не пособник, тот чужой или враг, мог заподозрить, выдать. Тут в чем подозревать, кому выдавать? Напрягся для защиты, руки и ноги каменеют от напряжения, а никто не замахируется. В былые времена все же думал, что возвышен над другими умом и ловкостью, мозолей нет, а живет и поллучше. Теперь обнаруживал, что и знаний со щепоть, и сноровки кот наплакал — не мог забить обыкновенного кола, свалить в намеченную сторону дерево, поджарить на огне кусок сала без сковородки, копать землю без того, чтобы сразу же не вскочили кровавые мозоли, — смургал ладонями по цевью лопатки. Со страхом смотрел,

как Лапченко, тяжелый и неповоротливый на вид, обжимает зубами детонатор на бикфордовом шнуре, отодвигался — сейчас рванет! Но тяжелые руки Лапченко — кулаком бычка наповал уложит! — непостижимым образом чувствовали неуловимые для глаза расстояния.

Но особенно присматривался к Мокрусову. Тот знал все деревья и травы, голос каждой птицы, мог определить время и ориентироваться по звездам, угадывать по непонятным приметам погоду, — казалось, все, что только виделось вокруг, его родной, обжитой дом и он даже во сне знает, где какая вещь лежит и для чего служит. Непонятно еще было, что при всяком удобном случае напрашивался он на опасные задания, объясняя этот свой зуд совсем по-ребячески:

— Фрицу от Ивана дуля из кармана — хай нюхает, чем пахнет.

— А как стукнет он тебя?

— Это он может. Надобно беречься.

— Вот и поберегись.

— Так ведь оно и то и то надо. Война.

От кого-то из пехотинцев Мокрусов узнал, что на берегу Дона в кустах, чуть выше Базков, лежат пять рыбацких баркасов. Отпросился у командира роты посмотреть, ужом выполз на закате к берегу, даже руками борта и днища ощупал — ничего посуда, крепкая. Наверное, бросила рота, которая переправлялась последней, теперь, если не прибрать, пропадут, посекут осколками и пулями. С разрешения доложил комбату лично. Тот прикинул, сказал:

— Баркасы нам нужны до зарезу, на всю дивизию их по пальцам счесть. Но как выручить — не представляю. Просеку, что ли, в зарослях рубить да волоком от реки тащить? Не дадут, прямой наводкой в порошок сотрут.

Мокрусов стукнул каблуками, кинул руку к пилотке:

— Разрешите мне, товарищ капитан! Добровольцев найду, выведем в залив к дому Шолохова.

Дом Шолохова в самом деле стоял почти у конца залива, отделенного от реки полуостровом, густо поросшим лесом. Комбат засомневался — как туда их выведешь? Спросил:

— По Дону, что ли?

— По Дону.

— Пулеметом с того берега из вас решет наделают. Гречку просевать. Даже ночью — ракетами высветят.

— Ночью прихлопнут, — согласился Мокрусов. — Они, немцы, сторожкие. А как по заре? Дон туманом кроется, кисель и кисель, кулак около морды не углядишь. Метра на четыре вверх пластуется, нам и хватит. И опять же в это время звук гложет, а и услышишь — не поймешь, откуда идет. Способное время!

Набрал Мокрусов пять человек. «Может, и мне попробовать?» — спросил у него Юргин. Он не представлял в точности, что там и как будет, но уже пришел к выводу, что Мокрусов хитер и удачлив, раз идет, дело не такое опасное. Как раз можно и себя испытать, и другим показать — не хуже прочих. Но Мокрусов наотрез отказал:

— Мне кони нужны, битюги. А на тебе мускула малоросло.

— Тоже и я солдат.

— Так я чего? Признаю. Да мы не воевать собираемся, всего и дела, что тянуть.

Перед рассветом и правда пал туман, степь и вершины леса на виду, а по Дону как вату раскатали. Баркасы бесшумно снесли в воду, примкнули связкой в кильватер, пятеро дюжих солдат босиком, — и ботинки и обмотки оставили в лесу, — шли по песчаному заплеску и траве, тянули по-бурлацки. Мокрусов в головной лодке попихивался шестом, направлял. Всего час и потратили, прибуksировали в заводь, тут немцу не увидеть и не достать.

Юргин несколько дней ходил мрачный — нет, видно, не доверяют. Уже и под бомбежками с тех пор был не раз, под артиллерийскими и минометными обстрелами, и никакого упрека не заслужил, ничем не хуже других, а все что-то не так выходит. Мокрусову ничего не говорил, не задибался, понимал — бесполезно, от него как сухой горох отскочит. Тот сам тоже помалкивал — наверное, и значения не придавал: было да прошло, чего шею ломать оглядками. Но однажды, когда отгремели котелками за обедом, отозвал в сторону, объявил:

— «Языка» за Дон пойдем добывать. Добровольцев искали. Мы с Лапченко согласились, я и тебя назвал.

— А когда это я соглашался?

— Так помнишь, лодки вытаскивать просился? Я и подумал — дела ищешь.

— То лодки, а то разведка.

— Да какая разница? Сообразим!

Юргин почувствовал холодок внутри — переплывать Дон, забираться в расположение немцев, они тебе «сообразят»! Если бы попроще что, на своем берегу... Сосредоточенно скреб ложкой по дну котелка, хотя тот был пуст, размышлял. И неизвестно, как развивался бы разговор дальше, если бы Мокрусов не пояснил:

— Два дня на подготовку дали, выйдем перед вечером.

Юргин подумал — ладно, два дня на войне вечность, там видно будет.

«Язык» в дивизии был нужен до крайности. Части противника, стягиваясь к Сталинграду по донской излучине, крутились, как в гигантской воронке, маневрировали, передвигались. У командования были сведения, что перед фронтом дивизии немцев сменили итальянцы, но живого представителя Муссолини никто не видел. Сунулась полковая, потом дивизионная разведка, проваландались две ночи, вернулись с пустыми руками. Жаловались — на мины наткнулись. Командир дивизии сказал комбату саперного: «У тебя люди поученее, мин не боятся, воды тоже — действуй!» Комбат просил три дня на подготовку, с трудом выторговал два. Возглавить разведгруппу вызвался молодой политрук второй роты Лапинис, кадровик, немногословный, точный в действиях, — его романтическими героями были латышские революционные стрелки.

Вышли на закате, когда от каждого дерева, кустика, холмика вытянулись длинные коричневые тени, расположились, изменили местность, словно надели на нее маску. Кроме Лапиниса, Мокрусова, Лапченко и Юргина шел солдат Крюков, осадистый, с выкаченной грудью и широкими плечами при небольшом росте. До войны он увлекался штангой, гимнастерка бугрилась на мускулах, толстые в икрах ноги ступали твердо, но как-то почти бесшумно. Как все очень сильные люди, он отличался добродушием и покладистостью, а при том любил поесть и поспать, иногда всхрапом прерывал политбеседу на привале. После конфузливо оправдывался:

— А чего мне все говорят — «немца бить, немца бить». Сам знаю.

— Так тебе обстановку объясняют.

— А чего объяснять, если он уже на Волгу прет. Не знаю я, что ли, где находится?

К Дону вышли на полуострове, за озером у Еринского, под разлатым дубовым кустиком почти у воды вырыли полумесяцем щель. С рассвета, поочередно глядя в единственный бинокль, изучали противоположный берег. Там слева, поднимаясь прямо от воды, белесо и зелено плескал листвою диковатый низинный лесок, весь в зарослях дурнотравья и ежевики, уходил клином в расположение противника. Справа, начинаясь небольшим рыжим обрывом, покато поднималась всхолмленная степь. С утра, при бьющем в глаза солнце, она нежно синела, металлически отсвечивала росой, едва отделяясь от чистого неба с волнистым горизонтом, умиротворяла, манила. Днем на ней по склонам высот пунктирно чернели траншеи, зловеще бугрились дзоты, иногда рявкавшие пулеметными очередями. Надоедливо, как ленивая муха, жужжала в жарком небе «рама», разведывала, вынюхивала.

— Кухню нашу ищут, — басил Лапченко. — Тюкнут — хлебом горя. Крюкова жалко, отощает, как селедка.

— Ничего, у немца сопру, — смеялся Крюков.

— Неужели донесешь?

— Для такого дела поднатужусь.

— Разговорчики! — вполголоса пресекал шутки политрук. — Юргин, сколько метров от крайнего дерева до промоины с одиноким кустиком?

— Девяносто будет, товарищ лейтенант.

— Все сто пятьдесят.

— Извиняюсь, виноват. Я в городе вырос, там вся мера — до милиционера.

— Переучивайся. Мокрусов, повернись спиной к Дону, перечисли приметы местности слева направо.

Пояснял:

— Что видите — отпечатывайте в памяти. Как фотографию. Чтобы ночью с завязанными глазами пройти.

От дивизионных разведчиков знали — лесистый берег Дона ночью не охраняется, в восемь и одиннадцать часов вечера проходят патрули. Наблюдения подтвердили это. Значит, переплыть реку будет не трудно, долбленка и баркас уже стояли в протоке. Лес тоже не помеха, там обороны нет. Главное будет потом — брать пленного на переднем крае нельзя, много шума, перебьют или утопят на переправе, нужно идти в тыл. Как? Политрук, обговорив все с группой, решил — выходить из леса не в конце клина, где может быть «пробка», а ложбиной между дву-

мя высотами, свернуть вправо не в глубине, а почти сразу за окопами, в кукурузное поле. Противник здесь меньше насторожен, только придется попотеть, метров около трехсот одолевать ползком. Брюкам и гимнастеркам капут, а не протрутся, так за неделю не отстирать, но делать нечего.

В первую ночь Юргин томился, сам не зная отчего. Сырая земля щели пахла подвалом, тоскливо сипел на быстром течении в устье протоки полузатопленный лозовый куст, лес напротив был насторожен, словно набитый какой нечистью. Над ним, беззвучно поворачиваясь, на незримой вселенской оси, текли в неисчислимости звезды, складывались в причудливые узоры, мигали, будто напряженно, до слез всматривались — что там внизу? Эта бездонность тьмы на земле, без единого огонька, и мерцание неба подавляли своей грандиозностью и непостижимостью, он начинал себе казаться меньше муравья. В Дону порой была крупная рыба, он вздрагивал, спрашивал Мокрусова:

— Не плавает ли кто, а? Слышишь?

— Сом,— лениво со сна пояснял тот.— Или сазан.

— А чего они бултыхаются?

— Покупаться вышли. Мы, когда купаемся, в воду сигаем, а рыба на воздух выскакивает.

— А если разведчики?

— Фриц, говорят, не ходит к нам. Считает, что его сила и так берет.

В третьем часу ночи, совершенно выпавшийся, Мокрусов попросил лейтенанта:

— Разрешите на тот берег сплавать.

— Зачем?

— Огляжусь, послушаю, дорогу присмотрю. Чего тут без толку глаза пялить? Я же не на лодке, самоходом, только нож возьму на случай. А плаваю я получше язя, три раза голову над водой подниму — и там. Сами будете глядеть — не заметите, за рыбу сойду.

Предложение было очень соблазнительным, однако политрук не разрешил. Мало ли что, противника до времени настораживать нельзя, капкан может поставить. Юргин машинально оглаживал автомат,— на батальон их было всего около десятка, но разведчикам выдали всем, это бодрило и прибавляло уверенности,— допытывался у Мокрусова:

— И чего ты всегда суешься наперед? Медаль, что ли, хочешь отхватить?

— А чего? Не откажусь. Только, опять же, за такой пустяк не дадут. Не надейся.

— Так чего?

— Не знаю... Интересно мне, соображаешь? И не купался я в Дону ни разу, а ночью вода теплая, как молоко.

— И в такой пришьют.

— Ежели заметят, то пришьют, а как же! Да ведь тут соображать надо... Вот когда немцы на Дон пришли, в первую неделю у них каждую ночь суматоха была, сом круг разводит, сазан ударит, лещ плавится — ракетами светят, из пулеметов шпарят. А наша пехота тоже непуганая была, таращится при этой канители, атаки ждет. И смех и грех! Теперь же обвыкли все. Ну, вот и плыву я, даже если наплескаю — чего подумают? Подумают — нет, это не Мокрусов, он в окопе носом свистит, это рыба. Сообразил?

После разговора с Мокрусовым у Юргина всегда бывало легче на душе — оно и правда, если разобраться, то и не так все страшно. Утром последнего дня перед выходом Мокрусов сказал:

— Солнце как из простокваши вылезло, комар в траве сидит. За полдень должно дождь натянуть.

И в самом деле, после обеда наволокло на Дон сизую с дымящимся закрайком тучу, она подходила медленно, роняла молнии, постреливала, потом пролилась дождем, шумным и коротким. Степь возогнала пар, быстро высохла, но погода переломилась, по горизонту то тут, то там посверкивало, катился глуховатый гул. Так пошло и в ночь. В непрерывном движении куски звездного неба перемежались с угольно-черными, по ним искрило, то поднимался, дыбил ветки теплый влажный ветер, то текала тишина. Мокрусов рассказывал Лапченко:

— Я, когда молодой был, в такие ночи с девками любил гулять. Тут тебе звезды, тут тебе молнии, тут тебе она, милаха. Боевой комплект!

— И многих угулял?

— Да не сказать, больше по присловью: «Солдат, девок любишь? Люблю. А они тебя? И я их!» У нас девки строгие, болтай, да руками не замай, сдача горяча — с правого плеча. Но одну такую, Катькой звать, угулял, два сына имеем. Оба в нее, я как грач, а они в рыжину.

Юргин хмыкнул:

— А ночью в Дон лезешь. Сидел бы потише, батька все же.

— Сколько на свежем воздухе, а пыль из головы не выветрило,— огрызнулся Мокрусов.— За них и воюю, чтобы при советской власти людьми стали, а не батраками у немцев. Победим — старший и без меня инженером станет, он головастый! Сообразил? Не то, как наши девки, могу с правого плеча вразумить...

В половине двенадцатого вывели лодки в горловину протоки, на первой, долбленке, поплыл Мокрусов, взяв к себе Юргина, вторая двухвесельная, с уключинами, обмотанными тряпками, шла метрах в двадцати. Дон слегка парил после дневного дождя, но туман был жидкий, текучий, закручивался призрачными вихрами над самой водой. Причалили в омуте, у невысокого, но обрывистого берега, среди коряг — лежат, смытые разливами давно, страшновато тянут над водой черные руки, будто утопленники. Прислушались — все тихо. На лодки набросали хвороста, двинулись лесом след в след, впереди Мокрусов, за ним Юргин, политрук, Крюков, Лапченко. Трава и ветки отволгли, лишнего шума нет.

Лес, забирая вправо, прошли быстро, от последних деревьев, ориентируясь на ложбину между холмами, смутно различимыми при блеске дальних молний, двигались осторожнее. Перед промоиной, в узости, Мокрусов пополз, и хорошо сделал — обнаружили небольшое минное поле. Как при ловле змей, когда обязательно надо ухватить за голову, ощупывали каждый сантиметр земли, сняли около десятка мин, две натяжного действия, прыгающих, — повезло, наткнулись не на проволоку, а на металлические корпуса. Дивизионные разведчики были правы, такие места без сноровки не проскочишь — прыгающие мины выдумка адская, идешь в пяти метрах, наткнулся на проволоку, срабатывает запал, мина вылетает из металлического стакана, рвется в воздухе, поражая осколками. А если и не убьет, то выдаст, пойдет переполох.

Ложбину до края подсолнечного поля одолевали ползком, вжимаясь в землю. Слышали — на высоте справа, в траншеях, разговаривают солдаты охранения.

Мокрусов полз быстро, сноровисто. Юргин еле поспевал за ним, у него дрожали руки, сам не понимал — от

страха, от напряжения? Но остановиться боялся, позади дышал политрук. Мокрусов размышлял — натягивает тучу, если вспыхнет молния, ничего, при ней много не увидишь, больше спит, при осветительной ракете хуже, зависнет на парашюте. Особо страшного ничего нет, станковыми пулеметами не обстреляют, у них амбразуры на реку, на автоматный огонь можно ответить, только возвращаться придется ни с чем. Юргин же мыслил прямолинейно: обнаружат — перебьют. От этого было страшно.

Добравшись до подсолнухов, залегли, чтобы перевести дух, слушали. Нет, все тихо. Потом, разгребая стебли руками, минут тридцать двигались крадучись, пригибая головы. Лишь когда вышли к дороге, уже позади окопов, политрук собрал всех в кружок, сказал тихо:

— Мокрусов впереди, прямо по дороге, мы левее сбоку. Группы больше трех пропускать, возни много. Меньше — брать.

Метров триста, а может, и полкилометра прошли спокойно, никого не встретив и не обнаружив. Роса не садилась, степь сильно пахла землей и травой, по горизонту чиркали зарницы, как солдаты зажигалками. И вдруг неожиданно впереди, совсем близко, земля как бы взревели, выкинула четыре длинных факела огня, над головой коротко и тяжело шурхнуло, дохнуло жаром и тухлой пороховой вонью. Мокрусов мгновенно скатился с дороги, залегли и остальные; Юргин почувствовал, как в нем нарастает нестерпимый ужас, уже пережитый при бомбежке, как внутри все визжит и плачет: «Беги, беги, беги!» Руки стали отрываться от земли, ноги напряглись для прыжка, глаза ничего не видели, будто внезапно ослеп. И наверное, он подчинился бы страху, побежал бы, если бы на спину не опустилась рука Крюкова:

— Во жахнули из пушки по воробьям!

— Бежать надо, — свистящим шепотом выдавил Юргин. — Заметили.

— На батарею чуть не наткнулись, — тоже шепотом сказал политрук. — Обходить справа.

Отползли, потом шли по пшенице, стежкой снова вышли на дорогу. Кругом — ни одной живой души. Батарея, которая теперь была изрядно позади, сделала пять залпов и смолкла, над головой успокоительно мерцали звезды. Но Юргин потерял душевное равновесие, мысли

неслись лихорадочно, опять поднималось в нем все темное, скользкое. «Может, уйти? — думал он. — Отверну в сторонку, перележу где-нибудь до утра. При свете стрелять не станут... Говорят, тех, кто сидел в тюрьме, там отпускают на свободу... Ведь тут еще идти назад, плыть через Дон... Отойти и залечь, только бы не заметили сразу... А потом при свете дальше...» И настолько велика была сила воображения, что, ничего еще и не решив, он начинал забираться в сторону. Но и в первый и во второй раз его останавливал спокойный голос политрука:

— Юргин, не спать! Заблудишься.

Он вздрагивал, словно вправду просыпался, снова пристраивался в затылок Мокрусову, шагал. И, вдруг успокоившись, — кто знает, в каких глубинах и как совершаются такие переломы? — понял, что власть наваждения кончилась, что никуда он уходить не будет, что эта ночь, как завершение чего-то давнего, больше связала его с Мокрусовым, со взводом, с батальоном, чем когда бы то ни было был он связан с дружками по воровским делам и притонам. Было странное и острое ощущение, что здесь, в тылу у немцев, среди степных запахов, при звездах над головой и мерцании зарниц по горизонту, он перешагнул черту в другой, настоящий мир, в котором он еще многого не понимает, а тот, старый, уменьшается, тускнеет, покрывается пылью. Ощущение это было таким внезапным и будоражающим, что он забылся, заторопился и наступил на пятку Мокрусову. Тот обернулся, прошипел:

— Разлепи глаза, раззява!

И странное дело, Юргин даже не обиделся, улыбнулся.

Внезапно Мокрусов остановился, сделал знак рукой — неподалеку от дороги виднелся саманный сарай, совершенно одинокий. В такие заваливают сено, оно сохраннее и суше, чем в стогу, или загоняют на ночь овец. Чуть правее виднелись силуэты двух лошадей. Опять залегли, Мокрусов ужом скользнул по траве, спустя несколько минут так же бесшумно вернулся:

— Солдаты. Похрапывают. Сколько — не знаю. Возле сарая две повозки под брезентом.

— Надо брать, — согласился политрук. — Если и шум получится, беда невелика, с передовой не услышат, близости никого нет.

Часовых не было,— видимо, солдаты были настолько уверены в безопасности, что не подумали об этом. Распределили обязанности — Лапченко и Крюков по углам, политрук и Юргин справа от ворот, открывает и окликает Мокрусов. Он вытащил из чехла противотанковую гранату, левой рукой рванул на себя ветхие ворота, негромко скомандовал в темноту:

— Хенде хох!

Все остальное произошло как бы в одно время. В проеме ворот ухнул слабый взрыв, Мокрусов почувствовал острую боль в горле под самым подбородком, резко, почти не думая, выкинул руку. Обычная граната рвется с интервалом в три секунды, она меньше и слабее, сечет осколками; противотанковая, когда брошена, срабатывает при столкновении с любым препятствием мгновенно и мощно. Сарайчик озарился красным, стены перекошились, осыпая куски самана, крыша в правом углу вспучилась и вывернулась наружу. Послышались стоны, сдавленный крик:

— Санта Мариа!..

В сарайчике ночевала группа итальянских саперов, человек в двенадцать, с лейтенантом и немецким ефрейтором,— направлялись на минирование, запоздали, решили передохнуть. Почти все они были убиты или умирали, действие противотанковой гранаты в закрытом помещении страшно, в живых остался только лейтенант, спавший отдельно в углу, и немецкий ефрейтор, пристроившийся по соседству с ним,— он был ранен в руку. За грохотом и суматохой наступила тишина, некоторое время прислушивались — не поднимет ли кто тревогу поблизости? Потом успокоились — и артиллерия стреляет ночью, и самолеты летают, и в небе погромыхивает иногда, кто станет тревожиться. Мокрусов, по шее которого за воротник текла кровь, попросил Лапченко:

— Глянь, чего у меня в горле.

Лапченко присветил фонариком.

— Торчит чего-то... Вроде пружины. Выдернуть, что ли?

— Не трожь, заматывай так. Утром разберемся.

Юргин чувствовал, будто что-то щекочет щеку, провел рукой — мокра. Теперь Лапченко присветил ему, но успокоил:

— Кожу подрало. С пластырем походишь, меченым будешь.

Поглядел опять на Мокрусова, усмехнулся:

— Теперь ты совсем хороший ориентир — шея белая, как у селезня! Болит очень?

— Терпимо. Покалывает, стерва.

Перебинтовали руку и ефрейтору — он сидел молча, отупевший, ничего не соображающий. Подкинули итальянцам новых немецких мин, его послали проинструктировать — и вот что вышло. Двинулись в обратный путь. В подсолнухах, на подходе к ложбине, которую надо было одолевать ползком, политрук приказал:

— Замотать пленным рты бинтами. Крикнут сдуру, и сами пропадут, и нас подведут.

Казалось, итальянец сразу понял все и до конца, по ложбине старательно полз между Юргиним и политруком, только трудно посапывал носом. Немец, опаматовавшись, дергался, иногда упирался, пытался встать — Крюков железной рукой захватывал его затылок, подносил к носу кулак. Успокаивало. Лесом шли уже смело, удовлетворенные, оживленные — все самое опасное осталось позади. Мокрусов пожалел:

— Эх, повозки с минами не взорвали! Вот было бы представление!

— Ага, — засмеялся политрук, — только и сами бы не ушли. Уж тут и дурак понял бы, что к чему.

— Съел, умник? — уколол Юргин Мокрусова, порадовавшись, что и тот может чепухи намолоть.

— Так я ж раненый, — отшутился Мокрусов. — Соображение через дырку утекает.

На берегу возникла проблема — большая лодка могла поднять четыре человека, долбленка — два, а их теперь было семеро. И неожиданно Юргин сказал:

— Вы езжайте, а за мной потом кто-нибудь приедет. В случае чего, прикрою или отвлеку.

— Могу и я, — сказал Лапченко.

— Нет, пусть Юргин, — отвел его кандидатуру Мокрусов. — Вы за пленными следите, чтобы в Дон не сиганули от страха.

Когда лодки отплыли, Юргину стало немного не по себе — дикий неудобный лес с колючей рогозной и черт ее знает какой живностью, впереди чуть не полкилометра воды, небо темнеет, как бы гроза не ударила, позади в

спину итальянские пулеметы смотрят. Потом внезапно вспомнил поговорку пожилого батальонного кузнеца, похожего на цыгана, — когда слышал, и значения не придавал, а теперь всплыла: «На войне оно так — про страх помнишь, дело забыл, про дело помнишь, страх забыл. Не вмещаются они сразу!»

Отошел немного от берега, выбрал затравеневшую ямку рядом с тропой, по которой, видимо, ходили патрули, решил — если появятся, даст длинной очередью почти в упор, в крайнем случае станет петлять по лесу, пусть попробуют поймать... Но ничего этого делать не пришлось, зато не заметил, как прошло время, услышал тихий окрик Крюкова:

— Юргин, давай!..

Мокрусов четыре дня лежал в медсанбате, а на пятый сбежал в батальон. Над ним пошучивали, очень уж чудное и необычное было ранение — впилась в горло пружина бойка от итальянской гранаты. Они, эти гранаты, маленькие, чуть не с детский кулак, в легкой алюминиевой оболочке, окрашены наподобие елочных игрушек в красные и оранжевые цвета. Оказывается, Крюков прихватил пару из любопытства — из них вышвырнули тол, сделали портсигары. У Юргина левую щеку пересекала наклейка из пластыря, потом красноватый шрам.

После возвращения он, Лапченко и Крюков получили увольнительные, ходили в кино в хутор Солонцовский, в ларьке военторга купили табак и папирос, угощали весь взвод. На пятый или шестой день приезжал комиссар батальона, собрал группу, сказал, что они сделали большое, очень важное дело и все представлены к награде медалями. Когда он собирался уезжать, Юргин попросил разрешения обратиться с личной просьбой.

— Валяй! — добродушно подмигнул ему комиссар. — Лишь бы спрос по запасу, а то птичьего молока не подвезли.

— Я прошу, чтобы мне оставили автомат, с которым я ходил за Дон. Если можно...

— Любовь с первого взгляда? — засмеялся комиссар. — Ладно, хоть пока их у нас, у саперов, кот наплакал, походатайствую перед командиром роты. А не уломаю, так утащу где-нибудь, пусть плохо не кладут! Настоящий солдат тот, кто дорожит двумя вещами — личной пушкой и крепкой ложкой. Воюй дальше, Юргин!..

«О боже, ты знаешь, как буду я занят сегодня!
И если я забуду тебя, то ты меня не забудь. Впе-
ред, солдаты!»

Старый английский генерал

«Двадцать четвертого августа противник атако-
вал в районе Серафимовича соединения 63-й и 21-й
армий. В ходе боев, продолжавшихся до тридцато-
го августа, советские части не только отразили на
этом участке атаки противника, но и сами пере-
шли в наступление. Форсировав Дон, они захвати-
ли весьма выгодный в оперативном отношении
плацдарм на правом берегу реки, который был ис-
пользован при переходе наших войск в контрна-
ступление... Активные действия северо-западнее
Сталинграда ослабили удары 6-й немецкой армии
и помешали ей захватить город. Она была вынуж-
дена повернуть значительные силы для обеспече-
ния своего фланга с севера и на несколько дней
отказаться от наступления на Сталинград».

«История Великой Отечественной войны»

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ ЗА ДОНОМ

Восемьдесят, сто, сто двадцать тысяч разноязыких
мужчин с волчьим аппетитом, здоровых, в расцвете
сил и совсем молодых, сидят по правой и левой
стороне Дона, от Вешенской до Серафимовича.
Видят во сне жен, детей, невест, любовниц. Стреляют.
Жгут по ночам ракеты. Зарываясь все глубже в
землю, копают, копают, копают,—кажется, все во-
круг пропахло потом и порохом. Дышать тяжело.
В октябре сорок первого года один московский
остроумец пошутил: «Вы знаете, что в этой войне самое
главное? Самое главное в этой войне — выжить!» Восемь-
десят, сто, сто двадцать тысяч разноязыких мужчин, здо-
ровых, в расцвете сил, с волчьим аппетитом, прикидывают
это на себя — вернусь целым? Калекой? Останусь тут, в
расклеванной снарядами и минами степи?

Мы, каждый к собственному удивлению, выжили на

Дону июль — месяц поражений и тревоги. Вышвырнув нас из Донской излучины, немцы сели на кручи правобережья и с подоблачных высот — по глазомеру нашей зависти — просматривали наш фронт на двадцать и тридцать километров в тыл, и мы у них, как выразался наш дивинженер, «ползали по ладони», и ходили, и ездили, и строили оборону только ночами, и зрение наше эволюционировало в ориентации на сов и кошек. И в душе у нас, как часовой на посту при особо важном объекте, днем и ночью торчал приказ: «...ценой жизни удерживать за собой левый берег р. Дон... Огонь ближе чем на сто метров не открывать. Врага надо бить в упор. Патронов и снарядов на это дело не жалеть... паникеров, трусов расстреливать на месте...»¹

Между тем июль догорел в дымных и пыльных закатах, и уже финиширует вторая неделя августа, и дни становятся короче, и похолодавшие ночи затягиваются к своему исходу сизым налетом, как черные сливы в поре полной зрелости. И Дон под рассвет парует, словно накладывает на самого себя бинты. И я, комбат саперного батальона, один из «выживших», лежу в лесу под станицей Еланской, и под боком у меня уже выносившая семя, заматеревшая трава, а в изголовье бруствер хода сообщения. Все это прикрыто плащ-палаткой — не утепления ради, а для сбережения брюк и гимнастерки, — и намерения у меня самые прозаические — поспать час, потому что, по всему судя, ближайшие двое суток такой возможности не сулят.

Я пытаюсь уснуть, а сон спину кажет. Недавно утонул за горизонтом молодой месяц — плыл весь день, полулежащий, как лодка носом на волне, и утонул, и листва ракит и осокорей осыпана тусклым звездным серебром, и там, где свет пробивается к земле, уже проблескивает роса — здесь, в низинном лесу, она садится раньше, чем в степи. Правда, лес сильно пощипан орудийным и минометным огнем, но главным образом ближе к Дону — сам не раз лежал там, уткнувшись носом в травку, а в воздухе кружил, присыпая спину, летний листопад...

Половина одиннадцатого. Не спится. Память тащит

¹ Выписки из приказов и допросов документальны, также действительны события и некоторые имена советских офицеров. (Прим. автора.)

воспоминания, как цепь из омута,— звено за звеном, сперва ближние, потом глубже. От последнего к первому... Сегодня перед закатом получили сигнал о «готовности номер один» к форсированию Дона. По телефону. Сунув после разговора теплую трубку связисту, пехотный комбат Андрей Шубников, с которым мы связаны одной веревочкой, возвестил:

— Ты давно, капитан, не плакался в чью-либо жилетку? По причине всяких там ошибок и несбывшихся надежд? А то могу воспрять слезу твою для облегчения души... Начинается!

— Насколько я помню, «воспрять» — это про новорожденных. А мои ошибки и надежды по большей части довоенные, старые.

— Зато к важной новости.

— Тоже не с иголки. К тому шло. И не все ли равно — днем раньше, днем позже?

— Не скажи! В таких случаях всегда кажется, что чем позже, тем лучше. Назад хочется сдать малость. Не приготовили бы итальянцы кое из кого спагетти.

— К тебе это, по-моему, не относится. Проповеди свои помнишь?

— Я уже сечен и печен, может, как-нибудь выкручусь. Но у нас новичков много. Воевала-то дивизия в последнее время через речку глазами... Я бы таким не водку выдавал, а по бутылке валерьянки. Чтобы нервы не дребезжали.

— Секретное оружие? Выдай своим.

— Наша батальонная медицина валерьянки не держит. У ротного санинструктора Саши Селезневой сумку смотрел — бинты, йод да флакон тройного мужского одеколona для личного пользования. И никаких пирамидонов.

— И водки не будет. Нету.

— Нету. Иначе бы уже знали.

Помолчал, потерял наплечный ремень.

— Знобит? В ожидании?

— Малость.

— Семья есть?

— Братья на войне, где и живы ли — не знаю. Не успели обменяться адресами. Отец и мать в селе оставались, что с ними, неизвестно — сейчас там немцы. Еще сын потерялся, пяти лет, Бюро адресов сообщает — све-

дений не имеется... Квартира в Смоленске осталась, с неделю назад ключ в Дон выбросил. Все личное имущество от прошлой жизни — фотоаппарат и четыре носовых платка.

— Гол и один?

— Вроде.

— А я всю жизнь один. Без родни. Сирота. В детдоме воспитывался. В четырнадцать лет буянистый приятель бежать на волю подбил, под вагонами попутешествовать. Старшеклассник Прошка Маслов, спасибо ему, отговорил, в музыкальный кружок втянул. Ну и дал я им жару — слуха никакого, а смычок по скрипке гонять понравилось! Потом усовестили, и я на философию перекаптался, решил серьезным мужчиной стать. От Анаксагора начал, а до Маркса не дошел по-настоящему, зеленоват был. И еще принцесса в стоптанных парусиновых туфлях, Нинка Мурашева с метизного завода, голову мыльным пузырем по ветру пустила... Жизнь есть жизнь!

— А смерть есть смерть?

— Не остри, капитан, сам знаю — язык у меня суховат. Вот старшее поколение — оно умеет. О гражданской войне один мне так рассказывал: «Ты у меня, говорю, не шипи, гад, я из тебя семь с половиной кусков сделаю и все по отдельным буграм разложу; ты мне душу на стол положи, чтоб я мог ее в руках помять и всю прощупать!» А мы — учебкой и газетами отнивелированы, словно одной машинкой подстрижены... Посидим еще над картой, прикинем — кому, куда и когда?..

К ночи в нашу общую землянку, как вернейший признак того, что «Держись, начинается!», набились полковой инженер, два комбата армейских инженерных батальонов, расположенных в тылу, за Терновским, офицер связи от соседей. «Не стая воронов слеталась!» — резюмировал Шубников. И в самом деле, «вороны» стали быстро входить в роль «руководства свыше», давать советы, которых у них никто не просил, и соваться в дела, которые их не касались... Особенно усердствовал один из инженерных комбатов, Радий Язов, с жиденьким белобрысым зачесом, с остреньким носом и бегающими, настырными голубыми глазами в чуть припухших веках. Не ум, а четвертая копия с наставлений по инжслужбе, раздражался, нервически дергал головой, обнажая в язвительной улыбке зубы — металлические вперемежку с собственны-

ми, в никотиновом налете. Даже Андрей Шубников, при его редкостном самообладании, не выдержал, одернул белобрысого:

— Нам — купаться, нам — разбираться. А вам мост строить, когда мы на том берегу будем. Тогда и являйте миру ваши таланты.

— Дело у нас общее, — огрызнулся Язов.

— Общее. Кто спорит? Один воз везет, а другой на возу подсолнух грызет. Один отвечает собственной головой, а другой — по моральной линии. А мне в данном случае на эту линию плевать с высоты сто двадцать восемь четыре, которую еще занимают итальянцы на том берегу... Дополнений не требуется?

Язов обидчиво хмыкнул, но фонтан прикрутил. А я подумал: и черт с тобой, так тебе и надо, приходишь на готовое — не лезь с перстом указующим. Сказалась старая распря: командиры прямого армейского подчинения смотрят на нас, линейников переднего края, свысока — что, мол, им там видно? С ладонь земли да кустик вдали... Мы им отвечаем тем же — от войны, как от луны, что понимают?.. Но Язов оказался не из тех, кто поддается моральному обузданию: отстав от Шубникова, прицепился ко мне — с теми соображениями, что вместо переправы на плотках надо бы соорудить штурмовые мостики на железных бочках из-под бензина: «От берега по течению само развернет — раз, скорость переброски людей — два...»

Придавила баба волка подолом! В инструкциях оно, конечно, все бежит, как нитка с катушки, — понтоны, резиновые лодки, рыбачьи лодки, комплекты штурмовых мостков. Молниеносное развертывание — противник переморгнуть не успевает — и вперед, вперед к победе! А у нас всего одна старая долбленка, на которой разведчики за «языками» ездят, и ничего больше, ни синь пороха. «Плавсредства». А штурмовые мостики я пробовал во время учений еще под Армавиром на Кубани — шесть раз заводили, шесть раз скручивало штопором. Протопали по ним три солдата, и то лишь до середины реки; на середине, как с дурного коня, сбросило в воду. «Рятуйте, тонем!» На малой тиховодной речке, тут и спору нет, хорошо. Дон, правда, тоже называют тихим. Но Тихим же называют и один из самых буйных океанов — это хорошо знают японцы по тайфунам и цунами.

Так-то, товарищ Радий Язов! Мостки на бочках через громаду и быстрину Дона — вроде аптечного пластыря на пробоину в океанском корабле. Да еще и кто их мне даст, бочки эти? Надобно штук восемьдесят, а каждая на учете, станция снабжения за сто с лишним километров, горючее не в чем возить. Сунься к снабженцам, попроси — они тебе покажут комбинацию из трех пальцев, пошлют куда надо и не надо...

Меня начинало мутить от теоретической касторки «воронов», вот почему я и ушел, попросив кликнуть, если понадобится. Лучше час поспать. Но сон не идет. А в землянке все еще толкучий рынок свежееиспеченных идей, и парус пламени на снарядной гильзе подпрыгивает, покачивается, плавает в табачном дыму. Папирос вечно не хватает, смолят зеленый донской самосад в какой попало бумаге, включая оберточную, и через полуприкрытую дверь выплескивается чад с запахом жженого копыта. И я жалею Андрея Шубникова — эти отоспались на клопидных перинах в тылу, а ему хоть бы передремнуть, с полуночи все начнет разгоняться, а куда заедет... Лучше и не думать!..

В эту упряжку бок о бок мы с ним стали в душный, с густыми и пряными воспарениями денек в конце июля. Началось с того, что мы с моим адъютантом выехали под Еланскую.

После трех недель сплошного солнцезжжения с вечера пал дождь — тихий, теплый, спорый. Ситник. И не было за всю ночь ни одного выстрела, и не пролетел, не потревожил гудом ни один немецкий самолет, не говоря о наших, которых не бывало и днем. Только капало в лесу: кап... кап... кап... Как в квартире вода из недовернутого крана. А к исходу третьего часа, прихватив нас в пути, как бы с земли в небо, начинал изливаться рассвет — у горизонта светилась только узкая яркая полоса, а поверху в три яруса, с широкими разрывами и размоинами, стояли уже истаивающие облака, отливая розовым, фиолетовым, зеленым. Внизу же все было влажно — песок на проселке, бурьян на обочине, низкорослые кустики, похожие на бабанов в репьях. И пахло подсолнухом и сеном. И моя рыжая донская лошадка в белых чулках и со звездой во лбу шла ровно и почти неслышно — песок после дождя был «глух», съедал звук. И я то и дело поглядывал на разгорающийся в облаках свет. И это дало повод моему

адъютанту, ехавшему рядом, заподозрить меня в отрешенности от земных дел в пользу небесных.

— Такой я себе представляю дорогу в рай,— ободряюще сказал он.— Не пылит, врата благостно озарены. Входи и располагайся.

— И крылышки за спину?

— По вещдоловствию положено.

— И нектар в солдатских кружках?

— И нектар.

— И как ты его себе представляешь?

— Зеленый... Под ликер «шартрез».

— Ну, а в ад?

— При чем — ад?

— На всякий случай. Вроде запасного выхода в кино. Если в рай, обмотавшись грехами, не пролезешь.

— В ад — это ночная переправа через Дон. С высот шпарят минометы, а внизу черная вода. Как смола, вот-вот закипит. Разведчики рассказывали. Но вы-то в небо поглядываете.

— Не в ожидании рая. Вторая рота может запоздать на марше, под Еланской снарядами слизнут. Там все пристреляно.

— Авось проскочат.

— Наш комиссар, помнится, запретил употреблять «авось» в военном смысле. Считает — из него кровь сочит.

— Извиняюсь... Русский характер действует. Среди дедов политработа была плохо поставлена, подкинули наследство. Сами — на покой, а мы разбирайся...

Воображение двадцатичетырехлетнего адъютанта моего явно погуливало без узды... И я догадывался почему. Уже месяц самым заурядным образом, как во все времена и племена, он был влюблен в молодую казачку Людмилу Азарову из хутора Лебяжинского. Жителей оттуда, поскольку хутор оказался на переднем крае, принудительно, вывозя по ночам на машинах с необходимым скарбом и харчем, эвакуировали... Не без брани и слез. Но добрая треть их снова и снова, бросая скарб на попечение земляков в тыловых станицах, по ночам же возвращалась, уже пешком, и в конце концов прочно «закрепилась» на родных подворьях. Обстрелов они не очень боялись, ныряли в погреба, а в то, что немцы перейдут Дон, не верили. «Дон да Волга не пустят долго!» Среди

возвратившихся была и Людмила с матерью. Деваха высшей кондиции, выставочный экземпляр — с влажными темными глазами, словно только что выкупала их в росе, статная, белозубо-улыбчатая, с ямочками на щеках и на локотках. «Мраморного Суворова искусит, — сокрушался и восхищался адъютант одновременно, — а там живые капитаны и лейтенанты».

Сам он, честно сказать, внешностью не блистал — тощеват, невыразительно черняв, мужественности в облике еще недобрал, но при всем том подтянут, с этакой летящей походочкой, а вдобавок умен и начитан. «Очи черные» пел — самоуглубленно, с надрывом. Так что по общему итогу дело с очевидностью клонилось в пользу его «серьезных намерений». Нашел время семейному счастью гнездо вить! Беспокойство же ему доставляло то, что за Людмилой, хотя и без видимого успеха, увивался артиллерийский лейтенант с батареи под Лебяжинским, да к тому же у батарейцев был и особый ключ к девичьим сердцам — баян. Пока напротив стояла 79-я немецкая дивизия генерала фон Шеверина, от баяна было мало пользы: через Дон все слышно, растяни два-три раза — начинают сыпаться мины. Похоже, немцы совершенно не выносили музыки, полагая, очевидно, что веселиться имеют право только они сами, а наше дело — плач и стелания.

Но вскоре они куда-то ушли, возможно, под Сталинград, и место их заняла итальянская дивизия «Челере» генерала Марциани в составе двух полков берсальеров, двух коннополков, одного артиллерийского и батальона чернорубашечников в тылу — «для устойчивости». Дивизия формировалась в Феррано, обучалась в Милане — все это мы узнали от «языков», — и артиллеристы наши решили, что итальянцы понимают в музыке больше, чем немцы, и рискнули попробовать свой баян в полный голос. Раз поиграли, два — ничего, поощрительное молчание. С тех пор недалеко от батареи, на опушке леса, стали под закат устраиваться танцульки, и сходилось туда до десятка казачек, и Людмила в том числе. И мой адъютант знал это, и даже вроде обижался на итальянцев за терпимость к музыке, поругивал их на свой манер — «макаронная супремo командo!». Теперь наша перепазировка под Еланскую открывала перед адъютантом перспективу почаще видеть Людмилу — по его расчетам.

Под звездами и артолетами, ублажившись концертом баяна, на сон грядущий итальянцы иногда начинали и свой, из крупнокалиберных дальнобойных. «Жали на ба-сы», как говорили артиллеристы.

Но адъютант не знал некоей другой стороны дела — иначе ему было бы не до легкости в мыслях. Как говорится, «назревали события». За два дня до того я был вызван в Еланскую к комдиву. Станица торчит на виду у противника, при хорошем зрении курица видна без бинокля, поэтому он приехал туда затемно, оставил машину под церковью, прущей в небо зеленой луковицей купола — огня по ней итальянцы почему-то не вели, — и обосновался в покинутом доме. Окна на Дон были в нем заколочены досками, открытым оставалось только одно, выходившее в степь, и потому было в доме сумрачно и душно и пахло пылью и мышами. С утра комдив принимал двух командиров полков, затем часа два просидел у него начальник артиллерии. Моя попытка узнать от выходивших причину несколько необычных аудиенций наскочила на вежливый отпор: «Так, текущие дела». Было уже часа два, когда меня разыскал шофер комдива, — я все же сморился, вздремнул в тени. За церковью, словно тоже в поисках защитного от обстрела места, висело желтое солнце. Желтой была песчаная улица, в желтизну отсвечивали крыши из чакана, степь словно плавала в топленом коровьем масле.

Кратко справившись о состоянии батальона, комдив предложил мне сыграть в шахматы, сказав, что до вечера отсюда никуда не поедет и делать все едино нечего. Пока мы сидели за деревянным в щелях столом, изощряясь в атаках и контратаках, по станице, поскольку наступил тому урочный час, начала лениво, словно разморенная жарой, вести беспокоящий огонь тяжелая артиллерия откуда-то из-за Ягодного — похожий на дальний гром одиночный выстрел, глухой разрыв в песке, короткое покачивание пола и стола, шестиминутная пауза. Реагировать на такую стрельбу, по фронтовой этике, никак не полагалось, и мы делали вид, что ничего и не происходит. Я выиграл первую и вторую партии — перед войной на областном турнире получил вторую категорию, младенцем в шахматах не был. Присутствующий тут же комиссар дивизии Сукновалов, невысокий, плотный, побритый до синевы, засмеялся:

— Если комбат по стратегическому мышлению превосходит комдива, что надо делать?

— А что?

— Поменять их местами.

— Долог день до вечера, — нерасполагающе к шутке отозвался комдив. — Давайте попьем чаю, а там посмотрим.

— Чай мастерства не прибавляет!

— Торопливость с выводами — тоже...

После чая, который принес шофер в немецком термосе, роли переменялись — теперь я проиграл три партии подряд. Комдив, сухопарый, высокий, седой, — он был комбригом на гражданской войне и все еще носил старое звание, — не без злорадства посмотрел на меня в упор светло-серыми, уже выцветающими глазами, безжалостно улыбнулся, сказал комиссару:

— Понятно? Спешись ты с перестановкой кадров, а оно и не получается! У капитана типично гитлеровская тактика и стратегия — прорыв в тыл, шум-гром, автоматная пальба с живота, паника. Многие попадают, я вот сначала тоже. Но в итоге таких бьют, что и доказано!..

Помолчал, походил от окна до печи, снова сел:

— Копать наблюдательные пункты и ложные позиции для артиллерии надоело?

— Надоело, — честно сказал я. — Замотали батальон, раздергали. Понукают все, кому не лень голос возвысить. Ваш начштаба, например, приказал на командном пункте под Волоховским забрать стены березняком, притом обязательно белым. Зачем?

— Что-то я никаких березок там не видел.

— Я отказался. Не входит в обязанности.

— Отказался, а счета сводишь, пользуясь тем, что и комиссар здесь. Навет подсовываешь... Здорово, видать, он тебя допек! Ну что ж, кончай березовые распри и послезавтра собирай свое хозяйство сюда, под Еланскую. Тренируйся по специальности — делай и опробуй в ерике плоты. Для пехоты человек на пять, для артиллерии — до трех тонн. Места тут благодатные — лес, вода, Дон рядом. По жаре чем не курорт!

— Неужели форсировать Дон будем? — спросил я.

Не полагалось, но спросил — уж очень неожиданно все получалось: недавно нас топили на вешенской пере-

праве, фронт у дивизии, правда, уже не пятьдесят, а около двадцати километров, уплотнили, а все равно решето, а не фронт. И вот тебе — на плоты!.. Но комдив только усмехнулся:

— Будь свидетелем, комиссар, говорил я о форсировании? И словом не обмолвился. И ни сном ни духом ни о чем таком понятия не имею. А он — из комбатов в Наполеоны!.. Я говорил — совершенствоваться по специальности... Ясно?

— Ясно, товарищ комбриг!

— То-то. Это уже ближе к делу. А разные соображения свои, если таковые без команды высказывать станут, клади под язык и соси, собственному здоровью на пользу... Дней через десяток приеду посмотреть, как плаваешь и ныряешь...

И я помалкивал. И когда меня спрашивали по поводу вызова, использовал опыт командиров полков: «Так, текущие дела». Но ни в какие педагогические мотивы — «тренировка по специальности» — не верил и поверить не мог. И полагал, что это моему адъютанту не только более частых, а и вообще никаких встреч с Людмилой не сулит — не до жиру, быть бы живу! Одного я не мог уразуметь — конечного смысла затеи. Решили поугагать, поводить за нос итальянцев? Но лес и ерики не просматриваются, ничего они не увидят. Всерьез? На авантюру смахивает. Переправляться через такую реку под огнем на самодельных плотках, которыми на течении и управлять почти невозможно, — кошмар. Ну а если и переправимся, ну, зайдем плацдарм — при условии, что бог поможет, своих-то сил маловато! — ну и что? Тем и дышим, что большой водой отгорожены. На плацдарме же дивизию за месяц перемелют. Чего ради? Игра в поддавки...

Адъютант осмотрел лес, выбирая места расположения для рот, и к вечеру уехал — хозяйство отдельного саперного батальона невелико, а все же штаб должен работать исправно, и мы переводили его в Солонцовский. А я отправился в расположение пехотного батальона, где и познакомился с Андреем Шубниковым. Русоволосый, высоколобый, глаза темно-серые, несколько отрешенные, глядит на тебя, а что видит — неизвестно; лицо малость удлиненное, кожа чистая, с легким румянцем через загар; фигурой плотноват, но движется легко. Крещен в одном бою под Орлом, ранен, лежал в госпитале, отту-

да — к нам. Землянка его метрах в тридцати от верхнего ерика, под огромным осокорем, — она же и командный пункт, — чистенькая землянка, прибранная, с отдельным тамбуром для телефониста. Меня он встретил радушно, разлил небогатый запас самогонки — по половине стакана... — спросил:

— Ты пока без сундуков и горшков? Штаб не перетаскиваешь?

— Пока нет.

— Тогда живи у меня. Мне видишь какую «новую канцелярию» по проекту адъютанта отгрохали?.. Неопытен, не понимает, что землянка чем меньше, тем и надежнее... — Встал, прошелся из угла в угол, остановился, теребя левой рукой наплечный ремень. — А я тут только ночую, и то не всегда.

— «Челере» допекает?

— Да нет, «Челере» смирная. К нам на берег не лезет, постреливает раза четыре в сутки по немецкому расписанию. А вот солдаты у меня еще не орлы, а подлетыши. Любому охотнику-мазиле добыча... Обтесываю по кустикам и ложбинкам, учу землю пузом гладить. И смех и грех, командую: «По-пластунски!» — а он на четвереньки, казенную часть солнцу кажет. Внушаю — береги, запасной старшина не выдаст... Война, брат, — это месяц будничной нуды на десять минут атаки. А я войну люблю настоящую!

Мне показалось, что комбат малость самоприукрашивается, слова о «настоящей войне» картинны и картонны. А мы что, в бирюльки играем? Я решил его поддразнить:

— Это ты всерьез — о любви к войне?

— Почему бы нет?

— Отвратная вещь. Разорение, кровь, трупы. Первобытное озверение. Закон когтя и клыка.

— Смотри ты — до чего умно! Начитался?

— Насмотрелся.

— А злость есть?

— Этого добра теперь у всех не занимать.

— До войны драться приходилось?

— Ни разу.

— И в молодых годах?

— И в молодых.

— А злость есть!

— Ну и что?

— А то, что не надо повизгивать. Не помогает. Пустяк злость на волю!

— Я в смысле этики и морали. В обобщении.

— Если обобщения противоречат фактам — дай им коленкой в соответствующее место. Дерись!

— Только и всего — клык против клыка?

— Вот именно.

— Назад к предкам?

Он начал «разогреваться» изнутри, раздражаться:

— Брось, капитан, по губам патоку размазывать! Я не люблю роли дурной бабы при пожаре. Чем попусту голосить — лучше воду носить. А люблю я настоящую войну потому, что я кадровый военный, профессионал. Свою же профессию, если ты настоящий человек, не любить нельзя. Чему меня, тратя народные деньги, учили?

— Оборонять страну, защищать.

— Армию воспитывать на психологии защиты и обороны — все равно что набивать патроны ватой. Меня учили колоть штыком, резать кинжалом, стрелять, швырять гранату. Убивать и убивать! Какая у нас на Дону задача?

— Удерживать левый берег.

— Убивать. Без этого не удержишь. И немцы сами в Берлин не побегут.

— Между прочим, ты коммунист?

— Между прочим, если сегодня днем не исключили — да. Но, кажется, не за что.

— А от языка твоего пахнет каким-то ницшеанством. Получается так, что злость на волю, а морали плевков в лицо! «По ту сторону добра и зла». А Горький говорил: «Если враг не сдается...» Понимаешь? ЕСЛИ... И без этого «если», без этого морального рубежа — ни подлинно человека, ни гуманиста, ни коммуниста.

— Ницшеанства не изучал, читал бегом какую-то книжку. Что-то о белокурой бестии?

— О ней самой.

— Андрей Шубников серой масти — белокурая бестия? Смешно!.. Нет, это мне не подходит. И как человек я все понимаю — и опасения за упадок морали, которую война никогда не улучшала, и всякие «если»... Но как профессионал, да еще в наших донских условиях, не имею права расслаблять мускулы. Говорят, когда композиторы или там писатели творят, они все на свете забы-

вают, даже еду и сон. Вот бы и нам так держать! — Поставляя, прислушиваясь к содроганию почвы — били тяжелые минометы, — вздохнул: — И коммунисты должны уметь убивать, если... Вот тут — «если»... Иначе не будет ни коммунистов, ни коммунизма... Сожрут. Не будет... И не случайно, когда роту огнем прижмут и нет никаких сил, чтобы подняться, клич бросаем: «Коммунисты, вперед!» Не цветочки собирать... — И в заключение, после паузы: — У каждого коммуниста свой Зимний в жизни... Мой тут, на Дону... Временников итальянских к черту вышвыривать... А жив буду — и Гитлера из Берлина...

Его вызвали к телефону. Вернувшись, сказал:

— Сдаю территорию четвертой и пятой рот соседу. Ужимают. Тесно становится, что ли, войск некуда девать? Ты не знаешь, в чем дело?

— Не знаю.

— Все одно к лучшему.

— Не знаю... Но пока ты выходил, у меня еще один вопросик назрел. Вот скажи, профессионал, мы на вас в мирное время работали, кормили, поили, одевали, обували. А как до дела дошло, вы и нас втянули. Штатских. Пороху у самих не хватило?

— Как бы это тебе объяснить...

— Попроще.

Теперь, по-моему, он посмеивался надо мной.

— Совсем просто — трудно. Военное мышление у тебя в зачаточном состоянии... Армия в мирное время — это твердосплавный каркас, на который в необходимых случаях монтируется все огромное сооружение. В самые сжатые сроки. И воюют сейчас не армии, а нации, одержимые взаимоисключающими целями... Дальше жуй сам... И держись не за эфир и зефир, а за землю. В прямом и переносном смысле...

«Эге-ге, — подумал я, — набито в тебе всякого, полна коробочка. А что ты такое на деле — придется присмотреться». До этого я слышал о Шубникове разное — одни говорили, что умен и толковый командир, другие — что позер и служака, батальон загонял попусту. Сухарь. В разговоре тяжел. Сейчас он на меня тоже произвел двойственное впечатление. В обычной жизни мы как-то само собой полагали, что философствовать положено штатским, даже если они подлинной философией и не нюхали, пробавляются домашним варевом, а дело воен-

ных — «ать, два, горе не беда!». Шубников сразу ломал это представление, был чином невысок, да в чине на свой манер. Всего намешано — и укропа и перца. И в этом надо было разобраться. Воевать рядом хорошо с человеком, когда его знаешь даже со стороны слабостей, — чтобы не надевать хомута на вола и ярма на рысака. Мы и в мирной-то жизни часто не приходили к намеченной цели только потому, что с попутчиками нашими порой были как глухой со слепым. И я не прочь был продолжить наш разговор, но Шубников сослался на дела и на два дня пропал.

На третий день Шубников, возвращаясь в штаб, долго смотрел, как мои саперы барахтаются в ерике, опробуя плот — самодельную комбинацию из жердей и сухих казачьих плетней, выданных на базах в Еланской. Смотрел, покуривая, без особого интереса, как скучающий прохожий на ребячью игру. Молча. А когда стало заходить солнце и по лесу, все больше наливаясь коричневым, поползла тень, предложил мне прогуляться, объяснив это так: «Война святцев не знает, без выходных шпарим. Числа помним, поскольку для приказов нужны, а названия дней позабыли... Вот и передохнем». Повел укрытой тропинкой на берег реки. Дон тоже густо поси-нел под тенью, а круча напротив еще полыхала светом — белым по меловому обрыву, красноватым на круглой макушке с выгорающей травой. Присели под разлапистым дубовым кустиком. Шубников предупредил вполголоса:

— Тут нас не видно, мы тенью накрыты, а им солнце в глаза... Проверено. Но говорить надо тихо, по воде далеко слышать. На слух могут сыпануть...

— Мы же не митинговать сошлись?

— Именно... Хочу доверительно спросить, как комбат комбата, — для чего ты ерик мутишь? Какую рыбу ловишь?

— Говорил уже.

— Тренировка, значит?

— Тренировка.

— А не лучше бы в дивизионном тылу? Где ни снарядов, ни бомбежек?

— Приближенность к боевым условиям. Согласно приказу.

— Ладно, ври дальше... В таком случае поговорим на

отвлеченные темы... Я вот на что хочу обратить твое внимание — место здесь для переправы вроде того самого... у Харона на Стиксе. Подход укрытый, из леса — тут рупь в наш карман; но тот берег ни к черту — в воде камень наверняка осклизлый, по своей реке знаю. Выбираться — хоть на четвереньках... А потом лезть — пешком в облака. Итальянцы будут смотреть на нас, как петух с плетня на гусеницу... Думай. Прوماхнемся — не вернемся. Ты ведь тоже коммунист?

— Кандидат.

— Вот и думай.

— Это при условии, что всерьез форсировать.

— Я так и понимаю — «при условии»... Лучше бы вон там, повыше, под центром Еланской. На том берегу сразу в лесок, а там я пан, куда угодно могу ударить — налево во фланг высоты, в глубину. Инициатива — у меня, у них — кофейная гуща для гадания. Кроме того, в лесу итальянцы и вояки плохие. Вобьюсь, как гвоздь!

— А наш берег там песчаный и голый. Ни плоты поднести, ни сосредоточиться. Обнаружат раньше времени — до воды не дойдешь.

— Это верно. Эх, брод бы! С ходу...

— Брод на Дону?

— Я тоже думаю, — какой тут брод? К сожалению... Пароходы ходили. Но — мечтается вот.

— А с каких это пор переправа тебе спать не дает?

— С тех пор, как ты плоты стал делать.

— Сказано — учеба. И у меня и у тебя.

— Ну да... И мы на учебной рекогносцировке. Но я сказал — люблю воевать по-настоящему. А к тому же видел, как некоторые Кузьмы Крючковы в атаку водят... слышал о таком герое первой мировой? На лубках изображали, с одной сабелькой чуть не дивизию в плен брал... И у нас есть — поднимает батальон, воротники настезь, под пулеметы в рост... Трава под кошу! Между прочим, в такой атаке и меня опрокинуло; еще наивноват был, бежал, воображал, «ура» орал, и вдруг навстречу — как вода из брандспойта, и сразу синее небо в звездах... Это я уже к ночи на траве возле медсанбатовской палатки очухался. А две трети батальона во главе с комбатом — «и прими мя, господи, во царствии твоём». На войне один день опыта пяти учебников стоит, да жаль — цена шкуродерская. А еще учиться нам, учиться!..

Возвращались при двойном свете поздней зари и первых звезд. Сели перекурить среди осоколей — на берегу нельзя было. Над головой шумела, пристраиваясь на ночлег, какая-то птица — лес обстреливают, а она живет. Как те казачки в Лебяжинском. Я спросил Шубникова — вот он переправой озабочен, а какой в ней смысл? Истолкуют на плацдарме полк или два — и только. Зима придет — мосты наведет.

— Может, и перетрут, — согласился он. — А до зимы что? Народные харчи проедать? Погляди на карту — немцы главными силами в Сталинград вцепились, даже авиацию от нас почти убрали. Итальянцев к нам посадили, как деда на бахчу — караул, попугивай... И вот наши там, на Волге, кровью умываются, а мы тут, на Дону, семечки лузгаем по окопам да итальянцев петь «Катюшу» учим. И выходит — не может так продолжаться, обязаны мы немцам во фланг вцепиться, кровососную банку к боку приставить. Чего бы ни стоило! Да и о своем будущем надо подумать — кончив там, Гитлер и нам зубы выбьет... Ты, между прочим, по военной теории что-либо читал?

— Я читал главным образом эстетику и теорию литературы.

Он засмеялся — при очевидной суровости и прямолинейности характера смех у него был грудной, располагающий, — сказал:

— Рыцарь с голубым бантиком на латах... Здесь это тебе пригодится разве что в медсанбате, сестричкам головы кружить. Они у нас тонкие материи любят — и натуральные и словесные... Военная же теория — вроде очков от близорукости, тактическое помогает со стратегическим увязывать. Вот Лев Толстой, на мой взгляд, механизма войны до конца не понял, считал, что, когда события развернулись, они уже не во власти командира. Сами текут...

— Не трогал бы ты хоть Толстого. Он единственный такой стратег человеческого в человеке и народного в народе.

— Ладно, не буду. Пожалуй, это действительно дэбри, в которых мой компас наврать может.

— Вот и хорошо. Только с какой ты стати ломаешь голову, пытаясь решать задачи Ставки? Сказано — каж-

дый солдат должен знать свой маневр. Свой, а не чужой!

— А я и не решаю. Я завтрашний день на себя примеряю. Моя жизнь — моя забота. Вехи намечаю... Ты комбата Заварзина знаешь?

— Видел мельком.

— Черт... Гусар... Живет и воюет — лишь бы день до вечера. Сказано — сделано. Не больше того. Казачку увидит — выправку дает, чуть не парадный шаг печатает, глазами ест. Сердцеედствует на всякий случай. Пьет — как за ворот льет, и только веселее становится... Мыслями же не обременен... Иногда я завидую ему и злюсь на себя за попытки угадать — что к вечеру, что завтра? Достались дурню хлопоты — стелить соломку туда, куда упасть собираешься... А вдруг не туда?

— Ну и не стели.

— Не могу. Привычка. Да ведь не о себе же только и речь, в глаза людям с утра до вечера глядишь...

Я рассказал Шубникову о московском остряке с его генеральной установкой: «Главное — выжить». Он опять рассмеялся.

— Силен, дьявол!.. Но нам-то еще и воевать надо. Не хочешь, а пляши... А он батальон свой рано или поздно погубит. Не восемьсот двенадцатый год, а девятьсот сорок второй.

— Кто погубит?

— Заварзин... Гусар...

Вечером после ужина Шубников уснул сразу, будто в омут прыгнул. А я все ворочался, словно в кожу клещ въелся. Может быть на Дону брод или нет? Теоретически химера... Ну, а если? И мы его прохлопаем? Даже холодом подуло, когда представил себе всех без необходимости убитых и утонувших. Солдаты — что они могут сами для себя сделать? Приказано сидеть в окопах — сидят, приказано лезть в прорвы Дона — полезут. Надо, — значит, надо, а если зря? И — лишние, без необходимости, мертвецы, и лишние вдовы и сироты? Они до конца жизни на совести нерадивого командира. И что из того, что никто не узнает, что можно сунуть совести пряник утешительности — приказали, мол, делать плоты, я и делаю? Служба по уставу... или по-заварзински?..

Не надевая плащ-палатки, чтобы не шуметь, я встал

и вышел. Связной в тамбуре дремал, приладив трубку к уху. В лесу было прохладно и росно. На Дону все, от Вешенской до Серафимовича, спало, только на противоположном берегу изредка, как падающая звезда, чертила небо осветительная ракета. Подумав, я решил отыскать командира взвода Ивана Казакова — не потому, что ему по субординации было положено выполнять такие поручения, а потому, что, живой, веселый, оборотистый, он, как говорили в батальоне, мог достать снегу летом и взять у самого черта взаймы без отдачи. Нашел я его в глубине леса, где неподалеку от уже остывшей кухни, главной солдатской мамы, спала в щелях рота. Выслушав меня — спросонья не сразу понял, пришлось повторить, — он только спросил:

— Сейчас узнавать или до утра отложить?

— Если бы до утра, так я и сам спал бы.

— Иду.

— Интересно — куда?

— А в Еланскую. Тут две семьи живут. Скрыто.

— Это под каждодневным обстрелом?

— Ничего им не делается... Главное — дед один есть, хитрюга, себе на уме... У него и самогонку достать можно, и берет по-божески... Бутылку придется прихватить, иначе его язык не раскатаешь...

В пятом часу утра Казаков, вызвав меня и спросив, что делать с самогонкой — мне отдать или себе оставить? — докладывал: брода под Еланской вроде нет, пешком никто не ходил. Но притом вроде и есть, глубина, в общем, небольшая, среднему солдату по шею, только на фарватере снимает с головой, а фарватер — метров от шести до десяти. Не меряли. Одно плохо — течение быстрое, валит с ног.

— Не пройти?

— Не пройти.

— Плохо. Ты представляешь, как плохо?

— Канаты бы затянуть.

— Канаты?

— Дед говорит, что он рыбу ловил таким манером — перетаскивает канатик и шмыгает вдоль него на лодке. На веслах переезжать туда-сюда у него сил маловато. А канат на середине уйдет под воду, брунчит там на течении, рыба снизу вверх идти боится, около толчется...

— Да ну ее к черту, твою рыбу! Канат где?

— Каната нету. Года два назад рыбнадзор отобрал. Да он и канат тощенький, деда с душегубкой держал, а повисни на нем рота на течении — в клочья...

И закрутили мне эти воображаемые канаты голову. Канаты... канаты... Я натыкался на корневища в лесу, а виделись канаты... спугнул с берега ерика ужа — он зашипел и полез в воду, — а я подумал о канате. Уезжая днем на совещание в штадив, я переговорил с моим заместителем Юрием Кондратюком, неунывающим старшим лейтенантом с бакенбардами а-ля Пушкин. Смотрел он при всех случаях, в том числе получая приказ, прямо в глаза, стараясь быть на уставной высоте, а в лице, в уголках губ все время чудилась ирония. Так и казалось, что выслушает и ляпнет панибратски: «Да бросьте вы, ей-богу, чего ради нам играть в полководцы, свои люди». Но при всем том он никогда не задавал лишних вопросов и приказы выполнял быстро и аккуратно. Узнав о казаковском хождении к деду-самогонщику, Кондратюк сказал:

— Брод беру на себя. В две ночи будут все промеры. Канатов не гарантирую...

Канаты... канаты... Будьте вы прокляты — где вас взять? Когда я завел об этом разговор с заместителем командира дивизии по тылу, тот даже удивился: «Машина застрянет, и то нечем на буксир взять, а тебе чуть не полверсты... Идеализм разводишь!» При чем тут был идеализм, я так и не понял, но это значения не имело. Адьютант предположил, что, быть может, канаты есть в Базках, там и машин наших много побито, но близок локоть, да не укусишь. Того и не хватало, чтобы итальянцы одолжили нам канаты для форсирования Дона! Когда я рассказал обо всем Андрею Шубникову, тот при известии о промерах реки оживился, а при сообщении о канатах помрачнел:

— Нос вытащил — хвост увяз... У Петра Первого было больше переправочных средств. Мы где-то на уровне «Слова о полку Игореве», когда на конских хвостах реки форсировали... Ищи, капитан, ищи! Мы тебе силами батальона памятник соорудим в Еланской... Из самана!

— И на том спасибо.

— Спасибо потом... Учти — я получил приказ потихоньку выявить в своем батальоне, кто плавать не умеет. Если ты полагаешь, что эти сведения нужны для запол-

нения анкеты при вступлении в профсоюз, твое личное дело...

Шила в мешке не утаишь, о канатах стали поговаривать в ротах. Кто-то даже распустил слух, что тот, кто достанет канаты, будет представлен к награде. Стали поступать прожекты — поискать по хуторам, съездить в Ново-Аннинскую. Но однажды ко мне в землянку напросился рядовой Антон Прибылко. Это был забавный солдат — говорил он на смеси русского с украинским, любил охоту на зайцев, за что уже сидел сутки на хлебе с водой — рубанул по косому из трофейного автомата, переполошив полковой штаб, — но пуще всего стрельбу по самолетам. Он палил по ним, на какой бы высоте они ни появлялись, палил, лежа лицом кверху, даже во время бомбежки и пулеметного обстрела. Объяснял: «Хай знает чертяка, що я на него начхать хотел. А мабуть, и собью — вот смеху будет!» И как ни странно, это пристрастие, на первый взгляд смешное и бесполезное, вносило изрядное успокоение в роту: лежат хлопцы, страшновато, осколки шипят и комья земли по спинам барабанят, но притом и любопытствуют, косят глазами: «Гляди, Антон Прибылко зенитку изображает!» Сейчас, обдернув на пороге гимнастерку и лишь после этого откозыряв, Антон Прибылко попросил разрешения «обратиться».

— Что, самолет сбил?

— Ни...

— С зайцами канитель устроил?

— Ни... не полювал.

— А что же?

— Чув я, що вы трос шукаете, товарищ капитан. А его немае.

— Немае.

— А трос — он ё!

— Где?

— Ё, товарищ капитан. На стовбах висит.

— На каких столбах?

— Электричество и телефон бачили? То он и ё. Снять и скрутить.

Для меня в такой ситуации это было больше, чем для кого-то открытие Америки... И вот же, скажи ты, все ходили и видели провода на столбах, и никому в голову ничего путного не пришло. А Прибылко додумался. И эмоционально я вполне созрел для того, чтобы вклеить

поощрительный поцелуй в его лукавую физиономию. Но так как подобная чувствительность в такой обстановке была бы не лишена наивного юмора, я отдал ему три пачки папирос и две — моршанской махорки. Он и взял, нисколько не смущаясь и не отнекиваясь, но, когда уже повернулся, чтобы уходить, у меня появились сомнения — удастся ли скрутить? Слишком длинен. Прибылко усмехнулся одними глазами:

— Та не журитесь, товарищ капитан, снимемо и скруtimo. Був бы приказ. Солдат из топора щипарив, а скрутить — это що!

— А тебе, случаем, не доводилось?

— Ни, не требовалось... А из минных осколков суп робив.

— Это как же?

— Та обыкновенно, товарищ капитан... Обедали мы тут, а те макаронники минами почали швыряться. Ну, они на деревьях рвутся, мне осколок в котелок и заскочив. Небольшенький такой осколок, тильки брызгнув... Так раз уж в руки вскочило, чего ему пропадать? Выхлебал я суп и к повару — гляди, говорю, мне враг осколками обед споганив. Муссолиной пахнет. Добавь чуть побольше, чем в перший раз. А он пореготав и налив...

Вот таким образом, со скрипом, нервотрепкой и анекдотическими происшествиями, складывался второй вариант переправы. Но ни дивинженеру, ни тем более комдиву я об этом и словом не обмолвился. Нельзя. Страшно. Уцепятся, поддавшись преждевременной иллюзии, внесут в оперативный план, распишут прибытие рот к «часу икс». А где гарантия того, что нам удастся затянуть канат? Течение быстрое, на том берегу итальянцы... Выскочат роты на голый песчаный свей, а переправы нет — толкотня, суматоха, накроют огнем — убитые, паника, провал... Нет, нельзя и нельзя... Маниловщина... И в плане переправы все оставалось по-старому — плоты. Часть их выносятся через лес, часть, наиболее тяжелые, выводятся через устье ерика. Тут пан или пропал, но по уставу, по приказу...

Четыре дня назад игра в конспирацию кончилась — сказано, что Дон будем форсировать. Комдив на проверку плотов не приезжал, был дивинженер, нашел, что все в порядке. Перед закатом сегодня получили приказ на «готовность номер один». Но мы с Шубниковым все спла-

нировали до этого: его шестая рота форсирует на малых плотках с задачей уцепиться за берег и сбить пулеметный огонь противника, за ней последует четвертая на тяжелых плотках из устья ерика. Пятую выведем на брод и перебросим по канатам, если... Если итальянцы проспят... Если Дон позволит и Кондратюку удастся затянуть канаты. Он уже там, на месте. Но раньше часа ночи начинать нельзя — до двенадцати по берегу, согласно разведанным, топчутся итальянские патрули, да после полуночи и потемнее будет... Надо бы туда самому, но приказано КП не покидать. К тому же будет потеряна связь со второй ротой, которая дежурит у плотов — спит, наверное, ликвидирует задолженность и рассчитывает на аванс, ничего о дне грядущем не ведая...

В такой толкотне воспоминаний и всяческих соображений я и лежу неподалеку от землянки — под боком трава, в изголовье бруствер, в небе звезды, обрызгавшие серебром листву раки и тополей. Дверь землянки зевает во всю ширину, выходит Андрей Шубников.

— Радикулит добываешь, капитан? Повремени малость. На Дону прихватишь — доктора будут относиться с большим уважением. Пошли ко мне.

— Там у тебя цыганский табор. Пока петух закукарекает, тоска душу съест.

— А я сейчас всех турну. Иди, иди, звонил твой дивинженер, к тебе едет. Начальство положено встречать стоя, а не лежа, в белом подворотничке и готовности ринуться в огонь и в воду...

Но дивинженер Доломанов, опытный кадровик, участвовавший во многих боях в сорок первом, ритуальности особого значения не придает, при попытке тянуться по уставу басит: «Ладно, ты ближе к делу... И получается у тебя плохо, все вижу, как штатский военного за руку хватает!» Приезжает он около двенадцати, намекает, что с удовольствием чего-либо поел бы, так как успел только позавтракать, интересуется нашей готовностью, спрашивает:

— Страшно?

— И непонятно.

— Например?

— Свою задачу знаем, больше ничего. А конь в шорах боязливо идет...

— Свою и выполняй. Кстати, у вас офицер связи от соседей есть?

— Есть.

— Что говорит?

— Ничего. Больше спрашивает.

— Хороший офицер связи, знает дело. Да вы носов не вешайте, недолго ждать осталось. Артподготовка начнется — все ясно станет. На слух. И учтите, итальянцы нас больше боятся, чем мы их. Я вот их секретный приказик по дивизии «Равенна» в разведотделе переписал, интересно о нас толкуют: «Русский солдат, если им хорошо руководят, — обратите внимание, если хорошо руководят! — превосходный боец, прекрасно маскируется, знает оружие, особенно тяжелые минометы, сохраняет силу в ближнем бою». Чувствуете? А если солдат боится противника — это уже половина солдата.

— На чем и строится наше двойное численное превосходство? — усмехается Щубников.

— Может, поспим пару часиков? — игнорируя шубниковский зондаж, предлагает Доломанов. — На войне сон да еда — в пользу всегда.

— У нас не получается, — говорю я.

— Нервы... Учтите — невыспавшийся солдат тоже половина солдата. Я пойду в первом эшелоне, а вы догоняйте...

Он и в самом деле засыпает. Но ненадолго. Через тридцать минут передают «час» — пять ноль-ноль. Еще через двадцать минут звонит начальник штаба полка, зовет меня к телефону:

— Слушай, сапер, ты мины снял?

— Где?

— На берегу. На месте переправы. Подход к Дону закрыт минными полями, понимаешь?

— Не понимаю.

— В лесу. Напротив кручи.

— Мы не минировали.

— Да не вы, а наши полковые саперы минировали. Какая разница! Подорвется рота — отвечать будешь.

— Это ты будешь отвечать, майор. Военному трибуналу. Я мин не ставил, карточек минирования не имею, они у вас в штабе. О чем с вечера думали?

— Не твое дело...

Начальника штаба полка я знал с Армавира. И не

очень понимал, почему он начальник штаба — индюк с генеральским басом. На тактических тренировках при быстрой смене задач заплетал плетни от Кубани до Казани. Я его не любил за высокомерие с подчиненными и всеми, кто ниже по званию, он отвечал мне полной взаимностью — не знаю за что. Упоминание о трибунале несколько сбило с него спесь, он еще попытался «давить», но уже мягче:

— За переправу ты ведь отвечаешь, сапер? Это факт.

— Но не за твои минные поля.

Трехсекундная пауза. Тремя тонами ниже:

— Ладно, признаю — недоработали... Но ты уж выручи. Люди-то чем виноваты?..

— На слезу жмешь?..

— А карточки минирования я сейчас пошлю...

Положение создается трагикомичное — минировали берег в опасении форсирования Дона итальянцами, а теперь — «твоим добром да тебе же челом». Выслушав мои разъяснения, дивинженер ругается:

— Начинается пожар в публичном доме!.. Учат нас немцы, учат, а все отвечаем на двойку... Бери взвод с миноискателями, иди.

— Мины там смешанные, металлические с деревянными. От миноискателей толку мало.

— Другого выхода нет. Иди.

— А мне как быть? — спрашивает Шубников.

— Ты выполняй свою задачу.

— Через минное поле?

— Там видно будет...

— Пойдем вместе, капитан, — говорит Шубников. — Если не получу донесения, придется начинать с устья ерика. Надо хоть ротных предупредить.

Тишина, тишина. Звезды мерцают как будто все так же, но в лесу темнеет. Слышно, как под берегом жужжит в лозовых кустиках вода, как в устье ерика всплескивается крупная рыба. Бедная рыба, утром, когда артиллерия ударит по плотам, плыть ей кверху брюхом. На высоте, смутной тенью вписанной в темно-серый небосвод, просматривают первые сны итальянцы, и видятся им, наверное, полыхающие бирюзой средиземноморские небеса, и жаркий ветер в оливковых рощах, и ослики с вязанками хвороста вдоль белесых дорог. И многие не подозревают, что видят все это в последний раз — даже во

сне. Немцев наши солдаты ненавидят. Люто. И пока побиваются. Над итальянцами добродушно посмеиваются. Объясняешь: «Для нас все равно, враг есть враг». Смущение: «Оно конечно, товарищ капитан, тут уж что, против фактов не попишешь. А все-таки итальянцы». Когда захватывают «языка», кормят в ротной кухне, пытаются объясняться, главным образом с помощью жестов. Хохот, потеха. И «язык» доверчиво скалит белые зубы в улыбке, частит, частит словами. И на допросе в штабе выкладывает все, как на исповеди у самого папы римского...

И на рассвете их, уже научившихся мурлыкать «Катюшу» и «Стеньку Разина», придется убивать. Шубников прав. Война есть война.

Запахавшись, прибегает инженер полка, он минное поле знает примерно — «должно быть, тут». Осторожно, словно в двадцати сантиметрах бездна, — да оно, в сущности, так и есть, — начинаем нащупывать поле, извлекаем первые четыре мины. Дальше легче, шахматная доска — белое, черное. В это время верхом на коне, с пилоткой, засунутой за ремень, — при скачке по лесу потерять можно, старшина душу перезудит, — прибывает связной с карточками. Теперь все еще проще. Меня вызывает дивинженер. Хмуро сосет папиросу, спрашивает:

— Почему я не знаю, что есть брод?

— Брода нет.

— А чем занят Кондратюк?

— Пытается организовать переправу по канатам.

— Докладывай...

Выслушав:

— Самовольничаешь, капитан.

Подумав:

— Хотя, быть может, я на твоём месте поступил бы так же.

Снова звонит начальник штаба полка, спрашивает, — голос с молоком и медом, — как мины? Утешаю — ничего, выковыривают понемногу. Закончив, некоторое время слушаю — в трубке перепалка телефонистов:

— «Дон», «Дон»!

— Я «Дон»...

— Дайте «Енисей».

— Даю...

— Это «Енисей»?

— Да-а...

- Что «да»?
- Да, говорю, слушаю.
- Кто слушает?
- Да «Енисей» же...
- Что вы дакаете, отвечать не научились? Не с барышней, не дакайте...
- Бросьте нотации, надоело.
- А вы отвечайте как следует... «Днепр», не мешай...
- Я «Днепр», нужен Четырнадцатый...
- Не мешай, говорю.
- Я уже сто раз слышу «не мешай», а мне Четырнадцатый нужен...
- «Енисей», передайте Тридцать восьмому — движение прекратить, ждать распоряжений.
- «Кама», «Кама», почему не отвечаете?
- Как не отвечаю? Я здесь...
- Где здесь? Полчаса звоню. Плохо работаете.
- Хорошо работаем.
- Ладно, потом разберемся! А сейчас — дежурного на линию.
- Не могу.
- Что значит — не могу?
- Я тут один...
- Передайте: немедленно обеспечить нитку Восемнадцатому на новой квартире.

Зуммеры, трески, невнятица голосов, неразбериха приказов, цифирь, эзоповский язык. Очевидно, в ночь сменились позывные — вчера еще были «дубы», «сирени», «акации». И сейчас еще только привыкают. А я представляю — передвигаются по пескам роты, батальоны, полки, тащатся минометы, меняют место батареи. В расчете на внезапность. И все это в тишине, в безмолвии — разговаривать запрещено, курить тоже. Только дышать и потеть не возбраняется.

Четыре часа ночи. От Кондратюка никаких известий. Вторая рота совместно с пехотой подвигает к берегу Дона плоты. Андрей Шубников ушел туда же минут сорок назад. Четыре двадцать. Сажа ночи начинает очень медленно превращаться в пепел. Мы с дивинженером, не дождавшись донесения с брода, собираемся тоже во вторую саперную роту, но на стыке ериков натыкаемся на пятую пехотную, которую ее командир бегом ведет в район шестой, к переправе на плотях. Останавливаю:

- В чем дело?
- Саперы подвели.
- Как подвели?
- Ничего там нету.
- А саперы?
- И саперов нету...
- Быть не может!
- Значит, может...

Я не различаю лица командира роты, но хорошо помню и так — накануне мы с ним уже крепко объяснялись. Вид у него всегда унылый, словно у больного печенью, любит хныкать и критиковать. А может, и в самом деле болен — на войне в таких тонкостях разбираться некогда. Я в полной растерянности. Что саперов нет под Еланской, не верю, но роту своей властью завернуть не могу. Командир пошлет меня куда следует и будет прав. Ему надо переправляться, и он старается выполнить задачу. А что же брод и канаты? Слава богу, не хвастался, молчал... Вот бы влип!..

В это время появляется запыхавшийся Кондратюк. Я почти кричу:

- Почему не доложили о срыве переправы?
- Мы ее не срывали.
- Что это значит?

— То и значит, товарищ капитан. Прекрасный брод, затянуты два каната.

- А почему командир пятой говорит, что ничего нет?
- Это его надо спросить...

Немая сцена, финал «Ревизора». На счастье, появляется адъютант Андрея Шубникова, с двух слов уловив суть дела, командует комроты-5:

- За старшим лейтенантом... бегом.
- Рота, кру...

Дивинженер берет меня за руку:

— Я на телефон, а ты туда. Долго не задерживайся: если дело пойдет — придется, может быть, кое-что менять в планах... Ни пуха ни пера!

- К черту...

Крупной рысью, повыше вскидывая ноги, чтобы не запахать носом, догоняю пехотную роту. Четыре сорок. Рота лежит на голом песке, щелей здесь для нее не откопано. Меркнут звезды, словно их прикрывают серой подкладочной ватой. Жужжит вода в Дону. То ли плачет, то

ли остерегает. Два каната уходят в воду метрах в десяти один от другого. Начинает светать.

— Если нас здесь заметят — перебьют, — беспокоится адъютант Шубникова.

— Так начинайте.

— Время не вышло. Артподготовка не начиналась.

— Тем лучше, итальянцы еще спят...

— Нарушение приказа.

— Сорвете переправу, погубите роту — хуже будет.

Адъютант, чуть поколебавшись, отдает приказ начинать. Солдаты один за другим нанизываются на канат, как темные бусы на нитку. Один из солдат падает на песок метрах в пяти от воды, быстро бормочет: «Не могу, не могу, не могу». Спрашиваю у командира роты:

— Псих?

— Не замечалось.

Адъютант рывком ставит солдата на ноги, толкает к воде, но тот падает снова, кричит: «Бра-атцы, пожалейте!» То ли на крик, то ли потому, что заметили, слева, со склона, по переправе дает длинную очередь пулемет. Метрах в десяти от берега с приглушенным матюком срывается с каната солдат, исчезает под водой, но тут же, пошатываясь и загребая руками, появляется вновь. Саперы помогают ему выбраться на берег — легкая рана в руку. Короткое замешательство на другом конце каната, тоже кого-то ранило, но все быстро успокаивается, и движение продолжается. Командир роты пилоткой зажимает рот орущему трусу, просит:

— Пристрелите же!.. Роту погубит...

— Без истерик! — вмешивается Кондратюк. — Обычный шок, сейчас отойдет. Воды!

Кто-то приносит воду в пилотке, выливает на бледное лицо с помутившимися глазами. Солдат вздрагивает и замолкает, потом, нащупав рукой винтовку и опираясь на нее, поднимается, пошатываясь, присоединяется к взводу. Проходит пять или семь минут, вся пятая рота беззвучно, без единого выстрела исчезает в лесу на противоположной стороне. Смотришь и глазам не очень веришь — словно не люди, а в самом деле тени на Стиксе. И это — форсирование Дона? Так легко и просто? О чем же там думали итальянцы?.. Пишу записку Андрею Шубникову, чтобы он плюнул на возню с плотами и выводил роты на брод, пока есть время. Связой бежит прямо

вдоль берега, ныряет в молодой раkitник. До Шубникова метров двести пятьдесят, но придется переплыть ерик, если туда уже не сбились плоты. И в это время откуда-то с низовий Дона, от устья Хопра, а может быть, и от Серафимовича зарождается и, нарастая, словно гора громоздится на гору, приближается к нам, катится низкий, содрогающий землю гул.

Пять ноль-ноль.

Гул даже издалека напоминает не грозу и тем более не орудийную стрельбу, а землетрясение, когда в трещины проваливаются целые населенные пункты, или тайфун, при котором по воздуху летают дома и камни. Берег под ногами вздрагивает и «плавает», у закрайки воды выскрывают мелкие волны. Так длится три или четыре секунды, затем, будто трещит и обломками падает на голову небо, возникает рев и грохот вокруг нас — это через наши головы ударили батареи в нашем лесу, в балках за Еланской, у Лебяжинского, тяжелая из-под Солонцовского. Воздух над головами воеет, шипит, скрежещет до колотья в ушах, отдельные выстрелы и залпы неразличимы. И хотя знаешь, что бьют свои, чувство самосохранения побуждает пасть на землю, вжаться в нее, чтобы не зацепило, не раздавило, не расплющило. Откуда здесь столько артиллерии? Как любит выражаться Кондратюк, «высшему японскому командованию о данном инциденте ничего не известно». А у скольких сейчас комбатов, таких, как я, замирает сердце на переправах и сколько таких, как Шубников, готовится лезть в пекло? Что там у них, как? Неизвестно. Огонь, огонь, огонь!..

Над меловой кручей за Доном, на которую так не хотелось карабкаться Андрею Шубникову, вырастает красный лес, выкидывает кроны конусом вниз, но вскоре все затягивается пылью и дымом. Так продолжается минут десять. Теперь становится ясно — Дон форсируется на большом участке, многими дивизиями, возможно, в полосе всей армии. А мы на самом крайнем фланге, и наши с Шубниковым хлопоты, если сравнить их с масштабами всей операции, не более суеты одного муравья в муравейнике. Хотя, впрочем, от такого сознания нам не легче.

— Солнце всходит,— говорит Кондратюк.

— Закат бы увидеть,— отзывается адъютант Шубникова.

Проводив глазами переправившуюся пятую роту, он уходит на КП. У нас пусто и тихо. Мы с Кондратюком закуриваем. Спрашиваю — как это удалось ему справиться с канатами?

— Сам не понимаю... Когда заводили первый, шесть раз выкидывало обратно. У хлопцев руки в крови, глаза на лоб лезут, губы посинели. А Дон не дается... Я для видимости бодрюсь, у самого же душа уже не в пятки ушла, а в каблуки, в песок вытекает.

Жадно затянувшись, уточняет:

— Когда появилась пятая рота, мы еще пузыри пустили, ничего не было готово. Потому и не окликнули. Видели, как топтались они у берега, чуть пониже, но не окликнули. А потом, когда готово было, они уже ушли, и я кинулся вдогонку... Второй, нижний канат без меня заводили, тут дважды два — по первому... Не понимаю — итальянцы в Рим укатили, что ли?

Помолчал, послушал орудийный гул, добавил:

— И все равно боялся... Ворот нет, натянуть нечем, на той стороне за ракиты вязали. Ну, канат при такой длине провисает на фарватере метра на полтора, а то и на два. Когда рота пошла, у меня в зобу дыханье сперло — вот, думаю, сейчас начнут нырять с головой. И тут — прощай, девки, прощай, мать, мне в чужбине куковать... ни тебе вперед, ни тебе назад. Да если к тому хорошего огоньку кинуть... На тиховодье так бы оно и было, а тут быстрое течение вызволило — с людьми канат по горизонтали выгибает, кверху выносит...

Артподготовка продолжается, но как будто — или ухо притерпелось? — немного слабее. Можно подумать, что на высоте над кручей ничего живого уже не осталось — ни травки, ни былки, не говоря о людях, — но вот там один за другим начали оживать пулеметы, покотился автоматный горох. На реку под кручей с кряканьем пошли мины, вода закипела. И сразу, перекрывая грохот и треск, всплеснулись над водой леденящие душу крики: «А... а... а!» Слов не разобрать, только это стнящее, смертное, от которого хочется зажать уши: «А... а... а!»

— Шубникова топят, сволочи! — сокрушается Кондратюк.

— Не успел связной.

— Или убит...

И тут появляется Андрей Шубников с четвертой ротой.

В расчлененных порядках, вырвавшись из ракетника, рота с ремительно катится к переправе, словно идет в атаку. Солдаты по горло мокры, Шубников тоже. Глаза озверелые.

— Работают? — кивает он на канаты.

— Работают. Записку получил?

— Нет... Сам видел переправу пятой. Махнул к вам прямо через ерик, обходить некогда.

— Как шестая?

Отдав команду на переправу, Шубников свирепо ругается:

— Плохо. Как мешком накрыли... Половина на дне, вторая под обрывом лежит. За обрыв носа не сунуть, пулеметами сдувает... Так я пошел...

Помахав прощально рукой, он втискивается в группу солдат, лезет в воду. Вероятно, итальянцы все же заметили передвижение роты, из дыма на высоте подают голос минометы, мины рвутся сперва по берегу левее переправы, затем чуть ближе, уже в воде, потом на фарватере... Один из солдат без крика разжимает руки и сразу исчезает под водой. Второй. Третьего успевают подхватить, тащат, ободряя и матерясь, на противоположный берег. Быстро-быстро перебирая руками, в Дон бросается санитарная сестра Саша Селезнева — над водой только пилотка с ободком пшеничных волос и плывущая за спиной сумка с красным крестом. За Доном слева, на склоне высоты, плавно стекающей в лесок, слышится пригашенное расстоянием «ура», но тут же смолкает. Видимо, пятая атаковала итальянцев во фланг, но пока не очень успешно. А дорога каждая минута: не собьешь сразу, подтянут итальянцы резервы — и пиши пропало, нанижут на кинжальный огонь, как шашлык на шампур.

Прибыл связной — дивинженер срочно вызывает на КП. Снова бегом около четверти километра. По пескам. Больно бьет по бедру пистолет, приходится придерживать рукой. Мы носим пистолеты на правой стороне, немцы — на левой. Кажется, у них удобнее, не приходится выворачивать руку. А там черт ее знает...

— Ну? — спрашивает Доломанов.

Я еще хватаю воздух, как рыба, выброшенная бомбежкой на берег, пот застилает глаза, плохо вижу.

— Две роты на том берегу. Шубников тоже.

— Потери?

— Двое убитых, до пяти раненых.

— Звони комдиву. Ждет личного донесения.

Выслушав краткий доклад, комдив несколько секунд размышляет. В ухо мне, как шмель, гудит зуммер, смутно доносится чья-то невнятная скороговорка. Неважная у нас связь. Один говорит, двадцать слушают. И Шубников ушел без радики, только сигнальные ракеты. И у нас переправа — такая, через Дон! — без телефона... Снова говорит комдив. Фразы скупы, сухи, но, кажется, доволен:

— Будешь переправлять первый и третий из хозяйства Калганникова. Следующим — хозяйство Затонова целиком. Подумай о представлении отличившихся к наградам. Вопросы есть?

— Прошу выделить артиллерийское прикрытие. Итальянцы достают переправу минометами.

— Учтем...

Снова на переправу. Там — пусто: два батальона из полка Калганникова еще где-то в пути, полк Затонова тоже. Появляется шестерка самолетов, очевидно по специальному вызову. Негусто... Самолеты в недоумении делают круг над переправой, словно принюхиваются, — канатов в воде они не видят, река пуста, и немецкие летчики, наверное, ругаются: «Опять напутали эти макароники, вызвали на пустое место».

Нас, саперов, горстка по песчаным щелям, но и это все-таки реальная цель. И на нас они сваливают весь свой груз. Шесть бомбардировщиков. Убит Хлудников, убит Марченко, убит Колесников. Тяжело ранен Дубовной, легко — худенький большеглазый Юдович, сыропеченый, неповоротливый Лисинский. У Лисинского осколок попал в жирный подбородок, чуть повыше кадыка, но пробил только кожу. Осколок вытащили, горло забинтовали, ходит в ошейнике. Легкораненые остаются с нами, их утешают: «Теперь не убьет, два раза в одно место не попадает!»

Отхаркиваемся и отплеываемся — песок на зубах, в ушах, в ноздрях, за воротниками. Наш батальонный кузнец, высокий, цыганистого вида уже немолодой солдат, от которого обычно за день не услышишь и десяти слов, тащит на загорбке обыкновенное тележное колесо. Следом за ним Антон Прибылко, пыхтя, несет противотанковое ружье и патроны. Это наша собственная, уже испробованная возле кузницы «зенитная артиллерия»: копаются

круглая, в рост человека, щель, в центре, как на столе, устанавливается на вертикальной оси колеса, на обод колеса крепится противотанковое ружье. Вращающийся упор, круговой обстрел. Ни одного самолета не сбили, но в трудную минуту утешает. На переправах положено зенитное прикрытие, но наша переправа «дикая», в плане она не предусматривалась, вот и приходится изворачиваться — и швец, и жнец, и на дуде игрец. Когда минут через тридцать появляется еще тройка самолетов над серединой Дона — нас не трогают, направляются к соседям, — кузнец стреляет, а Прибылко оценивает результат:

— Ключув носом, стерво!

Отчего он «ключув», неизвестно, да и клюнул ли — тоже вопрос, но моральное удовлетворение получено. И это для нервов разрядка.

Артподготовка кончилась. Сбитая первым же залпом по всему Дону роса высохла даже в глубокой тени. В степи начинает стеклянно мерцать нагретый воздух — солнце печет, печет, — а по высотам за Доном ползет сизый чад, как после пала по жнивью. Орудия и минометы наши бьют реже, но прицельно, в первую очередь по гребню, чтобы дать возможность застрявшим под кручами вырваться на высоту. Гребень кручи выкидывает фонтаны земли, вниз текут лавины меловой крошки. В глубине леса на той стороне, на фланге высоты, далеко за пятой ротой, которая все еще лежит, наскоро окопавшись на половине склона, возникает ожесточенная пулеметно-автоматная трескотня, перемещается выше, к гребню высоты, в степь. Доносится «ура!» — слабое, как звон пролетевшей пчелы.

Минута, еще минута. И вдруг на высоте все смолкает. Взвивается зеленая ракета, минометы выключаются, артиллерия переносит огонь куда-то в глубину. Еще минут через шесть на гребне высоты над Доном — в бинокль его хорошо видно — появляется наш солдат. Гимнастерка на нем изодрана в клочья, серыми пятнами проступает на фоне зеленого нательная рубаха. Солдат словно приплясывает, помахивая куском трофейной плащ-палатки, надетым на штык. Эффектнее был бы красный флаг, да где его взять? Чем богаты, тем и рады. Главное, это значит — высота взята.

Подходят к переправе первый и третий батальоны

калганниковского полка. Видимо, комбаты гнали их на аллюре три креста — гимнастерки солдат на спинах мокры от шеи до ремня, пот проступает под мышками и под коленками на брюках. Одновременно с другой стороны, из леса, к Дону вываливаются пленные итальянцы, человек пятьдесят. По верхнему канату пропускаем на ту сторону калганниковские батальоны, по нижнему на нашу сторону — пленных. Сопровождают их всего два солдата с автоматами — один ведущий, второй замыкающий. На середине реки оживление нечаянной встречи:

— Привет, Италия!

— Муссолини капут!

— Это вам не Абиссиния...

— Еще по канату... Самоплавом пускай! Притопали на Дон — пусть учатся плавать!..

— Рота, прекратить болтовню! Темп давай...

Кондратюк при помощи скудного своего словесного запаса и разговорника, с пятого на десятое, спрашивает щуплого сержанта, мокрого и напуганного:

— Имя?

— Марко Блазетти.

— Часть?

— Батальон «Вестоне», дивизия «Челере».

— Как дела?

— Наш батальон уничтожен... Сильно била артиллерия... Остатки сдались в плен... Там у вас командир — красный дьявол...

— Что значит — красный?

— Советский... Ворвался в окоп, голова перевязанная... Мне по шее пистолетом тук-тук...

Полностью картина выясняется позже, при допросе в разведотделе дивизии. Лейтенант Джилли покажет: «Мы не верили, что русские форсируют Дон. Мы считали, что это несерьезно — такая река... Получилось очень неожиданно. Батальоны «Вестоне» и «Верроне» понесли большие потери от артогня... Мы имеем славную боевую историю, сражались в горных районах Франции и Албании, но нигде не терпели такого позора. Но плацдарм вы не удержите, у нас здесь дивизии «Сфорцеско», «Равенна», «Пассубио»...

Однако все это будет чуть позже. А сейчас мы отправляем пленных в штаб дивизии — при тех же двух конвоях. Не разбежались за Доном — здесь не разбегутся

и подавно. А у нас солдат и так мало. Итальянцы лениво плетутся по песку, ко всему равнодушные и покорные. Некоторые, быть может, даже и довольны — лучше быть живым в плену, чем мертвым там, на задонских высотах... Мы же, посоветовавшись с Кондратюком, решаем вызвать Самородова с трактором — единственным колесным трактором в нашем батальоне, да и то приبلудным, переправившимся через Дон спустя три дня после того, как правый берег заняли немцы. Трактор должен подвести из Еланской с десятков ржавых железных бочек, а также доски и бревна для парома: может быть, к вечеру, если не подбросят армейские понтоны — да еще и есть ли они! — придется переправлять легкую артиллерию и минометы. Там, за Доном, тяжело...

О Шубникове ничего достоверно не известно.

По канатам уходит полк Затонова. Теперь уже наша переправа работает как часы. Правда, откуда-то из глубины все время ведет огонь тяжелая итальянская артиллерия, но у нее «выбиты глаза» — наблюдательных пунктов на высоте не осталось. И артиллеристы напрасно вводят Муссолини в расходы — снаряды падают с перелетом через Дон и левее, корчуют молодой раkitник. Солнце-пек, монотонность обстрела, переливчатый блеск и однообразное журчание донской воды вгоняют в сон. В закрытых глазах плавает красноватая с желтыми искорками темнота — свет пробивает веки, — голова оловянно тяжелеет, клонится, клонится, в сознание медленно, убаюкивающе затекает песня вполголоса — «Реве та стогне Днипр широкий, сердитый витер завива». Это поет при «зенитке» Антон Прибылко. При таком состоянии и марш буденновцев сойдет за колыбельную...

Но сна не будет, придется перепланировать на «час икс». Снова связной, вызывают на КП. Там ждет меня начштаба соседней дивизии и приказ: принять и переправить два их полка. Она форсировала напротив Матвеевского, и не очень удачно, немного лучше нашей шестой роты. Теперь плоты, что и были, все на той стороне, возвращать их — адская работа, сбивает течением. Да и кто их будет перегонять? Полк, который переправился, ведет тяжелый бой, каждый человек на счету... Коренастый, раздобревший на сидячей жизни начальник штаба дивизи-

зи обещает — что полковнику капитан! — обещает мне снисходительно, как ребенку:

— Завалю трофеями. Какими угодно.

— Например?

— Ну, авторучки, плащ-палатки.

— У меня есть свои.

— Шоколад миланский... Вещь!

— А я не ем шоколада.

— Мотоцикл с коляской.

— Лошадей дайте.

— Трофейных? Пожалуйста. Сколько?

— Своих. Сейчас. Или трактор.

— Зачем тебе? Возьмем трофейных...

— Материал подвезти. На второй паром. И настил для дороги. В песке тонем.

— Не могу... Да и при чем тут паром? Напротив Матвеевского уже мост строят.

— Пока солнце взойдет, роса очи...

— Нет, не могу. Все занято.

— А если и я «не могу»?

— Врешь, капитан. Придется. Приказ. Дан — выполняй.

Вру. Пытался приторговать, попытка не пытка, не вышло — кончай базар. Договариваемся о графике и на том расстаемся. Тут же, едва закончив с полковником, узнаю: в мое распоряжение, не знаю по чьим приказам, поступили два начальника инженерных служб полка, армейский саперный батальон, инжбат. Сработало чье-то воображение. Переправа на войне — страшное место, громят ее всем, чем могут достать, а ни рассредоточиться, ни укрыться, ни сдачи дать. Уже на подходе у офицеров и солдат легкий озноб на душе. А поскольку у нас батальоны и полки — с купанием, правда, — уходят за Дон, как по конвейеру, при неправдоподобно мизерных потерях — подбегай и валяй настолько быстро, насколько успеваешь руками перебирать, — то кому-то и представилась она во всем, по наставлениям, богатстве технической оснащенности и защиты.

Это при двух-то голых канатах, при голом песке! И «зенитке» на тележном колесе. И все еще без телефона — запаса нет, все распределено, а кто в такую пору отдаст свой?.. По чести сказать, мне и самому все это кажется не более чем курьезом. И при таком положении я

решительно не знаю, как распорядиться всеми этими «сводными братьями», тем более что и своя вторая рота уже сидит без дела. Отправляю их Кондратиюку, а тот ругается и гонит прочь: «Сам справлюсь, они мне только авиацию накличут!» Спрашиваю у Долманова — что делать?

— Тебе прислали, ты и думай. Я не просил...

Соломоново решение:

— Ждите распоряжений...

А командиры «сводных братьев» тому и рады, отводят подразделения в лес, сами толкутся возле КП, уши торчком в ожидании новостей. Поскольку же новостей нет, пробавляются анекдотами:

— Приезжает майор после ранения на побывку к молодой жене, ложится спать, а под кроватью кто-то ворочается и вздыхает. «Кто там?» — спрашивает майор. «Это я, Трезор».

— Старо.

— Борода от Еланской до Клетской...

— Приезжает Муссолини к Гитлеру. На осле. Привязывает его к ограде, заходит. Начинается разговор, а осел орет и орет. «Эй,— кричит Гитлер своему адъютанту,— попросите Геббельса прервать свою пропагандистскую речь, мы с дуче друг друга не слышим».

— Ста...

— Не завираться! Сам только нынче придумал, первый раз рассказываю.

— Сразу и видно, что самодельный.

— А по-твоему, анекдоты кто выдумывает?

— Да уж не ты. По выправке видно.

Перемена темы. Полковой инженер, лет под сорок, сидящий, с серьезными серыми глазами:

— Нынче веселитесь — завтра прослезитесь.

— С чего бы это?

— С того... К вечеру пехота окапываться начнет, в ночь нам на той стороне пузом степь греть: «Минируй... минируй... минируй». У фрица на мушке, как вошь на макушке! Кругом-то голо.

— Не у фрица, а у итальянца.

— Тем более.

— Что «тем более»?

— Ничего. Один черт.

— Не скажи. Фриц психованный, всю ночь раке-

ты жжет. А итальянцы экономят, через час по чайной ложке.

— С тебя и одной хватит.

— Ну, там видно будет. Сейчас бы к чьей кухне при-
свататься, третий день на сухомятке. Живот к подбородку,
приворачивает...

Вызываю начальника снабжения Шивейского и стар-
шину второй роты Солодова — должны были привезти
мины и взрывчатку. Привезли? Шивейский — толстый,
добродушный, по специальности огородник. Еще во вре-
мя формирования под Армавиром просил: «Вы меня на
производство овощей поставьте, завалю даровым вита-
мином». Солодов коренаст, черняв, в хозяйственных де-
лах изворотлив, как уж, солдат любит «тянуть в ниточку».
Докладывает Шивейский:

— Противопехотных мин сто шестьдесят. И колоко-
силин.

— Это что?

— Взрывчатка какая-то новая. Командир роты Бори-
сов инструкцию изучает...

Старшина Солодов сообщает, что собрали сто три-
дцать две каски и противогаза на месте сосредоточения
шестой и четвертой пехотных рот. Солдаты побросали.
В рассуждении того, что газов не будет, а форсировать
Дон с каской — что с камнем на шее.

— Ну и что? — спрашиваю.

— На складе лежат.

— Ну и что?

— Как прикажете — что дальше делать?

— Возвратить пехоте.

— Они бросают, а мы возвращай.

— А чего бы вы хотели?

— Обмен.

— Не понимаю.

— На трофеи... Шубниковский батальон первым к
итальянцам ворвался, нахапаются... А за каски и проти-
вогазы их все равно прижмут, казенное имущество... Вот
и пускай выкупят!..

Кто это сказал — от трагедии до комедии один шаг?
Не помню. И не знаю — то ли смеяться, то ли ругаться.
Приказываю о подобранном имуществе сообщить в ба-
тальон, вернуть по первому требованию безвозмезд-
но. Уверен — Шивейский так и сделал бы, но старшина

Солодов обязательно постарается что-либо сорвать, хотя бы какую-нибудь ни на что не годную дрянь, лишь бы видимость сделки. Характер. Гони натуру в дверь, а она в окно...

К шести часам вечера пулеметно-автоматная трескотня за Доном удаляется настолько, что едва слышно. Редко бьет артиллерия, выдохлась — и с той и с этой стороны. Полк Затонова ударил из леса вправо, расширил плацдарм до высот за Рубежинским, но глубина плацдарма с гулькин нос, от пятисот до трехсот метров. Усидят? Нет? Позади Дон, переправочных средств там никаких, пятиться некуда. Прижмут — становись спина к спине, как гладиаторы Спартака на арене в Риме, отбивайся до последнего...

Прибыл связной из четвертой роты. Исцарапанный, мокрый, давясь от жадности холодным супом, рассказывает:

— В лес вскочили, а комбат одно — бягом, бягом, дальше, дальше... чтобы, значит, с затылка их защемить... А там ямины, сучья, жарница — вода ли, пот ли в сапогах чавкает... Ну уж приканчивается он, лесок, бугры видать, а мы тут — налево, на высоту... «Бягом, бягом...» А чего — бягом? У самого мыло шмотьями с чуба валится, дышим — хрр, хрр... Италияшки прошляпили, доверху нам шагов сто осталось, а тут и спохватились, ка-ак сыпанут пулеметами и автоматами, мать честна!.. Как пчела роит... Ну, мы носами в землю... Взводные орут: «Вперед, вперед!» А чего — вперед, когда не подняться?.. И так один кувырк, другой, третий... А уж кто и глазом назад косит, рачий ход дает, аж гимнастерка до пупа задирается... Ну, тут комбат противотанковую гранату у ординарца хватает, ка-ак сиганет!.. Перекат налево, перекат направо — ух, давал жизни!.. Пулеметчиков трах гранатой, сам к пулемету — пошло... Ну, тут и другие тоже... Только пуля комбату лоб посекала, забинтованный ходит... Злой-презлой, матюками обкладывает... Которые левее итальянцы, к Дону ближе, сдаваться стали...

— А пятая рота? Шестая?

— Все пришли, которые живы.

— Ну?

— Так вместе мы еще километра полтора — бягом, бягом... А потом макаронники в контратаки пошли...

У наших патронов ищи свищи, все вылетели, так мы трофейными пулеметами и автоматами, там хвата-ает!..

— А Шубников что?

— Да что? Командует, как положено.

— Убитых много?

— Да есть убитые... И раненые... А сколько — вечером считать, сейчас — когда тут, бой все время...

В сумерках по нижнему канату на кое-как сбитом пароме переправляем минометы и противотанковые пушки. По верхнему форсирует последний батальон соседней дивизии. Командир роты просит заодно «перекинуть» на пароме и ротную кухню, но ему советуют:

— Валяй по канату. Солдаты у тебя в обороне отъелись, справятся...

— Дохлое дело... Опыта нет.

— Ну, задрай крышку и гони самоходом, — советует Кондратюк. — Как понтон.

— Нет уж, лучше по канату...

На середине канат чем-то защемило. Двух солдат, малость оплошавших, сорвало. Истошные вопли:

— Восьмая, спасай кухню!

— Тонем!..

Кухня, рассуждаем мы, — черт с ней. Не пушка. В крайнем случае трофейной заменят. Но если кухня сойдет с верхнего каната, то ударом с ходу может сорвать и нижний. А там как раз двигается паром с четырьмя минометами и пушкой. А командир роты стоит на песочке, попыхивает папиросой, подает советы. Как на ученье. Подхожу к нему:

— В воду!

— Что?

— В воду... Наведите порядок.

— Это вы наводите.

— Ваша рота, ваша кухня!

— Без меня обойдутся.

— В воду!

— А я вам не подчиняюсь...

Стоящий рядом Кондратюк белеет от бешенства, углы рта подергиваются. Дозрел за день, нервы не держат. Медленно-медленно, не сводя глаз с командира роты, достает пистолет, направляет дуло в живот:

— Я начальник переправы. При счете «три» стреляю. В воду! Раз...

Глаза у командира роты округляются. Но — молчит. Амбиция.

— Два...

Видимо, понял, что не шутка, счета «три» ждать не стоит... Минуты через четыре кухня движется дальше под радостные возгласы и соленые прибаутки тех, кто уже на том берегу. Командир роты тоже не возвращается — не к чему, да и нельзя, по канату уходят остатки роты. Увижу я его когда-нибудь? Вряд ли. А если и увижу, то не узнаю, всего и знакомства — три минуты при чуть красноватом свете сгоревшего дня. Спрашиваю Кондрачука:

— Выстрелил бы?

— Не знаю. У меня руки трясло... Бывают такие минуты, что свой дурак опаснее врага.

— Обедали?

— Да. Кого еще там переправлять? Посылайте.

— Как будто пока все. Спал давно?

— Полтора часа позапрошлой ночью.

— Пришлю смену. А вы все на отдых.

— Людей смените, а мне разрешите остаться. Мало ли что... Я тут в щели передремлю...

Постепенно Дон начинает затихать. В небе сползает к горизонту молодой месяц, чуть пополнившийся, будто за сутки его откормили в доме отдыха. Но сегодня он малость дымчат, словно облился кислым молоком. И сумерки не приносят освежения, роса не садится, из степи протягивает теплый ветер. И у самого горизонта, в сторону Терновского, плещут зарницы, будто кто-то в далекой дороге чиркает спички, пытаясь прикурить, а все не получается. В ерике одиноко, наводя тоску, канючит лягушка, и это напоминает мне брянскую весну, май, западающий разлив, из-под которого лезет молодая с цыплячьей желтизной трава, густо засеянная звездами лютиков. И в прогретых заводях к вечеру, уже при низком солнце, начинают орать лягушки — тысячи и тысячи, — и вся округа от земли до неба постепенно заполняется их влюбленным стоном.

Вернусь я туда когда-нибудь? Сомнительно. Впереди Северный Донец, Днепр, Буг, Висла, Шпрее. Километры воды. А везет не всегда — ну, раз, ну, два... Невеселые идут мысли. Дон форсировали, — Дон, черт возьми! — наступаем, плацдарм какой захватили! А мысли невесе-

лые. Наверное, от усталости: ноги как ватные, руку не поднять на уровень плеча... Наскоро поужинав и выпив кружку чаю — покрепче бы чего-либо, зря не взял у Казакова бутылку самогонки, — сажусь составлять список представляемых к награждению. Надо. Потом — привыкнем, пока — в новинку, даже в пальцах тревожное подергивание. Кто что заслужил? Кого — к чему? Но список приходится отложить, связной приносит донесение из штаба: «При бомбежке Солонцовского в 16.24 погиб адъютант Крахмальников. Жду распоряжений. Помпомат Зарубин». Спрашиваю связного — что, как?

— Налетели, товарищ капитан, как ветер, на брющем. И было-то всего три самолета. Старший лейтенант у окна сидел, писал... Ну, осколок в голову. В штабе окна выбило, остальное в порядке.

— Когда хоронить?

— Похоронили уже... Из штадива приказали вас с переправы не звать — некогда, мол...

Вот и нет моего адъютанта. И попрощаться, в могилу ком земли бросить не пришлось. И он так и не увидел казачки Людмилы Азаровой из Лебяжинского... Показываю донесение дивинженеру. Морщится, вздыхает:

— Чем утешать? Нечем. Сами под тем ходим.

Сворачивает самокрутку — папиросы кончились. Прикурив, задует спичку:

— Тут угадай, где старуха прищучит. Я за тебя на переправе тревожился, а он — в тылу... Отдавай-ка приказ переводить штаб сюда, на КП Шубникова. Они в ночь уходят за Дон всем хозяйством... Правь и володей...

В начале второго — КП уже очищен, только телефон оставили, я один, заканчиваю последние дела дня — прибегает посыльный от Кондратюка, сообщает — только что переправили комбата Шубникова, сейчас будут везти на подводе. Другой дороги, как мимо ериков наизволок, в ста метрах от землянки, с переправы нет, и я иду туда. Месяц давно ушел, звезды заплывают мутью еще больше, — не к дождю ли? — свет зыбкий, призрачный, потусторонний. За Доном время от времени чертят небо осветительные ракеты, и мне вспоминается седой полковой инженер — «минируй... минируй... минируй...». Наверное, минируют, к вечеру от меня всех отозвали...

Вскоре появляется подвода — серая, с натужным

прихрапыванием лошадь, впряженная в обыкновенную казацкую телегу. Присвечиваю фонариком с почти выработанной батареей. На свежей, с горьковатым запахом траве лежит навзничь прикрытый трофейной итальянской шинелью Андрей Шубников — его собственную забрали при эвакуации КП, но, наверное, не довели. Видна только повязанная голова, но повязка затекла кровью и пропиталась пылью, потемнела. А лицо побледнело, резко выделяется.

— Здравствуй, комбат!

— Кто это? Ты, капитан?

— Я.

— Дай закурить... Своих нет, перешел на итальянские... С непривычки тошнит.

Вкладываю в рот папиросу. При близком свете спички вижу измученные, запавшие, но спокойные глаза. Словно постаревшие.

— Что приглядываешься? Не похож?

— Нет, ничего.

— На текущий ремонт становлюсь... Дней на двенадцать, наверное... При последней контратаке, под закат уже, возле поясицы укусило... Но кость цела...

— А голова?

— Пустяки, только ломит очень.

— Читал анафемы прущим на пулемет, а сам?

— Наболтали уже?

— Итальянцы тебя «красным дьяволом» назвали.

— Именно меня?

— Именно тебя.

— У страха глаза велики.

— А все же?

— Выхода не было, капитан. Никакого... Секунды решали. Вот-вот могли сбросить с высоты в лес, а второй раз не подняться бы... И еще пятая левее прилипла, как муха на пластырь, и остатки шестой под обрывом — ни тпру ни ну... Одно и оставалось — используя лесок, из глубины в тыл на полном ходу ударить. Итальянцы, оказываются, боятся окружения... И в такие минуты, если ты человек, не о себе думаешь... А ранило не ко времени.

— Ранят всегда не ко времени.

— Я не о том... Завтра итальянцы подкинут резервы, станут нас назад пихать...

— Тебе, наверное, говорить трудно.

— Да нет... перевязка хорошо сидит, Саша Селезнева постаралась... Только меня везут, а я засыпаю.

— Ну, счастливо добираться и лечиться.

— А вам, саперам, за канаты спасибо. Многие бы на дне лежали. Я там приказал адъютанту трофейного вина вам ящик подкинуть... Только, по-моему, дрянь. Язык что-то чувствует, голова — нет... Не привезли еще?

— Нет.

— Привезут... А ты выберешь минутку — в медсанбат загляни. Побалакаем, а?

Понукаемая солдатом, серая лошадка с трудом вытягивает на песчаный взлобок, и вскоре подвода с Шубниковым скрывается в сумеречной, без единого огонька улице Еланской. Только узкой полоской мерцает при свете зарниц крест над церковью, — зарниц, вспыхивающих в степи, в сторону Терновского, словно кто-то чиркает спички, пытаюсь прикурить, а не получается. Все то же, что и вчера, вокруг кроме этих зарниц, — а может, и они были, только я их не видел из леса, — все то же вокруг, и прошли всего одни сутки, а мне кажется — целый год.

Здесь надо было верить. Обязательно. Верить, что на твоей стороне высшая моральная человеческая ценность — правда. Что дело, которое ты делаешь, — самое важное в твоей жизни, самое необходимое, самое обязательное. Верить, что еще день, неделя, месяц, и все пойдет к лучшему. Верить, что тебя в лучшем случае ранят, но не убьют. Без этой всеобъемлющей веры, осознанной или нет, здесь невозможно было жить, засыпать вечером и просыпаться утром, разговаривать с товарищами. Без нее, как без тормоза, срывались нервы, в мысли лезла всякая дрянь и чертовщина и душа превращалась в мочало.

А на правобережном плацдарме от Еланской до Серафимовича, откуда в ноябре танки будут по мокрому снегу писать гусеницами смертный приговор сталинградской группировке немцев, с утра разверзлся ад. Степные высоты от канонады затягивались пылью и дымом. Горела подсыхающая трава и нескошенная пшеница. Чад стоял понизу в окопах и блиндажах. Из-за дыма и пыли светило

тусклое солнце, похожее на глаз филина. Резервов не было. В наскоро открытых окопах, еще не имея развитой обороны, сражались и умирали полки, батальоны и роты, форсировавшие Дон.

«Пора кончить отступление. Ни шагу назад!.. Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности».

Это был подписанный И. Сталиным приказ № 227. Самый, может быть, жестокий за всю войну приказ, но и самый вынужденный.

Позже в «Истории Великой Отечественной войны» будет сказано:

«Одним из условий успешного осуществления контрнаступления являлась борьба за плацдармы, на которых должны были развернуться ударные группировки».

Это условие и выполнялось. В самоотречении и бескомпромиссном ожесточении. День, два, неделю, месяцу...

КТО УМРЕТ СЕГОДНЯ

Когда они пришли сюда, погожий августовский день едва начал обозначаться — на востоке, оборванная ребром кручи, проступала зеленоватая полоска, на воду лег тусклый отсвет. Солнце не могло еще сделать больше, ворочалось где-то за громадой темной земли, горбато выпиравшей холмами в смутное небо. Стояла тишина, только одна немецкая батарея вела беспокоящий огонь — снаряды небольшого калибра шуршали над головой, словно осенние утки, коротко, тревожно крикали в лесу под станицей Еланской. Лес не отвечал, все больше закутывался в туман, словно уходил под воду, не желая видеть того, что должно было здесь произойти. Справа, у берега, сумеречно клубились ракиты, над ними низко пролетел ворон, крикнул хрипловато, испуганно. Командир, который только недавно вернулся из штаба и почти не спал, проследил за его полетом, сказал устало:

— Копайте глубже, по возможности до центра шарика — будет жарко, я думаю. И ни шагу назад.

— А если невозможно? Мало нас...

— Невозможное на этой войне только для убитых осталось, а нам не досталось... Понятно?

— Понятно.

— Начинайте.

Командир ушел, и три лопаты почти одновременно стукнули в одеревеневшую от дневного зноя землю. Она крошилась, взвивалась дымком, пахла солнцем и гарью. «Попить бы ей!» — будто о человеке, подумал о земле Степан Поздняк, призванный в армию прямо из колхоза. А Константин Стригунов, который окончил два курса сельскохозяйственного института, побывал на практике и после этого разочаровался в специальности, поморщился и сплюнул — поле он любил только за то, что там хорошо было лежать в траве и погулять с девчонкой. Третий, Олег Перелазов, вырос в заводском поселке на Севере, и запах жженой степной земли не будил в нем никаких воспоминаний. Все они были молоды — Перелазову двадцать два и Стригунову двадцать четыре года — и, как говорил старшина, «не прочирикали до конца ни одной песни». Судьба свела их с неделю назад, и Стригунов, увидев худенькое, свежее лицо Поздняка, на котором под белесыми бровями исходили доверчивостью большие голубые глаза, подмигнул: «Физиономию из сыра с яблоками делал? Он такими любит закусывать!» Под словом «он» подразумевался одиночный фашист, вся немецкая армия и сам Гитлер. «Подавится!» — храбро огрызнулся Степан и покраснел, смутившись, а Перелазов похлопал его по плечу и протянул кисет: «Кури и нагуливай аппетит, а кто из кого винегрет сделает — увидим!» — «Вилки песочком почистить не забудьте!» — посоветовал Стригунов.

Сегодня около полуночи роту вывели из резерва на плацдарм. Тот, кто переходил Дон по наспех навешенному мосту, понимал, что идет в пекло, — мост мог в любую минуту взлететь на воздух, плацдарм отрезался от армии, а на голых, без единого кустика, высотах были зной, жажда, непрерывные атаки, рев мин и снарядов, визг пикировщиков, от которого шевелились волосы на затылке, свист и пулеметный треск истребителей, словно небо превращалось в парусину и ее одним рывком раздирали от горизонта до горизонта. Но трем солдатам дали особую задачу — окопаться и удерживать неболь-

шую, метров пятьдесят шириной, полоску земли между рекой и кручей, влево от которой уходила в степь высота, оседланная батальоном. Танки здесь пройти не могли, крупная часть тоже, но отчаянная атака небольшого подразделения с целью паники в тылу батальона и отвлечения сил была не исключена.

— Воюйте за тридцать человек, — сказал командир, — подкрепления не будет.

Об этом они догадывались: батальон, обескровленный в боях, не насчитывал и двух полных рот, да и состав их был разношерстный — в них влилась часть солдат из отступившего в беспорядке полка, тыловики из обоза и необстрелянные резервисты. Вообще части дивизии, форсировав Дон, таяли, как масло на сковородке, и было чудом, что они еще держались...

Узнав задачу, Стригунов обрадовался:

— Потихе будет, да и река рядом!

Но Олег Перелазов, старожил батальона и ручной пулеметчик, назначенный командиром группы, охладил его: — Там минометы и артиллерия поддерживают, а нас — тетя Мотя молитвами из-под Рязани!

— Почему из-под Рязани? — наивно удивился Степан Поздняк.

— Ладно, из-под Тамбова, — легче тебе?..

Теперь все трое молча и сосредоточенно работали, стараясь уйти в землю, — какая бы она ни была, земля эта, а с рассветом она станет единственной защитой. Иногда в ней обнажались куски мела, порой, когда лопата натыкалась на камень, прыгали синеватые искорки, и Стригунов шипел:

— Тише, а то сыпанет на звук!..

Зеленая полоска в небе порозовела и раздвинулась, начали явственно проступать очертания берега. Перелазов объявил передышку и лег на траву позади бруствера.

— Курить хочется, — сказал Степан Поздняк. — Нельзя?

— Нельзя, — подтвердил Перелазов.

— Если бы можно, легче было бы.

— Конечно.

— А если под шинелью?

— Не стоит... И вкуса нет.

— Верно, только глаза режет.

— Душа скулит,— сказал Стригунов.— Басню про ли-
сицу и виноград разучивает.

— Чего? — не понял Поздняк.

— Собака перед пожаром воеет, душа перед бедой
скулит. Зачем на курево сваливать?

— Глупости! — не согласился Перелазов.— В первых
боях оно всегда сердце жует, как теленок тряпку на ве-
ревке.

— Что «оно»?

— Ну, вообще... психология всякая.

— Поясни!

— А у тебя не скулит? — спросил Поздняк.

— Я некурящий,— уклонился Стригунов.

Для Степана Поздняка этот бой был первым. Он
учился в дивизионной школе снайперов, но когда закон-
чил, выяснилось, что на складе не хватает винтовок с оп-
тическим прицелом, а на фронте — рядовых. Теперь он в
самом деле томился чем-то непонятным и темным — тем
неприятным чувством, которое у каждого свое и потому
не имеет общего названия. Это даже не прямой страх
смерти, не боязнь раны, а какое-то унижительное ощу-
щение своей крохотности и бессилия перед лицом гигантской
неизвестности. Не по той ли причине перед грозой смол-
кают птицы, рвутся с привязи лошади, сбиваются в кучу
овцы и коровы? Немного легче становилось по мере того,
как рассветало,— голубые глаза Поздняка из-под вы-
цветших бровей жадно и цепко ощупывали каждый бу-
горок и ложбинку, каждый кустик и дерево, словно хва-
тались за них, закидывали невидимые якоря, чтобы не
оторвало, не унесло черт знает куда, в какое-то ничто. Он
не понимал, не сознавал, что это, может быть, последнее
для него утро входит в его душу острой и почти мучитель-
ной любовью ко всему тому, чему он вчера еще не при-
давал никакого значения по обыденности,— к солнеч-
ному свету, к земле, травам, людям, деревьям, птицам.
Будь он постарше, он понял бы, что, если ему суждено
выжить, этот неспешный рассвет, этот жалкий окоп с то-
щей травкой у бруствера долгие годы будут стоять на
авансцене его памяти, оттесняя более значительное и яр-
кое, будут до глубокой старости врываться в сумятицу
снов, словно выхваченные молнией. Но Поздняк был мо-
лод, и его тревожила наивная мысль — как бы старшие
не заметили того, что происходит с ним...

Когда окоп стал по плечи, Стригунов бросил лопату и сел.

— Ты что? — удивился Перелазов.

— Хватит.

— Ну-ну...расширить надо. Приказ слышал?

— Не глухой.

— То-то и оно.

— Не учи, генерал! — усмехнулся Стригунов. — Что ты знаешь? Воюете тут без году неделя, позиция с грибенник... Я в резерве был — копал, в полку был — копал. Двадцатая кожа на руках сходит от этой ковырялки! Полк наш до боя сорок раз перебрасывали с места на место, потом пятились верст тридцать... Знаешь, сколько я прополз на брюхе? Вокруг земного шара, включая океаны. Знаешь, сколько нарыл? Вместе сложить, так в Америку бы голову высунул: «Хау ду ю ду, мистеры!»

— В Америке благодать, — поддакнул Поздняк. — Не бомбят, не стреляют.

— Дура! — усмехнулся Стригунов. — Лучше в Антарктиде, там сейчас весна наступает, прохладно. И среди пингвинов мобилизации нет.

— А мы тут! — напомнил Перелазов. — По каше и ложка.

— Тьфу! Крот я или человек? Да и бесполезно — мы копаем, а он гонит и гонит.

— Нервы... Может, закуришь все же?

— Нет.

— Жалко, водки нет, она снимает.

— А я и не пью, — проговорил и покраснел Поздняк.

— Ты не лезь! — внезапно обозлился Стригунов. — Ты в человеческую жизнь только скорлупу проклевываешь.

— Начиналось бы, что ли, — добродушно усмехнулся Перелазов. — Когда начнется, некогда языки чесать.

Стригунов сжал тонкие губы и промолчал. Он пришел из разбитого полка, пережившего трагедию отступления, почти бегства; немного долговязый и узкоплечий, но с красивым смуглым лицом, на котором играли желваки и нервно поблескивали черные глаза, он считал себя более опытным и умным, чем его товарищи. «Серийное производство, — думал он о них, — монтаж души политруковской отверткой». Политрука роты он не любил, называл его «инструкцией под копирку» и щеголял слышанной по радио фразой об «оригинальной мысли в ори-

гинальной форме»... Двое снова взялись за лопаты, а он сидел, смотрел, растирая в пальцах травинку и чувствуя, как поднимается в нем тоскливое раздражение против худенькой спины Степана Поздняка, которой этот мальчишка вознамерился заслонить Волгу, Москву, Урал от немецких танков и самолетов; против спокойствия Перелазова, в котором он видел лишь тупую покорность приказу; против дурацкого клочка земли, который непонятно для чего нужно защищать; против маленькой пичуги, робко посвистывавшей в кустах. «Дура, имеет крылья, а крутится тут...»

Внезапно воздух дрогнул, колыхнулся от залпа десятков немецких батарей; показалось, что там, за гребнем кручи, по высотам бегают великаны в железных башмаках, страшно торопятся куда-то. Очередь снарядов залетела правее окопов, на ничейный склон, видимый из-под кручи,— на рыжей шкуре травы появились темные пятна, словно она в несколько секунд переболела черной оспой.

— Наверное, кого-нибудь из наших уже убило? — огорчился Поздняк.

— А ты думал, тут вечеринка с гармошкой? — окрысился Стригунов.— Подожди, самолеты явятся!

— Ну уж,— не согласился Перелазов,— в окоп бомбой попасть трудно.

— Мало учены, генерал!

— Как сказать.

— Так и сказать... Истребители на бреющем полете пилотки с головы сдувают, пулеметами хлещут, как машина, что улицу моет.

— Так низко? — удивился Поздняк.— Из винтовки щелкнуть можно.

— Щелкни — получишь дырку в голову. Впрочем, у тебя она уже есть, слышу — ветерок просвистывает.

— Нашли время для грызни,— укорил Перелазов.

— Я дите обучаю... Чтобы знало, когда мыльные пузыри пускать, а когда брюхом землю греть.

— Перестань! — тихо приказал Перелазов.

— Главнокомандующему видней,— насмешливо прищурился Стригунов.— Но за что немилость?

— Копаешь себя, как навозную кучу, жемчужное зерно ищешь,— жестко отрезал Перелазов.— Противно...

Стригунов осекся — он не знал Перелазова и удивил-

ся неожиданной отповеди, особенно ее форме и тону. Впрочем, Перелазов вряд ли хорошо понимал себя и сам. Его грубоватое, но четко вырезанное лицо обычно казалось скучным и замкнутым, но тот, кому удавалось задеть его за живое, что было нелегко, редко не раскаивался в этом: он чувствовал сильно, раскрывался внезапно и шел на противника, как танк, обнаруживая и порядочную начитанность, и особенно — здравый смысл. Есть люди, которые меряют себя теми, кто ниже их, и делают из этого источник гордости и самолюбования. Перелазов был чужд этому и всегда со стыдом вспоминал, как однажды впал в грех самохвальства и преподаватель сказал ему: «Не надо кудахтать, как курица, которая думает, что снесла земной шар». В нем была заложена та пружина твердого характера, любви к жизни и ясности мысли, которая разворачивается поначалу незаметно, а потом выбрасывает человека далеко вперед, и окружающие удивляются: «Ну кто бы мог подумать?» Если бы его спросили, за что он воюет, он удивился бы: «Как за что? Ну, за это... за все!» На войне ему было страшновато, но, к удивлению, интересно, а мучительные сомнения, которые порой возникали, подталкивали его только к познанию и не превращались в нашествие тех маленьких червячков-древоточцев, которые с ужасающей неотвратимостью переводят внешне приличный дом на совершенную труху. В нем жил один, цельный, спрессованный из миллионов различных явлений мир — от полногрудой красавицы, которая проводила его к эшелону, от Кремлевских стен, которые он видел только в кино, и летней пионерской базы на озере до этого клочка придонской земли, — и он не мог оторваться от него, так же как самый маленький осколок не может оторваться от солнечной системы... Но если Степан Поздняк считал Стригунова умным, смелым, интересным и готов был по временам смотреть ему в рот, то в Перелазове он видел только спокойного и доброго товарища. А все вместе они неслись в микроскопической щели земного шара, не подозревая, что через несколько часов жизнь подведет трагический итог их маленьким, незаметным миру симпатиям, ссорам и разногласиям...

Становилось жарко. В белесом, дымном небе неслись самолеты, похожие на голубоватые крестики, падали к переправе — ее отсюда не было видно, — и там непре-

рывно раздавались взрывы и хлопки зениток. По реке поплыли оглушенные сазаны и судаки, огромный сом крутился у берега, ошалело всползая на отмель, словно искал спасения на суше. В лесу под Еланской все трещало и дымилось — оттуда, выкидывая пламя, били батареи, и там же рвались немецкие снаряды; ветви деревьев обнажались, в воздухе реял и мельтешил зеленый листопад. С высоты слышался гул моторов и лязг гусениц. Что там происходило? Может, батальона уже нет и танки, как случалось не раз, охотятся по степи за уцелевшими солдатами? Может, они остались втроем на этом берегу и вот-вот их расстреляют сверху, как птенцов в гнезде. Было мгновение, когда один танк совсем приблизился к гребню, — откос содрогался, по нему текли струйки земли и катились куски мела. Но лязганье вскоре прекратилось, через гребень хлынул густой жирный дым, словно сверху фонтанировала нефтяная скважина.

— Хлопнули! — обрадовался Поздняк.

— Не взбрыкивай ногами, — отозвался Стригунов. —

Рано.

— Думаешь, еще придут?

— А ты думаешь, закричат «мама» и побегут в Берлин?

— Видно, отбили их там, затихает...

— Позавтракают и выпьют шнапсу.

— И опять полезут?

— Тебя что, прислали сюда вопросы задавать? Если не понимаешь — ковыряй в носу и жди. Для них этот плацдарм — кровососная пиявка на боку, к вечеру оторвут.

— Не каркай, — посоветовал Перелазов.

— Я думаю... Можно солдату думать?

— Не пятками... Чешутся, что ли, на тот берег просятся?

— Чтобы взяли как дезертира? Не подходит.

— А что подходит?

— Хорошая деваха в прохладных сенцах и... ну, квае с погроба!

— Тю-ю! — изумился Поздняк. — Нашел время.

— А ты знаешь, что это такое?

— Нет.

— Жаль, помрешь неграмотным.

— Что ты меня хоронишь? — обиделся Поздняк.

— Чувствую, кто-нибудь из нас останется тут.

— Почему же я?

— Кто глупее... Ну ладно, пошутил! Но, брат, сочувствую тебе — я хоть это от жизни взял, — похвастался Стригунов, радуясь тому, что бой затих, и втайне надеясь, что этим кончится. — У меня до войны была не одна, а потом, еще когда в резерве стояли, разведенка молодая. Пуста, что кувшин на частоколе, воздух внутри гудит, а мне что? Больше молча обходились... И что это нам, хлопцы, за жизнь выпала? Пятилетки, собрания, соревнования, погулять некогда, а теперь и вовсе прищемило... Карасики в бредне!

— А ты в щуках поманеврировать собирался? — усмехнулся Перелазов.

— А ты?

— Блесен не люблю, да и маловато мне... Я в океан выплывать собирался... в Тихий. И многое прочее.

— Не пустили?

— Война.

— Мечты и так далее — радость, сладость, младость...

— Почему? Кончу и поеду.

— Ого! — удивился Стригунов. В словах Перелазова ему начали чудиться насмешка и оттенок превосходства. — Это еще кто кого кончит! Меня вот во время отступления один соблазнял отстать и в зятя пристать — тот хитрый, выживет. Как думаешь?

— Может быть... Но вонять будет!

— Отмоется!

— Клопа в баню сколько ни води...

— Слушай, ты в самом деле такой идейный или по должности в аршин тянешься?

— Догадайся.

— Не могу... Плакат и плакат!

— Возможно... Я знаю, кто тебе нравится: чувства у них мелкие, вроде просяной шелухи, — ни пальцами ухватить, ни глазом увидеть. По количеству много, а все в щепоть помещаются — вот и копаются, живут в маете, повизгивают, чтобы внимание обратить: мол, смотрите, какие мы сложные, тонкие... Да?

— Жаль, не место — я бы тебе ответил... Госпиталя далеко!

«Передерутся, а потом воюй!» — тревожился Поздняк. Но ссора была бессмысленной и кончилась лишь тяжелым

молчанием. Стригунов с отвращением жевал сухарь, Перелазов бездумно смотрел в степь. Солнце поднялось высоко, жгло, казалось, термитным снарядом, нацеленным прямо в голову. Всех томила неизвестность, расслабляла, как теплая вода. Часов около двенадцати снова начался бой на высоте, менее гроыхающий, но более длительный — казалось, даже орудия и минометы устают реветь на выжженной, не засеянной с весны земле. Только самолеты продолжали выть в небе, и от этого раздражение Стригунова переходило в злобу:

— Они носятся, а наших ни одного... Хвастались — через полюс летаем, чужой земли не хотим, но и своей земли... А от смерти сверху ладошкой прикрываемся!

— Правильно, и летали! — подтвердил невпопад Поздняк.

— Все вовремя хорошо... А то один дядя на пожар соломой таскал и так далее.

— Может, для решающего удара копят?

— Байками и утешаемся.

— Правильная мысль, — поддержал Поздняк Перелазов.

— Мысль!.. Я географию изучал, пять континентов, Гомера читал, а толку что? Слева круча, справа Дон — простор для мысли, географии и биографии...

— Попался?

— Выходит.

— Ну и не визжи, не поможет... И кому жалуешься?

— Верно — двум чурбакам.

— Тем более! Если умный чурбаку жалуется, что он сам? Рассуди.

Странное дело: если бы им сказали, что отсюда, с этого плацдарма, начнется окружение Сталинграда, победа, путь до Берлина, ни один из них не поверил бы. И тем не менее, связанные нематериальной силой — словом, приказом, они сидели и ждали, и будущее было для них открыто непроницаемой завесой. Окончилась и вторая атака. Они не видели ее драматических перипетий, но, судя по тому, что последние выстрелы все еще трещали по краю обороны, батальон удержался. Поздняк, выполняя приказания Перелазова, обновлял маскировку, ползал на брюхе к ракете и обратно, Стригунов лежал в окопе, в тени. День переломился, солнце поползло книзу, свет его на бурой траве напоминал осеннюю солому. Задонье, куда

скатывались пыль и гáрь, подернулось грязной дымкой. В душе каждый начал надеяться, что так день и кончится — посидят они, всеми забытые, до заката, и в сумерках их отзовут. Но в четыре часа началась третья атака немцев на высоте, и в ту же минуту они увидели метрах в двухстах группу немецких солдат. Фашисты возникли на гривке противоположного склона так внезапно и бесшумно, что казались нарисованными синей краской на фоне голубоватого неба. Впрочем, они тут же исчезли в низкорослом кустарнике — прежде чем добраться до кручи, им надо было пересечь течею, зараставший лозняками лужок. Это не обеспокоило Перелазова, потому что перед окопом было метров сто сорок открытого ровного пространства: выйдут — и сразу можно огнем пулемета внести поправку в соотношение сил. Но случилось неожиданное: когда два гитлеровца только показались из кустов, Поздняк, разнервничавшись, выстрелил без команды и промазал. Лицо Перелазова стало багровым от злости, но он нашел в себе силы пощадить молодого солдата, зато Стригунов длинно и нехорошо выругался.

— Я нечаянно, — побелевшими губами прошептал Поздняк.

Ему не ответили, но Перелазов сказал Стригунову:

— Ничего... Решат, что пальнул со страху заблудившийся солдат. А сейчас прочешут автоматами... Помолчим.

И в самом деле, автоматные очереди начали стричь траву. Прошло минут пять, тошнотворно длинных, — мера времени сходна только на часах и бесконечно разнится для людей. В такой момент мысли летят, как взбесившаяся лошадь или грузовик без тормозов, потом проваливаются куда-то, и вместо сердца возникает холодная пустота, словно туда сунули мокрую тряпку. Наконец проходит и это, и человек попадает во власть того единственного, что является и мыслью, и чувством, и действием сразу и что может быть выражено в трех словах — убить, чтобы выжить! Этот момент наступил, когда немецкие солдаты, постреляв, покинули кустики, постепенно смелея, но все-таки инстинктивно пригибаясь, пошли: в руках Перелазова затрясся пулемет, часто и успешно стрелял Стригунов. У Поздняка после трех или четырех выстрелов, которые не достигли цели, заело затвор, и он никак не мог перезарядить винтовку. Молодой немецкий офи-

цер, рослый, с непокрытой головой, пытался поднять залегших солдат, но был убит Стригуновым. Тогда группа, оставив несколько убитых и раненых, отошла в кусты, некоторое время вела нерешительный огонь, затем все стихло, синие фигурки мелькнули на фоне неба и растаяли.

— Кислая капуста! — жестко сказал Поздняку Стригунов. — Душа в пятки провалилась, да?

— Бывает! — довольный исходом дела, улыбнулся Перелазов. — В первом бою бывает...

— Полезут еще? — спросил Стригунов.

— Они упорные.

— Это верно...

Развязка наступила незадолго до заката солнца. Теперь, когда немецкие солдаты появились на грядке, они показались черными, словно за день обуглились в жаре и огне. Но прежде чем атаковать окоп, они открыли под прикрытием кустов огонь из ротных минометов, и это привело к трагедии, разыгравшейся с непостижимой быстротой... Одна из мин попала в вершинку невысокой ракиты, разорвалась в воздухе, и осколок пробил плечо Перелазову, может быть, повредил легкое — он ткнулся головой в бруствер, судорожно всхрипнул и начал сползать на дно окопа. «Все! — вихрем пронеслось в голове у Стригунова. — Безглазая пришла за мной!» Даже в этот момент он не мог отойти от въевшейся привычки мыслить с претензией на оригинальность, она сработала в нем автоматически; и тут же представил себя, растерзанного осколками, скорчившегося и окровавленного, — он видел, как бывает это! — и губы его скривились от мучительной жалости к себе, а руки бессмысленно металась по шейке приклада и затвору. Что толку продолжать эту игру в компании с мальчишкой, который не умеет стрелять? Кому польза, что он помрет? Он цепенел и не слышал, как звал его Поздняк помочь перевязке. «Жить! Жить! Жить!» — кричала, требовала, выла, визжала каждая клетка его тела. Он удивлялся внезапности, с которой все возникло, не подзревал, что на самом деле с утра под скепсисом и раздражением, усиливаясь, в нем, постепенно и осторожно подбираясь к решению, работала лукавая формула: «Слева круча, справа Дон, слева круча, справа Дон...» И когда минометный огонь прекратился, он с бешеной ненавистью посмотрел на худую спину Поздняка, склонившегося к ра-

неному, бесшумно перемахнул бруствер и побежал к кустам — жизнь была только там, и нигде больше... Поздняя заметил его исчезновение, когда он был уже метрах в пятидесяти, перепугался, схватил винтовку, бросил, подумал секунды две и вылил остаток воды из фляжки на лицо Перелазову. Тот открыл глаза.

— Стригунов бежит к ним, — почему-то тихо, словно это еще секрет, сказал Поздняя.

Перелазов смотрел в небо, казалось готовый впасть в новое беспамятство, но вдруг сказал отчетливо:

— Стреляй.

— Из пулемета?

— Нет... Патронов мало...

— А если не попаду?

Перелазов не ответил.

Стригунов как будто слышал все, что о нем говорилось в окопе, — он внезапно лег и пополз, огибая мертвых солдат в голубых мундирах и укрываясь за ними. Потом он подумал, что его могут неверно понять и убить из кустов. «Да ведь Перелазова нет, а Степка размазня!» — обрадовала его мысль, и, поколебавшись еще секунду, набрав для чего-то побольше воздуха в легкие, словно собрался нырнуть в омут, он встал на колени и начал поднимать руки. Тогда Степан, вспомнив все, чему его учили в снайперской школе, и до скрипа сжав зубы, подвел мушку под обрез пилотки и выстрелил.

Стригунов ничего не понял и упал лицом в сухую траву.

Из кустов, стреляя на ходу, вырвались солдаты, мундиры которых теперь, перед закатом, казались черными, но, пробежав метров сорок, залегли под пулеметным огнем, который вел Поздняя, затем поодиночке отползли назад. В самом ли деле хотели они прорваться под кручей или отвлекали? Неизвестно. Во всяком случае, на окоп вторично обрушился минометный огонь, берег начал затягиваться пылью. Каким бы неопытным ни был Степан Поздняя, но и он понял, что наступило то последнее, за которым нет ничего — ни окопа, ни боли, ни заката, ни ночи... Тогда деловито и не спеша положил он шинель под голову Перелазова, неловко скользнул губами по его щеке — он читал, что так делается, — и проверил запалы в гранатах... А все, что произошло вслед за тем, показалось ему сном наяву, и даже когда окончилась война, это ощущение не

покинуло его: с противоположного берега Дона на кусты с минометами обрушился убийственный оружейный огонь. Сами там поняли обстановку или передали по радиации из батальона, он никогда не узнал...

Солнце село. Сумерки вкатили обугленную землю с ее усталыми людьми в оглушительную тишину, и на некоторое время, впервые за весь день, стал слышен единственный голос — голос бегущей воды. На ней, на этой земле, уже не было Константина Стригунова, а Степан Поздняк прислонился к стенке окопа и заплакал — оттого, что первого на войне убил не чужого, а своего... И может быть, он жаловался и тосковал вслух, потому что сквозь всхлипы до его сознания начали доходить рожденные в муке слова Перелазова:

— Это все равно... Прошел десять метров не в ту сторону — и все равно...

«...немецко-фашистская армия истощалась. Она потеряла убитыми, ранеными и пленными около миллиона человек. Огромны были потери ее и в технике, особенно в танках и самолетах. Немецко-фашистское командование, бросив крупные силы в летнее наступление на южном крыле фронта, не смогло решить ни одной из поставленных задач. Израсходовав почти все силы и резервы, оно было вынуждено отказаться от продолжения наступления и в октябре отдало приказ о переходе к обороне».

«История Великой Отечественной войны»

Наступала осень. Все чаще, сея дожди, затягивалось облаками небо. Итальянские окопы становились все молчаливее. Румынские солдаты в островерхих шапках, самые униженные и обездоленные среди гитлеровских союзников, собирали в нейтральной зоне уцелевшие колоски пшеницы, чтобы варить кашу.

В наших окопах томился бездельем и ожиданием. «Вот снег падет — и двинем». Где? Откуда? Полагали — только не у нас. Силенок не хватит...

А дали в нашем тылу заплывали туманами, туманами, дождем. Что там, не знал никто — ни мы сами, ни немцы, ни итальянцы, ни румыны. Ни Паулюс, ни Гитлер... Знала только Москва.

В последний раз, словно закончивший охоту доисторический зверь, проревела из-под Ягодного тяжелая немецкая артиллерия; за Доном, в районе моста, ухнули взрывы, и передний край затих. Стало слышно, как посвистывает в бурой траве сырой, пронизывающий ветер и падают с концов накатника редкие капли — серошинельное, в быстро бегущих облаках, небо весь день было низко нахлобучено на степные курганы, сочило мелким дождем. Взводный Игорь Останцев, слегка сутулый, с клещеватыми кавалерийскими ногами в низко посаженных голенищах сапог, дососал, привычно повернув ее огнем к рукаву, сигарку и щелчком отправил окурок в лужу на дне хода сообщения. Отстегнув замусоленный и коробящийся от сырости брезент, закрывавший вход в землянку, приказал:

— Васильчук, топай до старшины, напомни — пусть гранат подкинут. Второй день обещанками кормят.

Сорокалетний, худой, со впалыми и чумазыми от копти щеками, Васильчук простуженно шмыгнул носом, вытер слезящиеся от дыма глаза, встал. В сплюсненной снарядной гильзе, едва разбавлявшей темноту скупым светом, дернулся язычок пламени. Васильчук посмотрел на него грустными глазами, взял винтовку, с порога обернулся:

— Пусть хоть Заломов печку расшурует. Хвастается, что у него все под руками горит.

— Да пропади она пропадом! — отозвался с нар Заломов, широкоплечий солдат, с лицом, густо заросшим черной щетиной. Забравшись с полудня на нары, он перетирал боками солому, там же выхлебав суп и умяв кашу, доставленные в термосах. — У кого свое отопление не работает, тот пусть и занимается. Я обойдусь.

— От лени и в луже дрыхнуть будешь, — буркнул Васильчук, уходя. — Как единоличный боров.

— Не от лени, а по диалектике, — охотно пустился в объяснения Заломов, хотя Васильчука уже не было. — Тепла от этого бурьянчика — паршивому воробью хвост погреть, а канители черт те! На то и голова дана, чтобы руки даром не утруждать.

— У нас таких диалектиков в проруби зимой купали,— усмехнулся Матвей Ионенко, чинивший возле коп- тилки рукав гимнастерки.— Ума вкладывали.

— И на какой реке ты проживал?

— На энской.

— Знаю. Дрянная речка. Бабы вброд ходили, подолов не поднимая, смотреть не на что.

— И как ты это догадался?

— По иконостасу твоему вижу. На больших реках лич- ность крупнее произрастает.

— Заломова словами не проймешь,— отозвался, тоже с нар, добродушный солдат Луцилин.— В колючках ро- дился.

— Ему и купанье не поможет.

— Еще и пол-литру выторгует!

— Зря ржете, кротовье племя! — огрызнулся Зало- мов.— Речки мне действительно на один зуб. Я, как Хри- стос, до конца войны пешком научусь по водам ходить. Топ да топ, а она даже не гнется. Не верите? Когда нас от границы гнали, я сто раз пузыри пускал, удивлялся: откуда у нас столько водяных рубежей набирается? А тут, на Дону, от меня уже щуки летом отставали, спрашива- ли: что за рыба такая неизвестная?

— А ты что?

— Нормально! Имя и отчество докладывал, биогра- фию обрисовывал.

— Щучий язык знаешь?

— И ослиный тоже. Разговариваю же с вами!

— Балагур ты,— сказал Ионенко.— А как балагур, так выпить и пожрать мастак.

— Не уклонялся,— признал Заломов.

— Рассказал бы чего из жизни, а? — попросил Луци- лин.— Сидим тут одни мужики, глаза намозолили друг другу.

— Ты и Расскажи, как во время формирования под Армавиром повадился к одной вдове дрова колоть. Как ни посмотришь, все ха-ак, ха-ак! Дровишки-то тяжелые, ракиновый корч больше. И ведь, так я думаю, не хозяйкой соблазнился ты, а коровой, молоко жирное давала. Науч- ный подход!

— При чем тут наука? — удивился Луцилин.

— При том, что наука — она... Земля у нас какой об- ширности — представляешь? Защищать ее, понятное де-

ло, тяжкий труд, очень уж много флангов получается. А так — подходяще!

— И что?

— А то, что ученые на этой обширности еще до войны специальную территорию подыскивали, куда тугодумов сселять. Чтобы на умных людей скуку дохлыми вопросами не нагоняли. Так что кончится война, а у тебя уже готовенькое место.

— Может, ночь делить будем? — предложил Останцев. — Пока тихо.

— Ничего, итальянец день ото дня смиряется. Летом рта открыть не давал, палил и палил, теперь же затаился.

— С боеприпасами его ущемило. Везить далеко.

— Вот-вот, восчувствуй ему.

— Я не восчувствую, а объясняю.

— Почему фрицу чуть не полземли отдали — тоже объяснили, а вот как отбирать будем — неизвестно.

— Да, нахаркаемся еще кровью.

— Зима скоро, — вздохнул Ионенко. — Доживем, что снегом завалит. Вьюги тут, на Дону, дай бог, наверное. Для ветра простору много, где нихвати — гони да кати.

— Не одних нас завьюжит, их тоже.

— Зима — время русское. Перемогем!

— Сусликовая стратегия, — буркнул Заломов. — Перемогальщики нашлись. Зимой в наступлении греться будем, пар от шапки повалит. Второго фронта теперь не жди, американцы и англичане насморк побоятся получить. Одним придется пыхтеть.

— А шапок-то еще и не выдали.

— Будет голова — шапка найдется...

Угольки в печке совсем перетлевали, брались пеплом, никто возле нее толочься не захотел. Слабый свет копилки, как художник с мрачной кистью, наляпывал глыбы темноты по углам и на полу, скупно, несколькими неуверенными штрихами, черное с желтоватым, прорисовывал закоптелые лица солдат. Если смотреть на такую картину свежнему человеку, делалось неуютно и горько, начинало мерещиться, что жизнь ринулась вспять, к пещерным временам. Но сами солдаты, давно находясь как бы внутри некоего особого круга, очерченного войной, привыкли и притерпелись ко всему. Из бесчисленных ценностей, входящих в обиход человека, здесь оставались реальными лишь немногие — сама жизнь, которая каждый день и

час могла оборваться, еда, курево, сон, письма из дому, у кого еще дом сохранился. И еще туманная, вне времени и зримых очертаний, надежда на победу, с которой все должно пойти к лучшему. Поначалу, при палящем солнце и каждодневных атаках итальянцев, жизнь на этих высотах казалась адом: горячего удавалось поесть раз в сутки, и то не каждодневно; не хватало воды, а если и была, то теплая, тошнотворная, из бензиновых канистр; случалось, что приходилось экономить патроны и гранаты, и это создавало тревожное ощущение беспомощности. Смены им не было, только пополняли немного при потерях, так что дорога назад, за Дон, открывалась лишь мертвым и тяжелораненым. «Ногами вперед», как говаривали мрачные остряки.

Осень поправила дела — и ночи подлиннее стали, и появились в воздухе свои самолеты. С учетом того, что втянулись, жить можно было. Да и в землю залезли крепко. Теперь лишь Заломов, Постников, Васильчук и Луцилин помнили первую ночь на плацдарме. После купания на переправе в горячке выскочили на высоту, которую итальянцы оставили без боя под ударом, в тыл соседнего батальона. Пилотки вверх бросали, — победа! — кто-то предложил флаг водрузить, покрасоваться перед теми, кто остался за Доном. Но уже через полтора часа пришлось вступать врукопашную, и началось какое-то сумасшествие, и день, казалось, никогда не кончится. На закате стала опускаться дымная мгла, кое-где чадила и мерцала огоньками выдранная взрывами и высушенная солнцем трава, в разных местах слышались стоны раненых. Их надо было собирать и перевязывать, санитары не справлялись, а на потную кожу налипла пыль, потекла грязью, тело нестерпимо чесалось, руки обвяли, ноги подламывались, как гнилые. Ужина не было, повар побоялся переправлять кухню на канате, погрузили на шаткий плотик из бочек, а его перевернуло взрывом бомбы. Комбат, осунувшийся, взъерошенный, с царапиной через всю щеку, ходил по ротам, сипел пересохшими губами: «Без еды проживешь, без головы труднее! Зарывайся, а то утром оторвут...»

И они копали, копали с проклятиями сухую плитняковую землю, от которой, казалось, валил дым. Иногда кто-нибудь, вскинув лопату на бруствер, так и засыпал стоя, его будили толчками и матюками. На рассве-

те пала скупая роса, ветер приволок из-за Дона запах цветов и трав, небо без единого облачного мазка пролило прохладу. Объявили передышку, чтобы хоть малость поспать, но итальянцы после пятиминутной артподготовки опять полезли в атаку.

Так и закрутилось без малого на месяц — днем винтовка, ночью лопата. Жаловались: «Палец судорога сводит, спишь — и то стреляешь!» Но настала пора, когда каждый благоустроил свой окоп, траншеи в рост соединили взводы и роты, в откосах появились ниши, укрывавшие от обстрела с воздуха, и Заломов, сложив кукиш из кровоточащих от мозолей пальцев, сунул его над бруствером в сторону итальянцев:

— Дуче персонально! Пусть выкусит!..

Если смотреть со стороны, высоты были по-прежнему пусты и голы, не очень даже выделялись брустверы, замаскированные травой. Но в действительности это уже была крепость с повидавшим виды гарнизоном, и в подземельях этой крепости ели, спали, философствовали, вспоминали, привирали, сочиняли анекдоты и в пору затишья, не вылезая на поверхность, ходили друг к другу «на табачок». А того чаще в жару, пристроившись на дне окопа, лузгали в тени подсолнухи, которые натащили из разбитого склада под Рыбным. Худо было только с топливом — сарай прибрали в первые же недели, поблизости не было ни кустика, ни деревца, один бурьян, к осени почти все время мокрый. А ночи, высыпая крупные звезды, все холодали и холодали, в ядовито сквозящем ветерке начинал чудиться запах снега. И вместе с тем росло смутное и требовательное беспокойство — что дальше?

Вернулся Васильчук, сказал устало:

— Гранаты подвозят. А старшина, товарищ младший лейтенант, нервозный какой-то.

— Нервзный, говоришь?

— Шипит ужакой. Говорит, в храпуна с утра до ночи играет, за Доном слышно, казачкам покоя нет. А итальянцы придут — голыми руками возьмут.

— Тоже мне фельдмаршал Суворов! За снабжение, наверно, по коробке стукнули. На одном конце деревни палки отведаль, а на другом зубы кажет... Толкни-ка там отделенного, пусть наблюдателей проверит.

Иван Постников, пожилой и обстоятельный сержант из орловских колхозников, проведя по длинному, в оспинках,

лицу ладонями, поеживаясь и позевывая, слез с земляных нар, полусогнувшись и подергивая плечом, начал влезать в шинель. Уравновешенный, практичный, он уснул еще до темноты, считая, что никакой запас кармана не тянет, да еще в примерке на то, мало ли чего там будет. Опамятовавшись от чугунного сна, он некоторое время молча смотрел на Васильчука, который снова разжигал печку, буркнул:

— Из дерьма конфетку лепишь? Пospал бы лучше. Лезь вон на мое место — пригрето.

— Тьма на улице, — словно оправдываясь, сказал Васильчук. — Поглядишь — и как нету никого, ни единой живности. Один ты на земле.

— Ну и фукай до свету... А тьма — чего особого? Обыкновенная ночь.

— Ты иди, Постников, — поторопил Останцев. — Иди.

— Карт нету, — вздохнул Ионенко. — В дурака подкидного сгонять бы.

— Старух бы еще где занять... Любят они подкидного.

— А то Заломов поворожил бы. Такой человек все может. Сказал бы, когда Гитлеру капут.

— Такой гадюки, как Гитлер, в картах не содержится, — отозвался Заломов. — А чтоб вам гадать, надо масть дамы помнить. Вы же и жен позабыли, как выглядят они, и сами закоптились — не разберешь, кто рыжий, кто вороной от рождения. Не короли, а валеты на один цвет! Только Луцилин обособляется, и то носом — у нас такая картошка родила, лорх называется...

— Так и не пойму я, что ты за человек такой, — подзадорил Ионенко. — Как на хорошем базаре, все у тебя на языке есть, чего ни хвати.

— Моей жизни на весь наш взвод хватит и еще для минометчиков останется! В колхозе работал, на железной дороге при станции, в артисты поступал, в армии отслужил, на заводе токарному делу обучался, в бухгалтерии выдвигался, да война помешала. В одном моем лице весь рабоче-крестьянский класс выступает, а также трудовая интеллигенция.

— Поехал!..

Ночь была даже темнее, чем Постников ожидал. Выпустил из рук брезент и словно нырнул в чернильницу. Ни одной звезды, ни одного просвета в облаках. И сразу начало сбавывать привычное чувство того, что кто-то

рядом притаился в темноте, только и ждет, чтобы ты сплывал. В детстве Постникову, еще до вступления отца в колхоз, приходилось водить коней в ночное. Народу собиралось много, но, кроме одного старика для «догляду», все подростки и женихи. Эти, уже обуреваемые своими горячечными мыслями, уходили на всю ночь гулять в село. А подростков разбивали по три или четыре человека на смены, чтобы стеречь табун. И бывали в августе вот такие непроглядные ночи, будто сажу в глаза сыплют, идешь и боишься — то ли в ямку ухнешь, то ли на куст напорешься. Утром же на кошенине, сизой от росы, лежал зарезанный волками жеребенок или отбившийся конь. Шея разорвана, внутренности вывалились, и от них еще поднимается парок. Иногда в темноте тускло, зеленым в желтизну, просвечивали волчьи глаза, и тогда, чувствуя, как немеют от страха ноги, приходилось делать вид, что с тобой собака, вопить: «А-ря-ря!» Давние те ощущения возникали в нем порой и теперь, особенно в такие вот ночи.

Чтобы отвязаться от лишних мыслей, надо было двигаться, и Постников пошел по траншее проверять наблюдателей. Крайним справа, на стыке с соседним взводом, стоял молоденький и по-детски щуплый солдат Сережа Снегирев. Ростом он был чуть повыше винтовки, и, когда с месяц назад появился во взводе, Заломов рассмеялся:

— Детский сад расформировали, а?

Первое время Снегирев только и делал, что задавал вопросы:

— А почему мы не наступаем?

— А почему итальянцы гранаты в красный цвет красят?

— А отчего у итальянцев пятнистые палатки, а у нас нет?

— Вполне соответствует фамилии, — констатировал Заломов. — Цвень-цвень-фррр!

Неистошимое любопытство, ребячье романтическое представление о войне пересиливали у Снегирева чувство положенного от природы страха. Этому способствовало и затишье на фронте. Теперь, когда в поле зрения за день не появлялось ни одного живого человека, начинало казаться, что пулеметный и автоматный огонь велся не для того, чтобы кого-либо убивать, а для порядка. Раз уж война, так и стрелять положено. К тому же Снегирева, безо

всякого к тому уговору, старались оберегать. Но в наблюдение он часто просился сам, любил глазеть, слушать, размышлять. О чем? Кто его знает, рассказывать стеснялся.

— Ну, как тут, Сережа? — спросил Постников.

— А ничего, Иван Платонович.

— Не присвечивали?

— Зеленую одну кидали, а свечек не было.

— Не вздремнул одним глазом?

— Что вы, Иван Платонович!

— Ладно, погляди еще часик, потом Ионенко пришлю.

— А наши чего делают — балакают или спят уже?

— Мелют понемногу.

— Я вот думаю — в Испании такие ночи темные, как тут, или посветлее?

— Эк тебя поваживает... При чем Испания?

— На улице нашей летчик один был, в Испании воевал. Геройский человек! Когда к родным в Почеп приезжал, ножичек такой показывал — сам маленький, а кнопку нажмешь — и кинжал получается.

— И что же?

— Нам бы такие. В ближнем бою хорошо.

— Поглядывай, как бы из тебя итальянец в ближнем бою «языка» не сделал.

— Я, Иван Платонович, и глазом и ухом действую.

— Ладно, поглядывай...

Яков Сыромятников, закутанный в мокрую, коробом, плащ-палатку, — не человек, а сооружение, — встретил Постникова ухмылкой, осязательной даже во тьме:

— Шагаешь все? Ноги даровые?

— Служба. Проверяю.

— А то, думаю, гвоздь в одном месте... Чего меня проверять? На барщине я, что ли? Шкуру-то свою первоочередно берегу.

— Для порядка.

— Наступать надо бы, для порядка-то. Торчим, как пни, на одном месте, вянем от сырости. А у меня семья под Курском.

— Не у тебя одного. Наступать тоже с умом надо. И ко времени. Значит, не пришло оно.

— Тоска, — вздохнул Сыромятников. — Ест, как вошь. И темно как!

— Осень. Она всякую живность осаживает.

— Осенью я девкам моим — две их у меня — платья новые справлял. В школу бегать. А вот второй год небось ни платьев, ни школы. Если живы еще. Фашист вон как зверствует.

— Как-нибудь среди своих проживут.

— Если бы в нашем тылу — другое дело. Тоже не сласть по нынешним временам, а совсем другое дело... Наступать, говорю, надо, людей вызволять.

— Да уж зимой не иначе что пойдём. Сейчас, посуди сам, куда сунешься, степь-то в кашу развезло...

Когда Постников, проверив наблюдателей, вернулся в землянку, там уже спали. Только Васильчук, шмыгая простуженным носом, смотрел на жиденькое пламя в печи — оно едва всплескивалось и тут же западало, с трудом пережевывая волглый бурьян. Васильчук смотрел на него без мыслей, без желаний, ощущая только усталость, опустошенность, одиночество. Жена погибла еще в начале войны под бомбежкой — в последнюю минуту все хватала и не могла ухватить его за отворот пиджака помертвевшими пальцами, всхлипывала с кровью, сочившейся в уголки губ: «Але... шень... ку... бе... ре... ги». Перед тем как уйти в армию, он сдал сына в детский дом, а месяц назад получил извещение о его смерти. И что-то оборвалось в нем, отрешило от всего. Он стоял на посту, чистил винтовку, изредка стрелял, ел, брился тупой бритвой, а в голове плыл туман, из которого без конца доносилось приглушенно: «Але... шень... ку... бе... ре... ги., Але... шень., ку... бе... ре... ги». Политрук роты, заметив его угнетенное состояние, пытался с ним беседовать, но Васильчук сказал: «Понимать умом все понимаю, а только душой я человек отвязанный». Он так и не сумел объяснить точный смысл фразы, но для себя чувствовал ее всеобъемлющую истинность. И лишь когда он смотрел на пламя, то вспыхивающее, то понижающее, но неизменно живое и куда-то устремленное, в нем рождалась слабая волна успокоения, ощущение тепла и движения.

— Шуруешь все? — удивился, вернувшись, Постников. — Кочегар вышел бы из тебя знаменитый.

— Не идет ко мне сон, — вздохнул Васильчук.

— Бывает, — согласился Постников. — Да и сколько его взять можно? Отоспались.

— В баню бы, — вздохнул Васильчук. — Самому выто-

пить, каменку до красноты разогреть. А потом — рюмочку и к самовару... Погорела баня моя.

— Многое у нас пеплом пошло... Одолеем немца — построишься.

— Не доживу я. Ноги у меня все стынут, холодеют, будто в земле уже... Примета — к себе зовет она...

— От дум все это... Ты не думай, в действие себя закладывай — оно и отсосет. Наступление будет — так только поворачивайся, там бодрости вложат.

Два дюжих солдата принесли ящик гранат. Один зашел в землянку, завертывая в газету махорку, тоже присел перед печкой, в которой шевелился огонек с мышью величиной. Прикурив, обтер рукавом потное лицо, пожаловался смачным басом:

— Темно, как у негра в животе. А?

— Ты потише все же, — посоветовал Постников. — Видишь, спят люди. А у тебя голос — на базаре орехи продавать: «Вот у меня сушеные, каленые!»

— Да их на голос не возьмешь. Даже на мой. Наши тоже, как моченые яблоки к великопостью, квелые стали. Сидим все, сидим, тело млеет. Ни тебе смены, ни наступления. Мы-то вот еще в грузчиках, так ничего тренировки. Поменяемся, а?

— Быка на ендыка чего менять.

— Да так, все занятие.

— Нечего делать — чеши правой ногой за левым ухом. Тоже занятие.

— И то... Ну, мы пошли. Вам еще два ящика подкинем да и третий тоже. До свету канители и хватит...

Посидев при безмолвии еще, Постников посмотрел на часы и толкнул Ионенко. Тот вскочил быстро, словно из воды выплеснулся.

— Уже?

— Ага. Снегирева сменишь.

— Тихо?

— И темно. Глаз выколи.

— Ну, тогда тихо и будет. Этого, тьмы то есть, они не любят.

— Ты любишь?

— Мне все равно. Я из шахтеров, а у нас даже при лампе все вокруг черно — уголек, сам понимаешь...

В первый месяц обороны был случай, когда в темную ночь итальянцы, по одним догадкам, выкрали наблюдате-

ля, а по другим — сам к ним переметнулся. И случай этот, сам по себе не такой уж значительный, повлек за собой для большого участка фронта длинную цепь неожиданных происшествий и злоключений.

«Язык» или перебежчик, кто его знает, дважды перед закатом, когда устанавливалась тишина, орал через мегафон, шепелявя от нервозности: «Братцы, сдавайтесь, тут хорошее обращение! Вино дают...» Рота ответила матюками и пулеметным рыком. В словесных очередях особенно изощрялся старшина, хвативший в свое время блатной жизни. Напоследок он пообещал «агитатору» намотать его вместе с кишками на шомпол вместо пакли, протащить через дуло автомата, а потом кинуть бешеной собаке. Итальянцы не оценили ни матерного остроумия, ни тонкой изощренности казни и накрыли роту минометным огнем. Одного солдата убило, двух ранило. Рота расвирепела. Прежде как-то само собой установилось, что, когда в тыл к итальянским окопам, в небольшую ложбинку, подъезжала кухня, влекомая низкорослой гнедой лошадкой, и солдаты поодиночке, но быстро получали горячий паек, их не трогали. В свою очередь итальянцы не трогали наших подносчиков с термосами, которые тоже ходили на виду к Дону. В конце концов узнало об этом «перемирии на обед» и начальство, но смотрело на него сквозь пальцы.

Однако на следующий же день после перебранки обозленные минометчики накрыли итальянскую кухню плотным огнем, а пулеметчики, решив не отставать, устроили «подливу». У итальянцев были потери, кроме того, лошадь рванула и свалилась в ров, так что от кухни остался комок мятого железа.

В свою очередь итальянцы в ответном порядке подняли пальбу по подносчикам с термосами, и роте пришлось обедать вечером. Командир полка, пожилой, «из гражданки», не посочувствовал: «Сами заварили, сами расхлебывайте... Хотя, в общем, тут не дом отдыха». И пришлось батальону, чтобы не обедать ночью, когда полагалось ужинать, удлинять до обрыва ход сообщения. Спустя некоторое время итальянцы, объясняясь на ломаном русском языке, предложили восстановить «обеденный мир», но рота уже в нем не нуждалась и злорадствовала: «Ишь чего захотели, чернорубашечники!»

— А Москву не отдать в придачу?

— Поцелуй ты меня нынче, а я тебя после дождика в четверг!

— Присылайте вашего Муссолини парламентаром — потолкуем!

Матвей Ионенко, прибывший с пополнением позже всей этой истории, знал ее из ста пересказов во всех бывших и небывших подробностях — она постепенно обрастала выдумками и анекдотами, — но сейчас рассуждал здраво: итальянцы темноты не любили, а когда стало задувать холодным ветром и задождило, совсем подкисли. Не до чужих «языков», свои бы целы были. И на пост он шел запросто, как на обыкновенную и уже приевшуюся работу, сожалея о том только, что и место уже хорошо угрел, и прилежался, а выспаться одним махом не удалось, придется второй заход делать. Прежде чем уйти, он тоже подсел к Васильчуку — пламя необъяснимо притягивало всех, — сказал, запоздало зевнув:

— Сон видел. Будто выхожу утром в огород, а за ночь огурцов вылезло — не сосчитать! По росе огурец особый, с хрустом!

— Огород-то где?

— Под Смоленском.

— Стало быть, огурец фрицу, а хруст тебе.

— Ничего, и сами похрустим со временем.

— В баню бы! — снова вздохнул Васильчук. — А потом таким огурчиком закусить. Летом в бане хорошо — веник свежий, духмяный, после хорошего парка в речке окунуться.

— Окунуться и осенью можно, — охладил банные идиллии Постников. — Вот, допустим, прижали бы нас к Дону, а мост взорван.

— Теперь не прижмут, — не согласился Ионенко. — Вкопались вон как!

— Если танковую дивизию пустят...

— Была бы — летом пустили бы. Перетюкали наши под Сталинградом много их техники. Там воюют так воюют!

— А мне только сын снится, — сказал Васильчук. — Жена нет, отошла уже. Кисеей ее будто заволакивает, заволакивает.

— Все помрем, — вздохнул Постников. — Ты, Матвей, ступай... Снегирев-то ждет.

Но Снегирев не ждал, он тут же и забыл, что сказал

ему Постников об Ионенко. Спать ему решительно не хотелось, и разные думы, ни в какой связи одна с другой не состоявшие, толпились в его голове. Сначала ему представилось, как однажды вот в такую ночь, может даже сегодня, он совершит подвиг, о котором заговорит весь батальон, а может, и полк, — приползут итальянцы, но он заметит, даст очередь из автомата, а потом накроет гранатами. По первой прикидке итальянцев выходило двое, затем ему показалось, что маловато, и он увеличил их до пяти. Двух он пристрелит, двух прикончит гранатой, а одного возьмет в плен. Но итальянцы не ползли. Правда, на одно мгновение ему почудился шорох, но потом, сколько ни прислушивался, больше ничего не было слышно. «Заяц, наверное, — подумал он. — Или ветер рванул...»

После этого он представил, как после войны, весь в орденах, возвращается в свой пристанционный поселок под Саратовом и его приглашают выступать в клубе. И он, рослый, — должен же он подрасти? — в пропыленной походной форме, рассказывает, как воевал, как шел от Дона до Берлина. И Катька Ивичева, самая пригожая и насмешливая девчонка в поселке, присылает в президиум записку, в которой сообщает, что будет ждать его под липами около табачного ларька. Перед уходом в армию он ей намекал, да она не пришла. Может, не поняла, может, времени не было. А он ходил часа два, слушая, как шелестят липы на свежающем ветру и время от времени, мигая в просветах живой изгороди красными фонарями, постукивают на стрелках товарняки... Но еще через минуту он позабыл и о поселке, и о Катьке Ивичевой, а попытался представить себе Гитлера — что он там делает сейчас, в Берлине? Вот пробраться бы и выкрасть его планы — вот было бы! Или еще лучше — захватить его в плен... Но тут он ощутил, что залетел слишком далеко, и, чувствуя, что неплохо бы поесть, увидел гречневую кашу, не рассыпчатую, а чуть размазную, и не со шкварками сала, а с топленным маслом, которое он любил больше. А так как каши все же не было, то он достал из кармана кусок хлеба, оставшийся от ужина, и начал неспешно его жевать, прикидывая в то же время, какие ему к зиме дадут валенки — белые или черные? Он уже слышал, что как только падет снег, так и будет переобмундировка. И ему хотелось белые валенки, а от полушубка он может отказаться, если дадут меховой жилет. Конечно, меховые жиле-

ты дают только командирам. Да вдруг останутся? Не возить же назад. Ну, полушубок тоже, в конце концов, подходящее дело — пусть будет полушубок...

Пришел Ионенко.

— Ну как, спят макаронники?

— Спят.

— Валяй и ты посвисти носом.

— А можно мне тут остаться? За компанию.

— За компанию — это к пиву хорошо и прочему напиту. А вот ухаживать — тут одному лучше. И на посту тоже.

— Да я молча.

— Вроде чучела, значит... Молча все едино где — что тут, что у блиндажа. Ты с Максимом иди потолкуй, около печки страждет. Трудной жизни человек, придавило его, как ежа сосной.

— Семейным всем хуже.

— Не скажи. Каждая беда в своем весе ходит. И человек человеку большая разница. На одном и кол пополам ломается, другого прутом зашибить можно. Заломова под расстрел поставь, так он чего-нибудь отколет, а говорить неумоготу — язык покажет. Так что...

Чем еще напугивал бы Снегирева Ионенко, осталось неизвестным, так как события приняли новый оборот. Метрах в пятидесяти от окопов, в ничейной полосе, распарывая чернильную темноту, взметнулся треугольник света, и тут же ухнул взрыв. Это было тем более удивительно, что не было слышно ни самолетов, ни артиллерийского выстрела, ни шурханья снаряда на излете. Будто сама земля выпалила в небо. И вслед за взрывом погустевшую от всплеска пламени темноту прорезал хрипящий и прерывистый, страшный крик, которого, казалось, человеческим горлом издать невозможно:

— Аа-и-аа-и-аа!..

От этого крика, темного, бессознательного, когда против боли и смерти протесует уже не разум, а сама погибающая, разодранная, исходящая кровью плоть, сами собой начинали пошевеливаться волосы на голове. Он звучал там, впереди, но отдавался в каждой живой душе, будоражил ее, ошеломлял, всколыхивал чувство животного страха, идущего через бесчисленные поколения от самой древности. Так, вероятно, кричал какой-нибудь предок, застигнутый во сне хищным и беспощадным зве-

рем, кричал, чувствуя, как зубы и когти разрывают мягкие ткани живота, добираясь до внутренностей. А те, что слышали этот крик, еще теснее вжимались в свои логова и берлоги, ощущая на лице таинственное и леденящее дыхание ночи.

Взвод сорвался по тревоге, занял свои места. К Ионенко и Снегиреву прибежал Останцев.

— Что у вас тут?

— Кто его знает,— почему-то совсем тихо ответил Ионенко.

Темнота продолжала стонать:

— А-а-а-а-а...

— Не наш?

— Наши все тут. Да если бы наш, в словах бы сказался.

— Это верно, «братцы» бы крикнул, что ли.

— Стало быть, не наш.

В мелкой мороси намокшая трава не шуршала под ветром, все звуки степи погасли, и оттого стон, начавшийся звериным криком и все более переходящий в скорбную жалобу, один заполнял все невидимое пространство между черным небом и черной землей.

— Итальянский разведчик на mine подорвался,— предположил Останцев.— Наши позавчера ставили.

— Или перебежчик.

— В какую даль помирать занесло!

— Сидел бы в своем Риме. Говорят, красивый город.

— Не все и они в Риме живут. Крестьянствуют тоже.

— Так и жил бы при своей земле.

— А если погнали человека? Фашисты — они не церемонятся.

— Вытащить бы, а? Жалко все же.

— А как нас убивать — не жалко?

— Это верно... Ну, тут особое дело.

— А как ты его вытащишь? Мины ведь. Саперы разве что, так и они в такую прорву не полезут.

— А вдруг не разведчик и не перебежчик? — засомневался Останцев.

— Кто же?

— Сапер итальянский... Пришел проходы разминировать для атаки...

— Да-а, это соображение...

— Смотрите-ка тут в оба, я пошлю связного к ротному...

Не спали ни на той, ни на этой стороне. Но молчали. Тревожно и выжидающе. Кто бы ни подорвался из итальянцев, об этом знали немногие, другим оставалось гадать: что произошло и что последует? Кто-то не вынес безвестности, к низким облакам взлетела осветительная ракета. Ее дрожащий свет в первое мгновение заставил зажмурить глаза. На следующие несколько секунд стала видна бурая, в мокрых отсветах степь, зеленоватое пятно проплясало на плачущих облаках, а затем словно захлопнулась крышка колодца и стало еще острее ощущение сырости. А стон, слабея, ввинчивался в уши, рождая странную для такого места жалость.

— А-а-а-а...

Придавленный угольной тьмой в намокшей бурой траве одиноко и беспомощно переходил в небытие человек. Что делал он в жизни? Пахал, стоял у станка, торговал, ходил в учреждение? О чем мечтал? Кого покидает на земле — старых родителей, невесту, жену, детей? Добрым был или злым? Умным или глупым? О чем думал, вступая в полосу земли, где на каждом шагу смерть, смерть, смерть? Сотни людей, выскочив спросонья в грязные окопы, задавали себе эти вопросы, слушая стон, и жалели погибающего, и не имели возможности, не могли ничем помочь или даже облегчить муки его. Все они уже убивали сами и видели убитых, но бывало это в противоборстве, в ожесточении — или ты, или я! — и потому уже не потрясало воображения, становилось, вопреки нравственным установлениям мирного времени, будничным делом. Эта же гибель во тьме обособлялась от всех других своей горькой неприкаянностью и потерянностью, снимая гипноз массовых убийств, возвращала человека к человеку. Побуждала к лихорадочным размышлениям.

— Вот тебе и возлюби ближнего своего... Церквей понастроили, проповеди читали, а...

— Бандита за одну жертву судили, а тут...

— Кто войну затеял, на его бы место...

— Вот что значит по чужую землю пошел...

И неотвратимое, холодящее каждого:

— А завтра, быть может, и я...

Ионенко обернулся на всхлипывания: Снегирев пла-

кал, сунув локти на грязный бруствер и уткнув лицо в ладони. Стало муторно и самому, подумал: «Господи, кончилось бы уже, что ли!» Он положил руку на вздрагивающее плечо Снегирева, но ничего не сказал — что тут было говорить? Подошел Постников, тоже стал рядом. Молча. И так стояли на своих местах Сыромятников и Луцилин, Останцев и Заломов, и старшина, который «шипел», выдавая гранаты, и подносчики, и все на участке роты и даже батальона.

То же было и у итальянцев, и там солдаты, взводные, ротные ловили этот затихающий в жалобе голос жизни, уходящий в сырость и мглу.

— А-а-а...

— А-а...

И казалось, что это уже стонет не человек, брошенный всеми, а сама земля, израненная, изрытая, расколоченная за лето минами и снарядами, освистанная пулями и обвита бомбами, — темная, мокрая, голая, сиротливая земля войны, жалуясь на неразумие людей, которых она сама породила. Десятки миллионов лет шлифовала она трудным опытом лучшее свое произведение — человека и не нашла защиты от сумасшедших и маньяков...

Прошла еще минута, две, три. Было около полуночи. И чьи-то нервы не выдержали: брызнула пулеметная очередь, за ней еще и еще, ударили минометы, взлетело несколько осветительных ракет, багровый свет заплясал на облаках, и все вошло в привычную норму — норму войны...

Двести пятьдесят тысяч — четверть миллиона! — итальянцев сидели на Дону в дивизиях «Сфорцеско», «Пассубио», «Торино», «Челере» «Кассерия», в бригадах чернорубашечников. На них быстро надвигалась катастрофа, но, пораженные слепотой самоуверенности, убаюканные обещаниями Гитлера, итальянские генералы не видели ее.

Четырнадцатого ноября 1942 года командующий итальянскими войсками генерал Мессе докладывал итальянскому министру иностранных дел: «...большевики не имеют достаточно сил, чтобы предпринять действия крупного калибра».

Двенадцатого ноября 1942 года в германском генштабе была дана следующая характеристика состояния советских войск между Доном и Волгой: «Пока еще не вполне выяснилась общая картина группировок противника по месту, времени и масштабам... Для развертывания широких операций противник, по-видимому, не располагает достаточным количеством сил».

Девятнадцатого ноября 1942 года с плацдарма от Еланской до Серафимовича и Клетской, а через день от Волги, со стороны Рынок — Сарпинские озера, советские войска перешли в контрнаступление с ближайшей задачей окружения сталинградской группировки немцев. После этого удара у гитлеровской военной машины навсегда была выбита передняя скорость. Остался только задний ход.

«Армия разваливалась с нарастающей быстротой — она не представляла собой большие военной силы, а была лишь массой измученных людей, которым день приносил еще большие муки. И я вновь и вновь задавал себе вопрос: ради чего приносятся эти кровавые жертвы, за что мы платим столь дорогой ценой, обрекая на верную смерть наших людей?»

Мы сеяли горе и смерть, и сейчас они безжалостно повернулись против нас самих. Степь у Дона и Волги впитала в себя потоки драгоценной человеческой крови. Здесь нашли свою могилу сотни тысяч людей: немцы, румыны, итальянцы, русские и представители других советских народов. Русские тоже, безусловно, принесли чудовищно высокие кровавые жертвы в этой жестокой Сталинградской битве. Но они, защищая свою родину от чужеземных захватчиков, знали, за что они отдавали свои жизни».

Иоаким Видер, «Катастрофа на Волге.
Из воспоминаний офицера-разведчика
6-й армии Паулюса»

«Шестнадцатого декабря советские войска отпихнули фронт итальянской армии. Семнадцатого декабря развалился весь фронт, а восемнадцатого

к югу от Богучара сомкнулось кольцо сил, действовавших с запада и с востока... Многие штабы стали сниматься с места, теряя всякую связь с войсками. Части, атакованные танками, пытались спастись бегством врасеянную... Артиллерия и автомашины были брошены. Многие офицеры срывали с себя знаки различия, солдаты бросали пулеметы, винтовки, снаряжение, всякая связь с войсками оказалась порванной...»

Джусто Толлои, майор при штабе
8-й итальянской армии

БЕЛЫЙ
АНГЕЛ
В
ПОЛЕ...

— Ч то там, Марчелло?
— Снег, господин майор.
— Все еще идет?
— Идет.

— Сильный?
— Пылит, как на мельнице.
— А мороз?
— Бодрящий, господин майор.
— Точнее нельзя?
— На двух ногах не постоишь. Приходится поднимать то одну, то другую.

— Я спрашиваю — какой мороз?
— Для русских, господин майор, это, наверное, наплевать. А наша итальянская армия, так думаю, занимается сейчас утренней гимнастикой: шаг на месте, правой, левой, руки в стороны, руки вперед. Только вверх нельзя — русские поняли бы это как сдачу в плен.

— Ладно, дай умыться...

Марчелло Пасторелли пошучивал, по обыкновению, и даже тонкие губы складывались в улыбку, обнажая металлический зуб, и черные маслянистые глаза щурились, а на самом деле его томили тревожные предчувствия. Они появились давно, наполнили неощутительно и усилились с тех пор, когда крепкие, синеватого свечения заморозки

прибелели редкую, с лета выжженную траву на высотах. А пожалуй, что и раньше — когда над Доном стали всплывать густые, серые понизу и осветленные сверху туманы. Рождаясь еще в предрассветных сумерках, в зеленоватой стеклянности воздуха и воды, они сложились полосами и пятнами, будто Дон подогрели снизу, вроде котелка кофе; к восходу солнца уплотнились, текли, похожие на дымовую завесу. Все левобережье с полями, логами, перелесками, станицами, лежавшими в ясную погоду как на ладони, исчезало; становилось похоже, что землю разломали, будто буханку казацкого хлеба, и одна половина провалилась в тартарары, а другая с ними, итальянцами, и несколькими дивизиями русских на плацдарме осталась. И начинало мерещиться, что там, за туманом, сходные с привидениями, движутся русские солдаты в белых балахонах и несутся белые же, облитые известкой танки, — им, итальянцам, говорили, что такая тут война зимой. Подумать только! И вся эта чертовщина мало того что заставляла скрести затылок, но и снилась по ночам, когда он ворочался на своей земляной лежанке в тамбуре комбатовского блиндажа, прижимая солому и натягивая на голову жидкое солдатское одеяло, сквозь которое, если бы спать на улице, можно было считать звезды на небе. При этом вспоминалось Марчелло, как еще в поезде, по пути на фронт, командир второй роты, красивый и разбитной туринец, сердцеед с тонкими усиками, посмеивался над поваром, вопреки обыкновению тощим и длинным малым с меланхолическими телячьими глазами.

— Ты, Пьетро, — говорил комроты, — очень неудобен в качестве кавалера. Девушке придется смотреть на тебя, как на вершину Пизанской башни.

— Я женат, господин лейтенант.

— Но зато, я думаю, тебя удобно будет спасать в бою.

— Что значит — спасать? — тревожился повар.

— Ну, на войне всякое бывает.. Например, когда ты попадешь под русский танк и он перережет тебя пополам, я могу две твои половинки на одном плече донести до госпиталя. Придется только проследить, чтобы в спешке не пришили голову к ногам.

— Этого не может быть, господин лейтенант.

— Почему?

— Я все время слушал немецкие сообщения — у русских уже не осталось танков.

— Ну, хоть один они, наверное, сохранили. Специально для такого случая...

Веселая была перепалка, вспоминал Марчелло. И ехали хорошо — ветер, солнце, широкая, просторная земля, впереди Кавказ, где, как рассказывали, прекрасные горы, виноградники и море. У офицеров уже и карты на руках. Но среди ночи их внезапно выгрузили в каком-то городке, которого они и рассмотреть не успели, и потащили по пыльной дороге, и вот — загнали в казацкую степь. Вагонные же шуточки кончились и того хуже: длинный повар, правда, жив, варит свои дрянные супы, а командира роты, туринца с тоненькими усиками, изрешетило осколками снаряда, и он умер еще до того, как фельдшер успел развернуть свои бинты. Уже тут, на Дону, им говорили, что русские практически разбиты, война продлится еще месяц, в худшем случае два, да и то она мало будет их касаться, им предстоит нести, в сущности, почти караульную службу — сиди на высоченных правобережных кручах, отделенных от еле живого противника мощной и быстрой рекой, поглядывай, постреливай для острастки. Старые офицеры, совершавшие еще поход в Абиссинию, а позже в Албанию, были недовольны, ворчали: «Воевать так воевать! В сторожа мы могли и дома наняться...» Но теперь и у них настроение начинает подкисать, и многие уже предстали перед лицом всевышнего, война же не затихает, а ожесточается, и пошли эти странные, какие-то фантастические туманы, а за ними заморозки; выглянешь утром, а холмы сизые, присыпаны солью, те же, что и вчера как будто, и не те. Правда, заморозки все же повеселее туманов, не было на глазах текучего бельма, видно, что все еще на своем месте — река, леса за рекой, дали. И пахло свежо, сухим листом и яблоками, и земля под ногу ложилась легко, похрустывала. И все же командир артиллерийского дивизиона майор Чезаре Боттони, завернув однажды в гости к майору Дзотто, ткнул Марчелло в живот, ухмыльнулся:

— Это тебе повестка от генерала Зимы!

— Пусть распишется генерал Пеллегрини! — отшутился Марчелло. — Меня дома нету.

— Ничего, Марчелло, тут каждому своя. Никому не отвертеться.

— Мне обещали победу до конца лета, господин майор.

— Победа — особа капризная, Марчелло.

— Что верно, то верно, господин майор. Это вроде невесты, так я понимаю: и твоя она уже, а пока до церкви доведешь, разориться можно. А то еще и в церкви могут увести — есть такие ловкачи.

— Ну, ты все же держи язык за зубами. А то вот скажу комбату — пошлет он тебя в окопы...

Но Чезаре Боттони, конечно, шутил. Он не воспринимал разглагольствования Марчелло всерьез — ни он, ни другие. Будучи сметливым, Марчелло еще в юности заметил: люди, которые с улыбкой и как бы в простоте душевной перчат, соблюдая меру, свою речь острыми намеками, поначалу, конечно, получают щелчки, но зато потом жить им становится куда легче, чем другим. Их охотнее берут на работу, потому что они вносят бодрость и оживление; с ними больше дружат, потому что минута веселья полезнее двух чашек кофе; им многое прощают, потому что считают их простаками, у которых все на виду. Это помогало Марчелло ладить с соседями, когда он жил в деревне. Это помогало и тогда, когда, поскольку он становился лишним ртом в семье — подрастали еще две девочки и младший брат, — ему пришлось перебраться с побережья Аbruцц в Милан. Старый знакомый отца порекомендовал его продавцом в магазин велосипедов, и, хотя охотников на эту работу было сколько угодно, взяли его — хозяин с первых слов почувствовал к нему симпатию и доверие. Только спросил: «А как у тебя с политикой?» — «Политика, господин Ангвиларра, вроде шестерни — сунь палец, а оторвет руку, — сказал Марчелло. — Для обращения с ней надо иметь большой ум и образование, а мне это не по карману!» Лучше этого и придумать ничего нельзя было — хозяин сам увлекался политикой и ответ Марчелло проглотил, как оливку в масле. Но Марчелло и в самом деле так думал — нет, не в отношении ума и образования, кое-чего он нахватался и соображать умел, а в отношении остального: даже от маленькой политики рано или поздно бывают большие неприятности, пусть ею занимаются те, у кого в жизни ничего не получается, а он и так устроится. Лучше жить с оглядкой на деvушек, чем на тюрьму!

Кажущейся простоватостью и веселым нравом — вме-

сте с умением делать еще и множество самых разнообразных вещей, чему деревня учит лучше, чем город,— понравился Марчелло и командиру саперного батальона Дзотто, и, вместо того чтобы ползать брюхом по земле и сдирать ногти на пальцах, выковыривая чужие мины и ставя свои, он прижился в комбатовском блиндаже. Угрызения совести за товарищей, с которыми он вместе призывался и хлебал из одного котла и которые теперь, неделями не умытые — воды-то поблизости не было! — и зачуханные, маялись в окопах на переднем крае, его не волновали. Кому-нибудь надо быть там, кому-нибудь тут! Маслинам на дереве тоже солнца достается не одинаково — одна на свету, другая в тени. Выжить старается каждый, он тоже — только и всего. И выживет. И женится на Аннине из цветочного магазина — все обговорено, только квартирки нет, но за этот срок она там может и подыскать. Если бы не призыв в армию, у него, пожалуй, уже бегал бы и «марчелленок», дергал бы отца за усы. Что хитрого? Взял бы и отпустил для солидности... К сожалению, усы-то отпустить можно и сейчас, а с остальным придется потерпеть. И уж теперь трудно сказать сколько. Лето кончилось. И поплыли туманы. И потом ударили заморозки. И наконец — дождались! — пошел снег.

Темно-серые облака с ночи низко надвинулись на холмы, землю словно обрезали со всех сторон до размеров донца для кадки. К обеду поднялся, заскулил и засипел ветер, чертя белые косые линии, полетели первые снежинки. К вечеру же, свиваясь в жгуты, завихряясь воронками, закрутила метель. Снег был сухой, мелкий, под ветром перемешивался с морозной черноземной пылью, и степь все не хотела менять своего цвета, выглядела облезлой, как лошадь во время линьки. И майор Дзотто, сутуловатый, с тяжелыми руками, долго сипел своей полупогасшей трубкой, вглядываясь в это нечто, тоскливое, смутное и холодное, обволакивавшее, казалось, весь мир. Он тоже никогда не видел такого серого и однообразного куска земли, сливавшегося с серым небом во что-то невообразимо тревожное и печальное.

— Зима, господин майор, — сказал тогда нарочито безразличным тоном Марчелло.

— Да, Марчелло, кажется, зима.

— Вам, господин майор, хорошо, если только кажется. А у меня ноги заледенели и нос щиплет.

— Привыкай.

— А у нас в Милане сейчас благодать: тепло, в фруктовую или овощную лавку зайдешь — дух захватывает и в глазах пестрит. Вспомнишь, и то челюсти начинают сами собой ходить.

— Домой захотел, Марчелло?

— Домой все хотят, господин майор.

— Ничего, успеем.

— Я хотел бы успеть пораньше, господин майор. Чем раньше, тем надежнее и тем больше мне достанется.

— Если, Марчелло, ты вообще хочешь попасть домой, то запаси лучше дров. Иначе мы с тобой в холодной землянке наживем чахотку.

Марчелло не зря нажимал на слово «зима» — ему хотелось услышать что-либо утешительное, ну, хотя бы, на худой конец, то, что им выдадут теплое белье и обмундирование. На передовой говорят, что русским уже выдали. Но он ничего не узнал и лишь с огорчением представил, как ему придется ночью ходить в хутор доламывать сарай. Раньше он изображал из себя только водовоза — ходил с канистрами по воду в хутор, в степи ее не было. Потом, когда ночи посвежели, приходилось таскать еще и хворост из казацких плетней — старый, пролежавший многие годы, он был легок, хорошо ломался и весело горел. Теперь хворостом не обойтись, теперь надо быть и водовозом, и дровосеком, и клячей одновременно — выдирать из стен слежавшиеся в глиняных пазах корявые бревна, таскать на себе и потом без конца тюкать выщербленным топором. Но его земляк и приятель, посыльный из роты, бойкий чумазый солдат в истерзанной шинелишке, вроде даже упрекнул его:

— Богато живешь! От жары, наверное, кость тает.

— Не завидуй, от зависти худеют.

— Так ведь дровами топите!

— А у вас нету?

— У нас бурьян. Мокрый.

— Да, бурьяном не нагреешься.

— И днем топить нельзя. Снарядами по дыму бьют.

— Теперь ночи длинные. Как дорога до Милана.

— Ночью и топим. С августа...

Упоминание об августе не понравилось Марчелло. Это все равно что дьявол к ночи. Тогда, в августе, русские форсировали Дон, и от всей дивизии «Челере» мало что

осталось. На рассвете тряхнули, а к вечеру все рассыпалось. Батальон майора Дзотто уцелел только потому, что стоял во втором эшелоне дивизии, и то им пришлось участвовать в контратаках и потом целый день ставить кресты на могилках. Из тех же бревнышек, выдранных в скотном сарае. После этого им дали передохнуть и закрепили за другой дивизией. Между тем дела шли хуже да хуже. Прежде в небе весь день висела немецкая авиация, истребители, как из лейки, поливали пулями русские окопы. Итальянские солдаты, заслышав гул моторов, издеваясь, кричали: «Рус, воздух!» А русские, вжатые в землю, и ответить ничего не могли — ругались в кулак. И артиллерия русских прежде была внизу за Доном — что они оттуда могли видеть? Они, итальянцы, даже в ближнем тылу ходили днем целыми ротами в колоннах. Как на учениях под Миланом. И ничего. К осени же понемногу все менялось и менялось, с каждым днем все чаще рыскали над передним краем итальянцев истребители и штурмовики со звездами, и теперь уже русские, завидев свои самолеты, заходящие на обработку итальянских позиций, высывались из окопов, швыряли вверх пилотки от радости, насмехались: «Муссолино, воздух!» И они, итальянцы, изображали из себя сусликов. Но и этим не кончилось — с августа русская артиллерия вынесла свои «глаза» на высоты. Прежде окапывались кое-как, создавали оборону на скорую руку — все равно сидеть недолго; теперь — шкура-то дорога! — все глубже залезали в землю, прокладывая бесконечные ходы сообщения, и на руках солдат, прорываясь, чавкали кровавые мозоли, и обмундирование заскорузло, и в окопах до ночи стали сидеть без горячего — попробуй сунуться с подносной! И в тылу один идешь — не зевай, ямку наглядывай, чтобы плюхнуться в нее, даже если там вода. Лежишь ничком, а за воротник жижга, потом чистить весь день.

— Марчелло!

— Да, господин майор!

— Ты льешь мне не на руки, а на ботинки.

— Виноват, господин майор!

— Досматриваешь сон, что ли?

— Спаси дева Мария, сон, который мне снился, господин майор, ни один умный человек досматривать не стал бы.

— Что же тебе такое особенное снилось?

— Сибирь, господин майор! Будто я в лесу добываю дрова, а ко мне подходит белый медведь и — трах меня лапой прямо в живот. Спаси дева Мария! Но это, господин майор, свалился со стены карабин. Наверное, я задел его рукой.

— Напугали, видно, тебя русские.

— Неприятные люди, господин майор. А ведь я им ничего плохого еще не сделал.

— Ну, плетни и сарай разорял, да вот еще стол, стулья, кровать для меня у них отобрал. Поймают — в самом деле не миновать тебе Сибири.

— Так это немцы виноваты, господин майор, обещали войну кончить летом и не кончили. И нас подвели.

— Хватит болтать! Да, пока метель, печку можно топить и днем.

— После завтрака разожгу...

Но первая метель еще не была зимой. Она продолжалась больше двух суток, потом повеяло теплом, выкатилось солнце, и снег растаял. Все обрадовались. Оказалось, напрасно: образовалась такая непролазная грязь, что фронт влип в нее, как в жидкий асфальт. В окопы натекала вода, под ногами чавкало даже в землянке. И хотя сделанную из бензиновой бочки печь жарко топили на ночь, удовольствия получалось мало: стены блестящие масляной влагой, воздух был сырой, парной. Днем же, когда все остывало, от всего, даже от лежанки под одеялом, веяло загробной сыростью и по лицу Христа на распятии, висевшем в изголовье комбатовской кровати с металлическими шарами — ее-то Марчелло сам и притащил из хутора, — по лицу Христа ползли холодные, тусклые слезы. Раньше Марчелло даже не представлял себе, что может быть такая всепроникающая грязь и сырость, столько холодной воды не нужно ни земле, ни людям. Для чего небо так поступает? Поуменьшило бы здесь да прибавило бы в Сицилии или Африке — там спасибо сказали бы. И вообще, если уж миром и людьми кто-то правит, пора бы навести порядок. А то вот и война, и вода, и холод — все сразу, и за все одно только утешение — передовая в такую погоду затихала, постреливала лишь артиллерия, и то редко и вяло, будто со скуки. Чезаре Боттони объяснил это так: «Легче довести снаряды от Рима до Миллерова, чем от Миллерова до нас по такой прорве».

Но наконец легла зима. Совсем. Сначала снег шел при оттепели, крупный и медленный, как в кино. Красиво и торжественно. К ночи же мороз усилился, подул ветер и в степи застонало, завывало. До зубной боли. Майор Дзотто, тревожимый вьюгой и воем, несколько раз за ночь вставал, спрашивал у начальника штаба, есть ли связь с полком. Что нового? Очевидно, побаивался какой-либо каверзы со стороны русских: о них говорили, что чем погода хуже, то им и лучше. У них дети, играя, по целым дням барахтаются в сугробах, ходят на лыжах, как только встают на ноги. Впрочем, и при всякой другой погоде они проникают в итальянские тылы и немало уже итальянских солдат уволокли, как волки овец из стада. А вот итальянцы уже несколько месяцев не могут взять «языка», довольствуются редкими перебежчиками, которых сманивают обещаниями «беспрепятственно пропустить домой». Правда, домой никого не пускают: одних, если подозревают в них лазутчиков, расстреливают, других отправляют на тыловые работы — копать щели при штабах, чинить дороги... На этот раз комбат беспокоился напрасно — слышался вой вьюги, иногда взлетала на передовой осветительная ракета, которая ничего осветить не могла и рождала лишь тусклое пятно света, порой итальянский солдат спронежя выпускал пулеметную очередь. И ничего больше. Русские молчали, словно их тут никогда и не было. Утром — метель продолжала крутить и выть, даже как будто входила во вкус, — позвонил командир пехотного полка и попросил заминировать склон высоты, казавшийся ему опасным.

— Мин нет, — ответил майор Дзотто.

— Почему нет?

— Потому, очевидно, что собирались наступать, а не обороняться. Но есть миноискатели.

— Попрошу без шуток!

— Какие там шулки, господин полковник...

Вечером в гости к Дзотто пришли Чезаре Боттони и командир полковой разведки Джейнаре Дзаваттини. Решили сыграть в карты, но четвертого партнера не было. Позвали врача. Открыли две банки консервов, распили бутылку вина из старого запаса. Прежде Марчелло, прислуживая офицерам на таких встречах, думал о чем-нибудь своем — об Аннине, о кинотеатрах, в которые изредка ходил, о лотереях, в которых никогда не выигры-

вал, о тысячах мелочей, которые мелькали незаметно, как пылинки на ветру, но из которых складывалась достаточно интересная, по его мнению, жизнь. В этот вечер, слыша над головой посвист вьюги, он внимательно прислушивался к разговорам офицеров, надеясь выудить из них что-либо утешительное. Но разговоры эти тоже были минорнее даже, чем после августовского поражения, за которое немцы их презирали, а румыны над ними посмеивались. Нет, невеселые были разговоры!

— Один мой римский приятель, господа,— сказал Чезаре Боттони,— прислал мне вырезку из какого-то журнальчика. Стихи. Он считает, что они написаны специально в утешение нам. Не угодно ли послушать? Вот:

Белый ангел ходит в поле белом,
Тихо веки павшему герою
Закрывает белыми перстами.
Путь земной окончил он победой
И уходит в небеса над ними,
Чтоб оттуда при луне и звездах,
При пылающем в зените солнце
Видеть поступь римских легионов,
Добывающих в бою победу.

— Идиотизм! — рассердился врач.— Смерть как физическое явление одинаково неприглядна что в госпитале, что в поле.

— Не понимаю, почему у него солнце в зените,— заметил Дзотто.— Здесь оно даже летом его не достигает.

— В зените оно бывает в Африке,— поддакнул врач.

— Но, господа, тогда и ангел у него должен быть желтым! — язвительно продолжал Боттони.— Под цвет песка.

— Желтый ангел ходит в поле желтом! — засмеялся врач.— Для Африки тоже подойдет, надо исправить всего одну первую строчку.

— Между прочим, солнце у нас тут в самом деле ходит с каждым днем все ниже и ниже.

— Ничего, наши головы не заденет. К тому же оно почти все время за облаками.

— Для голов найдется что-либо попроще.

— Да, затягивается дело.

— Пора бы Паулюсу кончать под Сталинградом.

— Видимо, не от него это зависит.

— А от кого?

— От русских.

— Неужели нам здесь придется зимовать?

— Спаси и помилуй!

— Тогда русские выпускают свое главное оружие — мороз.

— Оставим, господа, эти сказки для недорослей! — вспыхнул Чезаре Боттони. — Я не политик, я кадровый военный и говорю вам: наступать зимой на подготовленную оборону ничуть не легче, чем летом. К тому же русские в августе задали нам трепку и отняли плацдарм, а Паулюс так за три месяца и не взял Сталинграда. Мороз, жара, насморк у Наполеона, неблагоприятное стечение светил... Все это придумывается битыми генералами и канонизируется неумными историками.

— Температура тела у русских, — напомнил врач, — такая же, как у нас. Тридцать шесть и шесть десятых градуса.

— Но они тепло одеты и техника их лучше приспособлена к климату, — заметил разведчик.

— Значит, они достаточно умны и организованны. И лучше заботятся о своих людях... А нас послали хлебать суп из чужого котла, но дырявой ложкой...

— Это уже политика, господа, — попытался притушить страсти майор Дзотто. — К тому же летнюю кампанию планировали немцы, а не мы.

— Немцы! — фыркнул Боттони. — Они вроде того дровосека: вобьют клин, а потом кряхтят — ни расколоть, ни вытащить.

— Между прочим, я слышал, что у румын плохо, — сказал Боттони. — Собирают в нейтральной полосе колоски пшеницы и варят кашу. Можно себе представить их боеспособность!

— Трудности снабжения...

— У русских тоже трудности, ближайшая железнодорожная станция чуть не за двести километров.

— Послушайте, знает кто-нибудь из вас способ немедленно кончить войну? — спросил врач. — Нет? Тогда не стоит чесать болячки на языке, давайте о чем-нибудь другом. Вот был я недавно в армейском госпитале, такую мадонну встретил!..

И после этого начался обычный мужской треп. «Собачий треп», как называл его Марчелло. Скабрзные истории и допотопные анекдоты. Подавать больше было

нечего, и он смотрел на пламя в печке. Оно всегда умиротворяет, напоминает лето, мигание свечей в соборе, спелые апельсины, отсветы миланского заката в стеклах витрин и автомобилей. Если бы ему сказали сейчас: «Знаешь, Марчелло, вот тебе кусок хлеба, и топай пешком до Милана!» — он и за ухом не почесал бы, а встал и пошел. Даже побежал бы, сколько хватило сил. И не оглянулся бы. На что тут оглядываться? На эту конуру в земле? На могилки с крестами? На окопы, в которых мерзнут, ругаются и ждут неизвестно чего солдаты? С иными уже разговаривать боязно — в политику лезут. А на фронте с таким делом просто: взяли и увели — и как в воду канул. Некоторые и к русским перебегают, а там тоже — расстрел или Сибирь. Как в каменном туннеле получается: справа стена, слева стена, свернуть некуда, иди, и все. И даже офицеры приуныли, не знают: впереди-то что?..

— Марчелло!

— Да, господин майор?

— Ты что-нибудь слышишь?

— Слышу.

— Что?

— Белый ангел, господин майор. Ходит в поле. Тот, про которого вчера говорил господин Боттони.

— Перестань болтать и прислушайся!

— Слушаю.

— Ну?

— Кажется, что-то гудит.

— Самолеты?

— В такую погоду, господин майор! Они себе пропелеры поломают об эти холмы.

— Убери воду и полотенце, пошли...

В блиндаже все звуки глохли и перемешивались. Когда вышли в траншею, стало ясно — это не самолеты. Это артиллерийский гул, идущий откуда-то справа. Майор Дзотто посмотрел на часы — семь тридцать. Вероятно, в предрассветных сумерках — ночь начинала подтаивать медленно, задолго до восхода солнца, — в предрассветных сумерках видны были бы и зарницы, если бы их не съедала меловая муть. Но кто ведет огонь? Что происходит? Марчелло вспомнил одну фразу из вчерашнего разговора офицеров: «Нам предложено экономить боепри-

пасы». Кто же это отказался от экономии?.. Из штабного блиндажа, встревоженный канонадой, пришел капитан Антонио Чекки. Худой, с заостренными скулами и темно-серыми навывкате глазами, Антонио Чекки был предметным воплощением меланхолического спокойствия. Вероятно, свою роль в этом играли и его склонности — он был призван в армию из Римского университета, со второго курса математического факультета, и все свободное время возился с цифрами и формулами, используя для этого свою записную книжку, отработанные карты, сигаретные пачки, поля на страницах старых журналов, обрывки бумаги и даже свежий снег. Говорят, что он пытался подсчитать общий, «в среднем», вес снарядов, мин и пуль, выпускаемых на их участках фронта ежедневно двумя сторонами, процент относительных к общей массе населения потерь среди итальянцев и русских, количество земли, вынудой итальянцами при строительстве оборонительных линий после августовского поражения, сколько армия выпивает воды из расчета полутора литров на человека и сколько выкуривает сигарет, если принять, что из десяти человек один некурящий, а из тридцати один увлекается трубкой. Над ним посмеивались: «Наш арифмометр», — но относились к нему с уважением, считали, что «он свое возьмет».

Дзотто перекинулся с Антонио несколькими словами: «Связь есть?» — «Есть». — «Что происходит?» — «Предположительно — атака русских в стык нашей и румынской армий». — «Цель?» — «Вероятнее всего, крупная разведка боем». Затем сели пить кофе, вода для которого уже закипала.

— Ну, как тебе нравится эта музыка? — спросил у Марчелло майор Дзотто, когда первая нервная вспышка угасла и все начинало входить в будничную колею. — У тебя есть свое мнение, стратег?

— Об этом следует спросить тех, кто под нее пляшет, — вздохнул Марчелло.

— Похоже, русские собираются прощупать, что у тебя в ранце. Слишком ты его набил на безбедной жизни.

— Из-за моего ранца, господин майор, им не стоит поднимать такого шума. Я им и так могу показать, если попросят по-хорошему.

— И все-таки боишься?

— Я боюсь, господин майор, что, войдя в азарт, они прихватят и мою голову.

— Думаешь, что она дороже ранца?

— Спаси, дева Мария! Нет! Но ранец могут выдать другой, а голову вряд ли... Ни одна резьба не подойдет...

После завтрака Антонио Чекки ушел в штаб, обещав немедленно сообщить, если будет что новое. А майор Дзотто, ощущая, как нарастает в нем неясная тревога, расстелил на столе карту юга России. Выцветшую и запачканную слева в углу фиолетовыми чернилами, он снял ее со стены в станичной школе и для себя лично наносил на ней общую обстановку по сообщениям радио и газет. «Масштаб для командующего фронтом,— пошутил однажды по этому поводу Чезаре Боттони.— Готовишься к повышению?» Но сам, между прочим, не раз разглядывал ее, и с интересом. Сейчас, отметив предположительное место боя, майор Дзотто пытался уяснить его возможное значение. Однако никаких оснований для беспокойства не ощутил: от Дона, возле которого они сейчас стояли, до низовья Волги и Кавказского хребта лежал степной океан, заполненный немцами. Было безумием думать, что, вклинившись с небольшого плацдарма в этот гигантский массив немецких войск, можно рассчитывать на какой-либо успех. Как бы ни были честолюбивы планы русских, они понесли летом огромные потери в людях и технике, а к тому же и теперь не могут оторвать щупалец Паулюса от Сталинграда, где он выкачивает из них последние соки. Местная операция, захват выгодной высоты — еще куда ни шло, но наступать без двойного и тройного численного превосходства — самоубийство. Невозможное невозможно!

И в самом деле, часам к девяти канонада справа стала как будто стихать. Но в девять, мешая небо с землей, уже по переднему краю итальянцев ударили «катюши» и артиллерия, а тяжелые снаряды стали залетать на позиции Чезаре Боттони и дальше в тыл. Тогда майор Дзотто, поручив Марчелло на случай внезапных перемещений уложить вещи, бросился в штаб батальона. И сразу получил приказ — выслать одну роту в распоряжение командира полка, который просил у него перед этим заминировать склон высоты, и остальным составом организовать оборону в районе своего командного пункта, прикрыв позиции дивизиона Чезаре Боттони на случай

вклинения отдельных групп противника. Это уже пахло скверно. С уходящей ротой он послал Антонио Чекки, а сам с командиром оставшейся уточнял задачу.

Марчелло спешил, его подгонял страх. Ему казалось, что нет ничего страшнее, чем оставаться в таком положении одному, да еще в блиндаже — огонек в лампе судорожно покачивался и коптил, земля ощутимо дрожала, когда он брал со стола кружку, чтобы убрать ее в ранец, по воде шла мелкая рябь. Воображение рисовало ему заключительную картину: дверь распахивается от удара, и в блиндаж летит русская граната... Когда вещи были собраны, чемодан и ранец упакованы, он сперва вознамеривался взять их с собой, но потом раздумал — на это приказа не было. И, пробкой вылетев из блиндажа, пригибаясь в мелком ходе сообщения, затрусил в штаб, находившийся по соседству, метрах в двадцати пяти. То, что он пригibalся без нужды — бои шли все еще далеко, — могло вызвать улыбки и насмешки, но он подумал: «Лучше смех, чем снаряд!»

— Вещи собраны, — доложил он майору Дзотто.

— Хорошо.

— Может, перенести их в штаб?

— Если хочешь быть расстрелянным... Увидят — подумают, что мы с тобой уже бежим...

Прошло, вероятно, часа полтора или два. Батареи Боттони за это время несколько раз открывали огонь и замолкали снова. Потом оборвалась связь — сколько ни кричал и ни дул в трубку телефонист, она молчала, будто другой конец провода уходил в могилу. А затем из устья балки, растекаясь по обоим ее склонам, вырвались на высоты русские танки. Теоретически это могло быть только сном, а не явью: лед на Дону тонок даже для машин, кручи справа в расположении русского плацдарма подходили здесь к реке, проехать там могла разве что телега. Именно потому, в полном согласии с инжслужбой, они и не ставили по этой проклятой балке протivotанковых мин. Не летают же у них танки по воздуху! И все же они были здесь. И не белые, к удивлению Марчелло, а серые. На передовой, хотя и разрозненно, еще тарахтели пулеметы и автоматы, а здесь, в полковых тылах, начиналось черт знает что. Танки обходили командный пункт Дзотто слева во фланг артиллерийским позициям, — вероятно, русские хорошо знали, где что лежит у итальянцев. Артил-

леристы Чезаре Боттони лихорадочно разворачивали свои орудия, но гаубицы против танков не самое лучшее оружие, к тому же вести огонь могла практически только левофланговая батарея. Ее орудия сбили с одного танка десант пехоты, высекли искры из башни второго, и он, почувствовав опасность, — сдали у экипажа нервы! — резко отвернул. Наконец артиллеристы добились и зримого успеха: один из танков, разворачиваясь, замедлил скорость и подставил бок, снаряд проломил броню. Раздался взрыв, тяжелая башня, подпрыгнув, отлетела метров на десять, и через края открывшегося отверстия, пятная снег, повалил черный жирный дым.

А затем оставшиеся танки растерзали и дивизион Чезаре Боттони, и саперов майора Дзотто. Рев моторов, выстрелы в упор, пулеметные очереди, ляг гусениц и скрежет железа о железо. Земля была мерзлой, не обрушивалась, артиллеристы и саперы могли бы еще спастись в своих изолированных окопах — ходов сообщения так и не сделали, считали излишними! — но десанты автоматчиков превратили все в хаос. Итальянцы не знали, куда стрелять, потому что русские были и впереди, и позади, и справа, и слева, забрасывали окопы гранатами, захлестывали автоматными очередями, а саперы и артиллеристы были вооружены карабинами. Когда танки ушли, на позициях артиллерийского дивизиона остались только исковерканные лафеты, и вдавленные в землю стволы, и еще во всем поле зрения темные пятна, и чадающий черным дымом сгоревший танк. Он был как гибнущий корабль — уже мертвый, но все еще на плаву...

— Что будем делать? — спросил побелевшими губами начальник штаба.

— Молиться, — сказал майор Дзотто. — За тех, кто еще в живых.

— Может быть, отходить?

— Под гусеницы? Нам надо продержаться до вечера — дни теперь короткие. И пошлите кого-нибудь в штаб дивизии, один может пробраться...

И они протянули до вечера. Нет, не батальон, не рота, а только трое из штаба: майор Дзотто, Марчелло и писарь. Впрочем, писаря можно было не считать уже — он был еще жив, но в беспмятстве, минуты его были сочтены. За это время мимо них в тыл прошло еще десятка полтора русских танков, вторым эшелонам, несколько раз

справа и слева накоротке вскипала автоматнo-ружейная перестрелка. Тяжелым снарядом, неизвестно откуда залетевшим, была вдавлена в землю крыша штабного блиндажа — только смертельно раненного писаря выбросило в траншею. Дзотто и Марчелло уцелели лишь потому, что находились в это время в самом конце траншеи, за поворотом: командир саперного батальона хотел своими глазами до конца видеть все. Позже левее их, по танковому следу, проходили группы русской пехоты, но на обрушенный штабной блиндаж они не обращали внимания — мало ли вокруг воронок!

Снег, днем редкий, создавший только дымку, к вечеру опять стал гуще. Степь опустела и постепенно принимала ровный серовато-белый цвет, словно с утра ничего не изменилось.

— Сняли, как пешку с шахматной доски, — сокрушенно сказал Дзотто.

— Что вы говорите? — не расслышал Марчелло.

— Ничего. Я говорю, бросай карабин, и пошли.

— Как так — бросить карабин?

— Так, в снег.

— Вы серьезно, господин майор?

— Вполне. Если нарвемся на русских, лучше быть без оружия. Один в поле не воин.

— А ваш чемодан? Я схожу.

— К черту чемодан!

— Извините, господин майор, но там все ваши вещи... Разрешите хоть мне взять мой ранец, я переложу в него табак и часть белья.

— Кретин!.. Ты что, ничего не понимаешь?

Марчелло даже вздрогнул, как от выстрела над ухом: прежде майор никогда на него не ругался. И все же он не оставил намерения сходить за своим ранцем, чтобы тут же и догнать майора, но в это время справа от них, метрах в ста или чуть побольше, взлетела осветительная ракета, за ней другая. Кто выпускал эти жалкие перед бездонной белой мутью шарики света? Раненый итальянец в качестве сигнала бедствия и призыва на помощь? Или от нечего делать какое-нибудь отставшее подразделение русских? Это было такой же тайной, как рождение и смерть звезд во вселенной, тайной, которую человек пока не в силах разгадать, потому что не может приблизиться к ним. Тут также была безвестность и смертельная опас-

ность, и майор Дзотто, убедившись, что писарь уже начинает остывать, приказал Марчелло следовать за собой, выскочил из хода сообщения и пошел в направлении ближайшего хутора. Только когда они, вспотев и успокоившись, убавили шаг, Марчелло вспомнил:

— Господин майор, мы забыли распятие.

— Что?

— Распятие Иисуса Христа. Что над вашей кроватью.

— Ну и что же?

— Оно попадет в плен к безбожникам.

— Не в плен, Марчелло, в руки.

— Это все равно, господин майор.

— Так чего же ты хочешь? Вернуться?

— Я боюсь, что там уже русские.

— Вероятно. Так чего скулишь?

— Я думаю, это плохой знак.

— Безусловно. У нас сегодня все знаки плохие.

— Хорошим знаком было бы, если бы мы нашли распятие или иконку.

— Еще лучше, если бы у нас были танки и не русские разбили нас, а мы русских. А теперь у них будет не только распятие, но и хороший ночлег — еда, готовые дрова, постели.

— Им-то повезло, господин майор, что и говорить.

— Ты, Марчелло, думал когда-нибудь, что такое жизнь?

— Думал, господин майор. Только не понравилось мне это занятие — голова болит, а толку никакого. Всегда приходится больше делать то, что надо другим, а не тебе. Вот и нынче тоже — собирался печку как следует вытопить, в тепле посидеть, а русские выгнали на мороз...

Возле хутора Дзотто и Марчелло наткнулись на группу итальянцев. Это были Чезаре Боттони с тремя уцелевшими артиллеристами. Левая рука у Боттони висела на перевязи, но он сказал, что, вероятно, рана неопасная, мелкий осколок. Офицеры отошли в сторонку, чтобы поговорить без свидетелей, а Марчелло подошел к артиллеристам — они стояли нахохленные, измученные, один из них только в мундире — шинель потерял. Кто-то из них сделал попытку закурить, но другой предостерег:

— Брось. Пристукнут.

— Ты думаешь?

— Кругом Иваны.

- Не видеть.
- Увидишь — поздно будет.
- Верно. Утром увидели, а потом...
- Вот жизнь — покурить нельзя.
- Курение вредит здоровью,— вступил в разговор Марчелло.— Врачи говорят.
- А война?
- Война тренирует волю солдата — так пишут в газетах. Кроме того, свежий воздух...
- Брось трепаться... Что же с нами будет?
- Поесть бы...
- Ты бы шинелишку надел,— сказал Марчелло солдату в мундире.— Кишки отморозишь.
- Дашь — надену.
- Я тебе не интендантство... Возьми любую с убитого — столько их в степи валяется.
- Неудобно вроде. Свои ведь.
- Ну и осел. Им на небесах тепло, а нам тут еще мыкаться...

Чезаре Боттони и Дзотто пытались уяснить обстановку, но никто ничего не знал.

— Нас прикончили так, что мы не успели даже крикнуть «мама»,— сказал Боттони.

— Я видел, Чезаре. У нас не лучше. И Антонио нет.

— Как раз перед атакой танков я получил приказ сменить позиции, занять оборону в районе штаба дивизии. Понимаешь, что это значит?

Чезаре Боттони послал двух своих солдат на разведку. Те вскоре вернулись, сообщили: русских в хуторе нет, на окраине, в предпоследнем доме, находятся остатки штаба дивизии. В самом деле, там оказался офицер разведки с двумя солдатами, картограф и командир взвода охраны с четырьмя солдатами. Выполняя приказ, они дожигали штабные документы — в широкой казацкой печи било пламя и крутились хлопья раскаленного бумажного пепла. И заодно кипятилась в ведре вода для кофе. После потусторонне серого рассвета с вулканическим гулом канонады, после ужасов танковой атаки и блужданий в снегопаде тепло и свет действовали расслабляюще, и Чезаре Боттони сказал, что им, пожалуй, следует заночевать.

— И проснуться со штыком у горла! — фыркнул офицер разведки.

— Они не станут наступать ночью,— сказал Чезаре Боттони.— Их солдаты тоже не железные.

— Начали же они наступать в такую погоду. О русских никогда не скажешь, что они сделают, а что нет.

— Это блеф,— не согласился Дзотто.— Они подставляют бока Паулюсу...

— Или садятся ему на загривок... Это с какой стороны смотреть!

— Плевать мне на Паулюса и его загривок, если гибнет наша дивизия...

После небольшой, но горячей перепалки, в которой артиллерист стал обвинять разведчиков в слепоте, а командование в спячке, решили все же идти. Пospорили из-за дороги: артиллерист предлагал держать путь на Кружилин, по торной дороге, разведчик же настаивал, что именно торная дорога всего опаснее; раз уж русские совершили прорыв, они оседлают ее танками и будут держать открытой для машин. Остановились на компромиссе: идти осторожно, если до рассвета почему-либо Кружилина не достигнут, свернут правее. Справа от них стояли немецкие части, и боя там как будто не было.

Сначала им повезло: в километре от хутора они встретили колонну немцев численностью до роты. Немцы шли, натянув на уши пилотки и подняв воротники шинелей, отчего солдаты, вдобавок залеplенные влажным снегом, выглядели по-бабьи. Шли хотя и не на передовую, а в тыл, но организованно и при оружии. Обер-лейтенант, к которому обратился Чезаре Боттони, объяснил:

— Отступаем по приказу. Итальянцы и румыны открыли русским путь в наш тыл.

— Не мы открыли, а нас открыли! — вспыхнул Боттони.— Мою артиллерию передавили русские танки.

— Надо уметь стрелять.

— А где были немецкие танки? Где авиация? Вы не оказали нам поддержки, бросили одних.

— Господа, нам не до ссор,— примиряюще сказал Дзотто.— У нас один противник и одни задачи.

Немец смягчился:

— Ничего, завтра все поставим на свое место.

— А чего, как вы думаете, добиваются русские?

— Это ясно — хотя бы временно перерезать пути снабжения Паулюса в излучине, чтобы ослабить последний наш удар по Сталинграду. Воспользовались метелью,

когда наша авиация не может работать. Мелкая авантюра.

— Пока они имеют успех.

— На один день. За счет внезапности.

— Спасибо за информацию...

Обер-лейтенант посмотрел на часы со светящимися стрелками, подал команду: «Марш! Быстрее!» И через две минуты немцев словно и вовсе не было — растворились в белой мгле. Но итальянцев подбодрила и самоуверенность обер-лейтенанта, и то, что немцы не понесли потерь и организованно отходят на новый рубеж. Значит, дела еще не так плохи, как показалось. Однако длилось это недолго — позади нарастал и нарастал медленный моторный гул. Ни выстрелов, ни ракет, ни одной искорки света, только этот ровный, даже какой-то чересчур деловитый гуд. Свои? Чужие? На танки не похоже.

На всякий случай отошли с дороги в устье небольшой балки, поросшее не то какой-то дурной высокой травой, не то кустарником. Вскоре на дороге появились тягачи с тяжелой артиллерией. Рокочущие, темные, с размытыми контурами, словно бы совсем без людей, сами по себе ползли машина за машиной, как доисторические чудовища с толстыми длинными хоботами, судорожно вытянутыми в одну прямую линию. Колонна оказалась большой, растянувшейся больше чем на километр. За пушками, иногда прибуковывая на свежем снегу, пошли грузовики с крытыми брезентом платформами, тоже, казалось, совершенно безлюдные. И это безлюдье и размеренное их шествие из тьмы во тьму нагоняло оторопь, было страшнее по своим неисповедимым последствиям, чем атака танков на живом поле боя.

— Мне бы все это, — пробормотал с завистью Чезаре Боттони.

— Что ты говоришь, Чезаре? — спросил Дзотто.

— Ничего. Это русские.

— Да, русские.

— Кто-то говорил, что они не воюют ночью, — зло фыркнул офицер разведки.

— Не задирайтесь, — посоветовал Дзотто.

— Значит, все, левое плечо вперед! — скомандовал Боттони. — Если русские перерезают поперек излучину, надо уходить в направлении Миллерова.

— Посмотреть бы по карте. Фонаря ни у кого нет?

— У меня карта в голове. Со всеми подробностями. А компас можно присвечивать зажигалкой...

Но компас компасом, а местность местностью — снег был неглубок, но вязок и скользок, то и дело попадались овраги с крутыми склонами, и приходилось идти либо по ним, следуя всем прихотливым извивам, либо обходить, да еще тщательно присматриваясь, куда ставить ногу. Иначе можно было сорваться и покатиться с определенным риском свернуть шею. Марчелло шел за офицером разведки, поджарым, размашистым в шагу, как волк. В желудке у него урчало от голода, глаза слезились от белой мути — все казалось, что перед ним повесили ки-сею, хотелось полоснуть по ней ножом, протаранить головой, но она все время отступала ровно настолько, насколько подвигался он, — глаза слезились, а в ботинках чавкало от воды и пота. И все мерещилось, что беззвучные, на лыжах, то справа, то слева, то впереди мелькают и исчезают русские солдаты в белых балахонах. Он даже пытался уловить шелест снега или звяканье оружия, уши ломило от напряжения, но слышал он лишь тяжелое дыхание идущего следом майора Дзотто и чертыхание Чезаре Боттони. И при всем том его не покидало ощущение, что прямо ему в спину нацелены огромные ледяные, со снежком по верхней кромке, стволы пушек. Плетутся вот они, все дальше уходя от Дона, но и пушки движутся тоже — ловят жерлами ветер, медленно поворачиваются, выжидая своего часа... брр! Ударит внезапно среди ночи — от одного грохота сердце через горло наружу выскочит. И некуда от них деться, будут так двигаться ночь, две... всю жизнь: вернешься после войны домой, закроешь перед сном глаза и — вот они, вырисовываются из белой мглы, лезут, лезут, и по спине ледяное дыхание стали... Марчелло попытался подбодрить себя, отвлечься от этого ужасного видения, старался думать о Милане, о полдне на винограднике у отца, когда ягоды просвечиваются чуть не насквозь и холодная вода из кувшина льется в горло с кошачьим мурлыканьем, о теплом плече Аннины — смуглая кожа вздрагивала, когда он прикасался к нему впервые, о магазине велосипедов, где всегда пахло лаком и в полутьме маняще поблескивали спицы и рули, старался, но ничего не получалось: и Милан, и вся Италия, и вся его прошлая жизнь были такими невообразимо далекими, что их как бы и вовсе не существовало.

Реальностью были туманы, грязь, снег и эти ползущие в ночь безлюдные русские орудия...

Часа через три они наткнулись на большую скирду пшеницы, и Чезаре Боттони заявил, что, если хотят, пусть его пристрелят, но дальше он без передышки идти не может — его «кукла», раненая рука, домотала последние силы.

— Мышеловка! — фыркнул офицер связи, имея в виду скирду.

— Боюсь, что мышеловкой может для нас оказаться вся донская излучина, — заметил Боттони. — Но лучше три опасности в тепле, чем одна такая же на холоде.

— Не спешите, майор, с пророчествами, — соблюдая субординацию, но неприязненно сказал офицер разведки. — Разгром одной части — еще не проигрыш сражения. У нас целая армия, не считая немцев и румын.

— Ладно, — устало согласился Боттони, — пусть даже так. Но я просто не могу идти дальше.

— А мы можем.

— Вы хорошо поели на хуторе. В этом прекраснейшем из миров многие сложные вещи объясняются довольно просто...

Так они и разделились: офицер разведки, штабисты и солдаты ушли, а они остались — Дзотто, Боттони, Марчелло и пожилой картограф, который натер ногу. Марчелло, выросший в крестьянской семье, не имел дела с пшеницей, только с виноградом, капустой, луком и помидорами, но обладал присущей земледельцу сметкой — обдирая руки, так как скирда после оттепелей и морозов поверху обледенела, он выбрал, выскреб в ней углубление, похожее на устье казацкой печки. Пшеница оказалась необмолоченной — сеяли ее русские до летнего наступления немцев, жали девчонки и старухи по принуждению немецких тыловиков, а вывезти и обмолотить не успели: Паулюс снова и снова требовал боеприпасов, продовольствия, пополнений, железная дорога на Сталинград работала плохо, машин не хватало, а осенняя грязь и снегопады еще больше осложнили дело.

Внутри логова пахло свежо и остро летним полем, зерном, землей и легкой прелью — всем сразу. Хорошо пахло сельским покоем. А не тухлятиной сгоревшего пороха, не смазочным маслом и железом. Пшеничные усы раз-

дражали щекоткой, словно вокруг роились бесчисленные комары и мухи, но вскоре, сморенные теплом, все уснули, даже майор Боттони со своей «куклой». Только Марчелло, угреваясь, некоторое время продолжал размышлять — ему не давал покоя запах зерна... Вот пропадает огромная скирда пшеницы. Если бы ее обмолотить, то, например, семья его отца года два могла бы жить да поживать, не дуя в ус. А сколько их, таких скирд, в этой снежной степи? Летом, глядя на лоснящиеся под ветром поля, — словно они были смазаны жиром! — он думал: «Тут, Марчелло, с пустым брюхом ходить не будешь!» Поражал чернозем, тучный, вязкий, толщиной в автомобильный скат, а может, и больше — кусок бы такой земли семье отца. Да и он сам, Марчелло, не отказался бы, не так уж это и весело — продавать и чинить велосипеды. Построил бы домик, обнес изгородью, и ходила бы его Аннина белая и пышная, на постели не разобрать, где зад и где подушка. Правда, когда началась зима, он переменял мнение — нет, им, итальянцам, такая земля не подходит, слишком тут холодно и сыро. Другое дело немцы — у них у самих такая же. Ну, пусть бы и воевали за эту землю сами, а дуче лучше подобрал бы им что-либо другое, в Африке, например. Хотя он лично в Африке тоже не хотел бы жить — пустыня, жара, безводье... Разбудил его толчок в бок:

- Марчелло!
- Да, господин майор.
- Высунь голову и осторожно посмотри, что там.
- Смотрю, господин майор.
- Ну?
- Снег перестал. А небо серое.
- Русских не видно?
- Никого не видно.
- Холодно?
- Морозит, господин майор.
- Чезаре, ты не спишь?
- Нет.
- Что будем делать?
- Завтракать.
- Но у нас ничего нет.
- У меня есть галеты и две банки консервов, — сказал картограф. — Все равно уж...

Рассвет сочился медленно, словно в чернила по капле прибавляли молоко, и самым странным было то, что нигде не слышалось ни одного выстрела. Можно было подумать, что все происшедшее за сутки им всего-навсего приснилось, только какой-то восточный джинн переброшил их из блиндажей в скирду. После мизерного — «поптичьи», сказал Марчелло, — завтрака Чезаре Боттони предложил выходить на дорогу.

— По снегу мы долго не протянем.

— Пить хочется, — вздохнул Дзотто.

— Вода под ногами, — усмехнулся Боттони. — Бери и ешь!

— А потом воспаление легких.

— А русские едят!

— Действительно, странно, — заметил картограф, — воды по щиколотку, а подохнешь от жажды...

И все же есть снег не решился никто.

Картограф действительно хорошо ориентировался по воображаемой карте, и вскоре они вышли на довольно укатанную, обставленную вежами с пучками соломы дорогу. И немного повеселели — сперва она была пустынна, даже еще не наследили на ней, а потом впереди из степи по пологой балке вытянулась группа немцев — около сотни солдат, несколько подвод и две небольшие пушки на конной тяге. Они не знали, те ли это немцы, которых они встретили вчера, и решили держаться от них на некоторой дистанции, чтобы не слушать насмешек и не ввязываться в ссору. И это их спасло. Шел первый час, когда позади послышался гул танковых моторов. Как люди, получившие накануне жестокий урок, они решили не рисковать и, сойдя с дороги, спрятались в небольшой размоине неподалеку от кювета, зарывшись в снег — его сюда набило по пояс.

А немцы продолжали идти. Самоуверенные, еще не битые, они, видимо, целиком полагались на обстановку, которую им сообщили, отдавая приказ, и считали, что никаких, кроме немецких, танков здесь быть не может. Свои меняют позиции или прочесывают местность — только и всего. Тем более что нигде никакого боя — тишина, тишина, тишина. И совсем по-мирному буднично серый, с оттенком синевы к горизонту день и размытые контуры крыш и деревьев в километрах в трех впереди...

И эта тишина, будничность и мягкая, успокаивающая размытость предметов в совокупности с излишней самоуверенностью стали для немцев погубелью: они слишком поздно распознали, что это не их, а русские танки, и совершили еще более грубую ошибку, решив встретить их огнем. Часть солдат молниеносно отцепила пушки от передков, остальные залегли прямо на дороге, так и не получив команды рассредоточиться для боя. Да если бы и получили, выполнять ее было поздно. Пушки успели сделать выстрелов шесть, один русский танк, очевидно, был поврежден, потому что, раза два развернувшись с ходу вокруг собственной оси, остановился и открыл пулеметный и орудийный огонь с места. Зато остальные — их было восемнадцать или двадцать — резко увеличили скорость, в облаках снега и красных мигающих вспышках вынеслись к дороге. Некоторое время за вихрями и бурунами снега итальянцы ничего не видели, но через считанные минуты танки, забрав экипаж с подбитого, снова рассредоточиваясь, вынырнули уже дальше. Спешили, видимо, спешили. Дорога уже была мертва, только в степи темнело десятка полтора одиночных фигур да продолжала нелепыми скачками бежать, иногда по брюхо проваливаясь в рытвины и старые воронки, рыжая лошадь с орудийным передком. Убедившись, что все кончено, итальянцы подошли к месту побоища. Там были только мертвые и несколько раненых, которым не мог уже помочь и господь бог. Возле раздавленной пушки лежал обер-лейтенант с расплюснутыми гусеницей ногами, рядом с ним и дальше — солдаты, тоже раздавленные, изрешеченные пулями и осколками. Зрелище было таким страшным, что картографа вырвало — он перегибался в конвульсиях, выплевывая в кювет зеленоватую слюну. Чувствуя, как в нем тоже поднимается тошнота и спазмы дергают горло, Марчелло шагал с полузакрытыми глазами, наступая на полы шинелей, на ноги убитых, скользя в красном месиве снега. Он хотел, но не мог даже молиться, а только повторял мысленно: «Спаси нас, дева Мария! Спаси нас, дева Мария!» А когда побоище прошли и первое потрясение схлынуло, он услышал злое бормотание Чезаре Боттони:

Белый ангел ходит в поле белом,
Тихо веки павшему герою
Закрывает белыми перстами.

— Не кощунствуй, Цезаре, — устало сказал Дзотто.

— Разве это я кощунствую? Это тот сукин сын, который писал стихи, макая перо в елейное масло и розовые сопли. И этот дурак обер-лейтенант, который думал, что немцы сделаны из железа и весь мир у них под каблучком. И с такими мы собирались одержать победу во славу Италии!

— А мы?

— Что — мы?

— И мы болваны, если с ними связались.

— Да, пожалуй.

— А русские дерутся беспощадно.

— Они, видишь ли, никак не могут догадаться, что мы пришли помогать нянчить их детей... Ты ведь читал немецкие сводки, Дзотто, знаешь, с каким смаком расписывалось в них уничтожение русских дивизий и целых армий. Чего же ты хочешь?

— Ничего я не хочу... Я понемногу начинаю думать, что просчитались и мы и немцы — у русских солдаты и танки растут, как грибы после дождя. Теперь я лучше понимаю трагедию Наполеона.

— Давай оставим историю и подумаем, как нам лучше двигаться. Идти по этой дороге — все равно что в готовую могилу.

— Что ж, пойдём степью. Там видно будет...

Так они и шли до вечера, стараясь держаться низин, кустарников, ложков, зарываясь в снег при малейшем звуке мотора, даже если это был самолет, идущий за облаками. Гибель немецкой роты, бессмысленная и мгновенная, придавила мысли и чувства настолько, что не хотелось даже разговаривать.

Ночь они провели на каком-то хуторе в стороне от магистральной. И снова все было тихо. Казачка, повязанная до бровей темным платком, то ли от женской жалости, то ли из опасения перед офицерами покорно сварила им кашу и согрела воду для чая. Все это молча, с печальным и осуждающим видом. А пока она хлопотала, в люльке заходился криком пятимесячный ее ребенок — он родился в поле, куда ее выгнал на работу немецкий староста, и пуповину ему отрезали хлебным ножом, прокалив его на костерке. Марчелло, представив, что у Аннины родился сын, подумал: вот так бы кричал, а отца черт знает где носит. А затем со вздохом уточнил: у этого отец скоро

дома будет, а доберется ли он домой — никакая гадалка не скажет. Ну, может, и хорошо, что нет у него сына — меньше сирот на свете... После ужина Марчелло с пистолетом, который дал ему на всякий случай Боттони, стоял в охране на крыльце. Небо прояснялось, в разрывах облаков стали проступать звезды, но одновременно усилился мороз. Вскоре над головой появились самолеты, их становилось с каждым часом все больше, густо-синяя под звездами степь металлически звенела от горизонта до горизонта, как колокол. Чьи это самолеты? Куда и для чего тащатся они ночью? Неизвестно. И Марчелло это не понравилось, он тихонько, чтобы не будить остальных, доложил обо всем Дзотто, но майор Боттони тоже услышал и предложил собираться.

— Днем мы будем как зайцы на мушке, — сказал он. — С воздуха тут на сто верст видно...

В самом деле, идти было хорошо — снег подмерз, ноги не скользили. Прямо белый асфальт! Но зато в летних ботинках отчаянно мерзли ноги, и у Боттони все больше разбалкивалась «кукла» — раненая рука. Он ругался сквозь зубы, пытался приладить ее поудобнее, но ничего не помогало. Часов в десять утра мимо них, обгоняя, протарахтел немецкий грузовик с посеченными пулями капотом и бортами. Итальянцы отчаянно кричали, прося подвезти, размахивали руками, но сидевший в кабине немецкий офицер даже не повернул головы. «За всех бог, — второй раз за эти дни подумал Марчелло, — а люди каждый сам за себя». Это было философически утешительно, но в то же время он ощущал, как растет его ненависть к немцам и раздражение к тем, кто загнал их сюда.

Он всегда сторонился политики, всю жизнь, но теперь начинал приходить к выводу, что Муссолини совершил ошибку, заключив союз с Гитлером. На черта им сдались немцы, эти заносчивые солдафоны? Обошлись бы и без них. А теперь вот подставили итальянцев под удар русских, а сами разъезжают на машинах и даже разговаривать не хотят.

В середине дня, когда они обходили небольшой хутор, приютившийся у замерзшей речонки, Чезаре Боттони заявил, что, если бы сюда сию минуту нагрянула вся русская армия, он все равно должен напиться и обогреться. Поколебавшись и не раз осмотревшись, они зашли в край-

нюю хату, в первой ее половине застали только совсем седого сухонького казака в старых штанах с до того выцветшим и замусоленным лампасом, что он уже едва различался. Старик, подшивавший детский валенок куском старого войлока, смотрел на них спокойно и с достоинством, но Марчелло мог поклясться, что в его выцветших глазах под припухлыми веками плясала усмешка. Напившись и согрившись, майор Дзотто почувствовал, как его неудержимо клонит в сон, и предложил двигаться. Но Чезаре Боттони, нехотя поднявшись и уже сделав несколько шагов к двери, вдруг вернулся и снова сел к столу.

— Я не пойду дальше, Дзотто. В моем положении это бессмысленно.

— Почему?

— Так я никогда не дойду ни до какого госпиталя. Рука немеет от мороза. К тому же у меня в этих ботинках коченеют и ноги. Лучше не жить совсем, чем жить обрубком.

— Но здесь с минуты на минуту могут быть русские.

— Ну что ж, они мне продырявили руку, они пусть и лечат,— невесело пошутил Боттони.

— Но русские расстреливают пленных или угоняют в Сибирь.

— Ты это сам видел?

— Об этом пишут газеты.

— Немецкие. А ты видел, как ведут себя немцы. Я их ненавижу, Дзотто, и не желаю больше связываться с ними.

— Я, пожалуй, тоже останусь,— сказал картограф.— Все это не по моим силам...

Казалось, майор Дзотто тоже колеблется, но это продолжалось мгновение. Торопливо застегнув шинель, он протянул Боттони и картографу слегка дрожащую руку.

— Что ж, прощайте... Испытаем каждый свою судьбу по-своему. Может быть, когда-нибудь еще и увидимся, а скорее всего — нет...

Пока шел этот разговор, Марчелло лихорадочно размышлял. Уйти? Остаться? Уйти? Остаться? Если бы, черт побери, не эта Сибирь!.. Врал он майору, что она ему снилась, но ведь на самом-то деле она существует... Впрочем, может, майор Боттони что-нибудь в самом деле знает,

ведь он офицер? Уйти? Остаться? Уйти? Остаться?.. Но когда Дзотто стал прощаться, он решил окончательно: нет, майора Дзотто он не может покинуть одного. Это было бы не по-товарищески, а кроме того, может быть, именно благодаря доброте майора Дзотто он и остался пока что в живых? Его земляки из роты давно коченеют в снегу там, позади...

Удрученные потерей товарищей, они тем не менее продвигались теперь быстрее — не надо было подлаживаться ни под раненого Боттони, ни под пожилого картографа. Наступили сумерки — они шли. В разрывах облаков замерцали звезды, хищные, холодные, — они шли. И только около полуночи, когда, решив переночевать, свернули к крайним домам какого-то хутора, их остановил немецкий патруль. Оказалось, что в темноте они не разглядели — это был не хутор, а большая станица. Патруль тут же доставил их в штаб. Там их с помощью переводчика допросил немецкий полковник, усталый и брюзгливый, с белым косым шрамом на странно маленьком подбородке при длинном бледном лице. Не дослушав их эпопеи, он приказал им следовать в итальянский сводный батальон.

— Вас проводят.

— Мы почти сутки не ели, — сказал майор Дзотто.

— Кормить итальянских офицеров и солдат — дело итальянцев, — сухо отозвался полковник.

Подумав еще секунды три, спросил:

— Ваш солдат бросил оружие на поле боя?

— Оружие итальянских солдат — дело итальянцев, господин полковник, — сухо ответил Дзотто.

— Солдат, бросивший оружие на поле боя, подлежит суду и расстрелу, как дезертир.

Поглядев бесстрастно, как на вещь, на Марчелло, который съежился под этим взглядом и уже начал жалеть, что не остался с Чезаре Боттони, полковник кивнул:

— Идите...

Командиром сводного итальянского батальона, сформированного из остатков разных частей, оказался подполковник. Он приказал покормить Дзотто и Марчелло — последнего увели на кухню — и, пока майор жадно ел холодную пшеничную кашу со следами консервов, рассказал доверительно, что, по сведениям, которые у него имеют-

ся, русские провели огромной силы удар, перерезая донскую излучину, окружая Паулюса,— хотя неизвестно, что из этого выйдет,— и нанесли невосполнимые потери итальянской армии, а также румынам и нескольким немецким дивизиям. Разведка прохлопала подготовку русских к наступлению, даже когда оно началось, все считали, что это прощупывание боем или операция местного значения. Здесь, в этой станице — он не может даже выговорить по-русски ее название, Хачары, Кашалы, Касары, черт ее знает, это не имеет значения,— немцы организовали заставу, назначив командиром полковника из разбитой дивизии, задерживают всех отступающих независимо от национальности и организуют узел сопротивления.

— Значит, положение дрянное,— констатировал Дзотто.

— Да. Фронт еще не стабилизировался.

— А здесь есть надежда удержаться?

— Кто знает? Пока что всех сил — батальон немцев, батальон итальянцев и роты две румын. И две немецкие батареи для борьбы с танками. Вавилонская башня. Хотите остаться у меня заместителем по инженерной части?

— Такой и должности нет...

— Не имеет значения, тут все — сплошная импровизация. В тыл идти все равно нельзя — можно нарваться на расстрел без суда за дезертирство. Учтите, теперь все в руках немцев. И они обозлены до предела.

— Ладно, только оставьте мне Марчелло,

— Хорошо.

В западном конце станицы дорогу пересекала речушка, вытекающая из большой балки. Справа от моста, если смотреть на север, шла ровная низина. Но в общем позиция была неплохая, особенно в силу того, что за мостом дорога плавно поднималась на увал и господствовала над местностью. Немецкий батальон занял ключевые позиции — за балкой, оседлав высоту и дорогу; итальянский — правее моста; две румынские роты, слабее вооруженные, — на склоне, в стыке итальянского и немецкого батальонов. Когда перед вечером майор Дзотто с Марчелло обходили позиции батальона, они наткнулись на картину, которая, помимо других размышлений, вызвала у них и злорадство: весь снег вокруг двух приземистых строений был засеян немецкими штабными бума-

гами, папками, рассыпанными карандашами, под рассеившейся стеной валялась пишущая машинка с оторванной кареткой, а чуть подалее — колеса и металлические части разнесенных в щепки грузовиков. «Ага, и немцам досталось!» — злорадно подумал Марчелло, но вслух ничего не сказал. Еще дальше, за строениями, в больших, специально открытых траншеях, виднелся склад горючего — команда немцев подновляла маскировку, раскиданную взрывом бомб. Склад горючего их не заинтересовал — в батальоне не было машин, — но по пачке малоформатной хорошей бумаги с водяным знаком свастики они взяли — Дзотто сунул в полевую сумку, а Марчелло прямо во внутренний карман шинели. Пригодится потом. Хотя бы письма писать. Ужинали они вместе в казацкой хате, где уже похозяйничал Марчелло. Настроение заметно улучшилось.

— Ну вот, Марчелло, у нас и опять оборона на водном рубеже, — пошутил Дзотто. — Как ты находишь?

— Я, господин майор, предпочел бы Дон, он пошире. А еще лучше Неаполитанский залив или, что было бы совсем отлично, Средиземное море!

— И тогда ты спал бы спокойнее, чем в той скирде пшеницы?

— Совершенно спокойно, господин майор. Особенно если бы на берегу сидели не мы с вами, а кое-кто другой. У нас в Милане много лоботрясов, которым полезно расстрелять жирок.

— Ничего, Марчелло, может, все и обойдется. Русские уже израсходовали свои небольшие резервы, а немцы подтягивают. Знаешь, откуда эти, что здесь?

— Из Германии, наверное, господин майор. В других местах немцы родятся, но не густо.

— Нет, Марчелло, не из Германии, а из-под Москвы. Совсем недавно переброшены.

— Вот это мне совсем не нравится, господин майор! Что же они из-под Москвы солдат перебрасывают сюда, а отсюда — под Москву? Иначе ведь получается так, что одну штанину обрезают, а другую надшивают. В таких штанах может ходить разве что клоун, а запросто ни один путный портной их и шить не возьмется...

Спрятанные под маску шутки опасения Марчелло оправдались раньше, чем он ожидал сам. На следующий

день их узел обороны подвергся жесточайшей бомбежке в одиннадцать утра и в час дня. Зенитной артиллерии не было, немецких истребителей тоже, русские самолеты делали что хотели. А перед вечером, и совсем не оттуда, откуда их ожидали, а чуть правее и с тыла, появились русские танки. Первый их удар пришелся как раз по немцам, которые и окопаться как следует не успели. Немцы не выдержали и сдвинулись вправо, смещав боевые порядки румын. Началась путаница и давка в мелких, по колено, окопах, и Марчелло видел сам, как разъяренный немецкий полковник, вынужденный пятиться к мосту, в упор застрелил румынского лейтенанта. Но это ничему не помогло, управление боем было сразу потеряно, и весь узел обороны растерт в крошево. Немцы бежали по балке в степь, а румыны и итальянцы частью хлынули назад, в станицу, откуда возврата, по-видимому, уже не было, частью же метались в низине, пытаясь добраться к логому на противоположной стороне. Пожалуй, будь здесь русская пехота, Марчелло сдался бы в плен, — хватит с него немцев с их собачьей войной! — но перед танком рук не подыметь, не успеют заметить, как разомнут гусеницами. Поэтому они с майором Дзотто, стараясь держаться в стороне от густой толпы солдат, также побежали вправо, к оврагу, видневшемуся по ту сторону низины.

Когда они, половину пути на четвереньках, выбрались к холмам на противоположной стороне низины, день уже начал мягко и медленно меркнуть, заволакиваться синевой. Передохнув, Дзотто и Марчелло перевалили покатый холм и стали спускаться к хутору, темневшему невдалеке низкими стенами и голыми деревьями. И тут откуда-то из степи ударила пулеметная очередь — неизвестно чья, неизвестно для чего. Бессмысленная, сумасшедшая очередь сумасшедшего, может быть, солдата, одного из сотен или тысяч тех, что бродили по степи, потеряв представление, где север и юг, где свои и чужие, куда идти и что делать. Свой не узнавал своего. Майор Дзотто, перегнувшись пополам и схватившись руками за живот, упал лицом в снег. Пуля попала в нижнюю часть живота, там, где обычно режут аппендицит. Крови было немного, но идти Дзотто уже не мог. Чувствуя, как от жалости и бесильной злости заволакиваются слезами глаза, Марчелло сделал неумелую перевязку и, уложив майора на свою

шинель, потащил его к хутору. Он обессилел за последние дни, сделал шагов десять — пятнадцать, садился прямо на снег передохнуть, перед глазами у него плясали красные искры. И весь мир на мгновение показался ему какой-то огромной клеткой или загонем, где гоняются друг за другом и друг друга убивают люди — кто кого успеет.

Отупевший, плохо сознавая, что делает и зачем, он все же добрался до крайнего дома, и тут ему невыносимо повезло: низко опустив голову, с обиндевелой гривой, возле плетня стояла брошенная лошадь, впряженная в румынскую крытую повозку, очень удобную по зимнему времени. Марчелло постучался в дверь дома, но ему никто не ответил. Тогда он набил в повозку старой, с запахом прели, едва ли не позапрошлогодней соломы, разрыв стожок на базу, уложил на нее майора Дзотто и двинулся по улице, решив не останавливаться, пока не найдет какого-либо госпиталя. Но не проехал он и ста метров, как из казацкой хаты с полбуханкой хлеба в руке выбежал румын, хватаясь за уздечку, стал что-то кричать. Румынский солдат не знал итальянского, Марчелло — румынского, и неизвестно, чем бы все кончилось, если бы Марчелло не показал рукой на повозку — посмотри сам! Увидев раненого офицера, румын сразу стих и, не говоря больше ни слова, пристроился рядом с Марчелло, махнул рукой — поехали!

Так они и двигались потихоньку — временами впадающий в беспамятство майор и два не понимающих друг друга солдата. Ночью натянуло облака, стало темнее, но вместе с тем и холоднее. Укутав майора Дзотто соломой, Марчелло ежился и дрожал в своей мокрой от снега шинели. Но еще хуже было с ногами — они коченели и коченели. Несколько раз он спрыгивал с повозки, шел пешком; и в самом деле, после нестерпимой боли в пальцах ноги как будто отходили, он снова чувствовал их. Но к полуночи силы его иссякли окончательно, он уже просто не мог идти, даже придерживаясь за телегу, и постепенно им стало овладевать полное безразличие ко всему, в том числе и к своим ногам. Румын толкал его в бок, чтобы он не уснул и не свалился под колеса, показывал жестами, что справа проходит большая дорога и им туда нельзя ни в коем случае, — крест из двух сложенных пальцев! — а надо держаться параллельно.

Эту дорогу они определили по гулу моторов, но перед рассветом все на несколько часов затихло, и они ошиблись и попали туда, куда как раз не собирались. То, что они увидели, повергло их в окончательное уныние и растерянность: на самой дороге и справа от нее, насколько хватал глаз, назад и вперед, стояли вперемежку, впритык друг к другу, итальянские и немецкие машины, орудия, румынские повозки с обрубленными постромками, снова машины и пушки, сползший в кювет тягач с прицепом, груженный снарядами — они высыпались и лежали, гладкие, как поросята, — и снова повозки, тягачи, машины, пушки. И среди них одна совсем диковинная, какой они никогда не только не видели, но и не представляли, — огромный многотонный лафет и отдельно от него, на особой платформе, длинный и толстый ствол, сквозь жерло которого свободно мог пролезть человек. Разглядывая это немыслимое скопище брошенной боевой техники, Марчелло пытался осмыслить всю непоправимость разгрома их армий, но румын все настойчивее толкал его в бок — надо опять убираться на глухие дороги...

Перед рассветом они свернули в небольшой сосновый лесок в ложбине. Посвистывал в поле ветер, дымилась поземка, а здесь было тихо и как будто теплее. Майор Дзотто уже не приходил в сознание, но еще был жив. Румын достал из кармана кусок мерзлого хлеба, взвесив его на темной, закопченной дымом костров руке, разломил пополам, и они немного поели. От хлеба ломило зубы, он даже похрустывал, но все же голодная боль в желудке прошла. Днем, когда поземка усилилась и как бы смыла все белой пеной, они даже осмелились разжечь костер и, греясь, дремали возле него. Однако пальцев на ногах Марчелло уже не чувствовал. Он даже не очень огорчался, подумал: «Вот и отвоевался». Румын жестами показывал, что надо растереть ноги снегом, спасение только в этом, но для Марчелло сама эта мысль показалась чудовищной — выгонять холод холодом? Непостижимо! Глядя в грустные черные глаза румына, он не мог заподозрить его в шутке или розыгрыше и решил, что, видимо, кто-то из них сходит с ума.

Вечером, перед тем как трогаться, румын долго смотрел на Марчелло, словно пытаясь прочесть его мысли, потом сказал:

— Антонеску капут!

Подумав, прибавил:

— Муссолино капут!

Видя, что его мысль не доходит до Марчелло, он поднял кверху руки, имитируя сдачу в плен, пояснил:

— Рус... топ-топ-топ!

Марчелло отрицательно покачал головой, показал рукой на Дзотто, на погоны, приставил палец к виску — он офицер, его расстреляют. Румын грустно вздохнул, полез в телегу — видимо, он готов был сдаться в плен, но один боялся или не хотел.

И они снова ехали всю ночь, и справа гудела дорога, и слева, в глубине степи, двигались параллельно им какие-то тени. Сознание постепенно тупело, перед Марчелло шли видения: туманы, заморозки, метель, танки на позициях дивизиона Чезаре Боттони, обмерзшая поверху скирда пшеницы, штабные бумаги на снегу, облака, лога, степь, распластанная под танковыми гусеницами немецкая рота, гигантская пушка, задрывшая к темному облачному горизонту обындевевший хобот, снова снег, балки, снег, свистящая возле окоченевших ног поземка — он уже утрачивал ощущение границы между явью и сном, мыслью и бредом. Ему казалось, что он, Марчелло, перестал быть самим собой, что, еще живой, растворяется, растекается по частям и смешивается с этой серой степью и серым небом...

Утром, когда рассвело, они наткнулись на полевой госпиталь. Полы в нем были мокры от снега, сквозь промерзшие окна пробивался тусклый, мертвенный свет.

Раненые — итальянцы, немцы, румыны — в истрепанных, обожженных, посеченных осколками шинелях, с грязными бинтами на головах, на ногах, на руках лежали вповалку в двух небольших комнатах и холодном, прохватываемом сквозняками из разбитых окон коридоре. Санитары в замызганных, заляпанных кровью халатах взяли в первую очередь майора Дзотто, затем под руки ввели Марчелло — сам идти он уже не мог. Через полтора часа его доставили в крохотную операционную, а когда уже к сумеркам он очнулся от наркоза на полу у окна, из которого нестерпимо дуло, он попытался пошевелить ногами, но пола шинели, которой они были прикрыты, оставалась неподвижной — у него не было ног, их отняли почти по

самые колени. «Что ж, война,— с каким-то вялым безразличием к себе подумал он.— И жениться мне уже не придется... прощай, Аннина». А затем уснул снова и, словно от удара, проснулся около полуночи — ноги, которых не было, нестерпимо болели, от окна еще острее тянуло холодом, и в госпитале шла нервозная суета. С трудом, при посредстве трех помощников, итальянца и двух румын, он допытался, что случилось с майором Дзотто.

— Умер до операции,— ответил санитар, вернувшись после того, как навел справки.— А мы сейчас будем грузиться на машины и уезжать: русские наступают...

Когда он ушел, итальянец из Сицилии сказал:

— Все это вранье, никуда мы больше не приедем. Я слышал, как один немецкий офицер говорил другому, что в тылу у нас русский кавалерийский корпус. Значит, вывезут нас и бросят в степи...

Но Марчелло и это уже не могло тронуть: мера его страданий перешла свой предел. Он закрыл глаза, чтобы не видеть дымного мигания коптилок, темного потолка, истрепанных шинелей и грязных бинтов, чтобы отгородиться от запаха крови, немых тел и хлороформа, и лишь в глубине его гаснущего сознания звучал злой и насмешливый голос Чезаре Боттони: «Белый ангел ходит в поле белом...» Что ж, пусть ходит... пусть ходит... пусть...

«В это же время войска 3-й гвардейской армии прорвали оборону врага на ворошиловградском направлении и вышли на подступы к Ворошиловграду».

Из «Истории Великой Отечественной войны».

Друг мой, друг мой, перед ненастьем
Руку теплую мне подай.

Дай мне руку и — будь что будет.
Вспомним юность в последний раз.
Пусть грядущее не осудит,
А поймет небезгрешных нас!

Из фронтового блокнота. 1943 г.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ ГУСАРА

О нем говорили в двух наклонениях — «Ох уж этот гусар!» или «Ого, это ж гусар!».

Кто первый придумал звание, неизвестно и значения не имеет, но оно подошло по мерке и прижилось. Среднего роста, походочка чуть вразвалку, светло-волосый, с резко очерченным загорелым лицом и серыми глазами навывкате, смелыми, бесцеремонными, он считался одним из лучших комбатов и ограниченным человеком, храбрецом и пустым малым — смотря по тому, под каким углом зрения судили. В бою бывал приподнято возбужден, дрался увлеченно и беспощадно, по службе требователен до придирчивости, в свободное время при каждом удобном случае готов был поволочиться за женщинами, любил и умел выпить, оживляясь, наливаясь рюмлянцем, но почти не хмелея. И откровенно скучал, когда при нем заводили речь о каких-либо серьезных проблемах бытия, позевывал, шлифовал перочинным ножом ногти, после ругался:

— Ну их к растакой, зря время потратил! Мое дело воевать, а всякой философией пусть занимаются те, кому положено.

Если возражали, — что, мол, знаешь, за плечами не носишь, — отмахивался:

— Каждому свое. Знаю одно — мы должны победить и победим. Пока с меня этой задачи хватит.

— Война не навечно. Кончится — куда подаваться будешь, какой дальний прицел берешь?

— Мой прицел — день да ночь, сутки-прочь... Ну, в генералы выбьюсь... В милицию пойду хулиганов крутить... Женюсь, роту гусариков намастерю. Там видно будет! Я человек легкий характером, подо все подходящий — мне перепадет, за мной не пропадет...

Из тяжелых летних боев на плацдармах, из похода через донскую излучину при метелях и морозах, днем и в ночи, с внезапными стычками в голой степи, когда пули скребут по обледенелой ушанке и нет ямки, в которую можно сунуть голову, или с лобовыми штурмами станиц, прямо на пулеметы, вышел с двумя орденами и без еди-

ной царапины, хвастался: «Меня смерть не повалит, мало каши ела!» То ли сжившись с преисподней на передовой, где каждый день убивали и ранили, то ли в самом деле поверив в свою неуязвимость, но он и правда не испытывал особого страха и, выматываясь порой до того, что мог спать на ходу, чувствовал себя уверенно и спокойно. До одной случайной встречи, которая странным образом все чаще стала вторгаться в привычное течение мыслей и чувств.

Во время дневки в хуторе Поповом, сером, заснеженном, когда штаб батальона размещался рядом с медсанбатом, познакомился он с хирургической сестрой Анкой Волковой. Темноволосая, с блестящими ореховыми глазами, чуть курносая и с общительной улыбкой, источавшей живость и вызов, Анка вдовствовала — мужа, которого не очень любила и с которым не прожила и полного года, убили в первые дни войны. Наверное, если бы он умер дома, исстрадавшись в болезни, лежал в гробу под причитания родственников, она тоже искренне и горько плакала бы, а так осталась только безлика похоронка. И в памяти если и вставал, то почему-то не тем сильным и ласковым, каким был в первые дни после свадьбы, а пьяным, рвущим ей косы на пятом месяце жизни, — слабый, временами холерически вспыльчивый, приревновал ее по чьей-то сплетне, хотя она ни в чем не провинилась. Поэтому замужество не оставило в ней заметного следа, и на двадцатом году, еще более женственной и похорошевшая, она чувствовала себя полной сил, охотно пускалась в словесную пикировку с офицерами, которые за ней нередко увивались. Один след остался от прошлого — боялась серьезного увлечения, близких отношений, обожглась на молоке, дула на воду.

Ничего о том не зная, но убежденно исповедуя постулат, что наступление при всех случаях лучший вид обороны, капитан Заварзин попытался тут же, на крыльце, среди белого дня прижать ее, «испытать на прочность», заскользил руками по жесткому сукну шинели. И получил тычок в нос, решительный, хотя и незлобивый. Опустил руки, закурил, усмехнулся:

— Первая атака противником отбита. Потери наших войск уточняются.

— Значит, будет вторая?

— Мне таких вопросов не задают. Напрасная трата

времени. Проведу разведку, подтяну резервы, обеспечу поддержку артиллерии. Прозвище мое знаешь?

— Гусар?

— Точно. Если надумаешь писать, так и валяй — гусару. Найдут! А можно еще и комбату Заварзину Юрию Михайловичу, это одно и то же. При перемене фамилии по случаю выхода замуж сообщу заказным.

Она смеялась, светила в душу блестящими ореховыми глазами, обещала — напишу. Однако, сам тому немало удивляясь, — переписки с женщинами не любил, называл ее презрительно «тягомотиной», — писал он ей сначала сам, коротко и сумбурно, на немецких налоговых бланках со свастикой, которую жирно зачеркивал — свастика вызывала ярость, бумага была хороша. Она отвечала, вязала строки мелким бисерным почерком. И тоже сумбурно, с жалобами на нехватку времени и таинственной недосказанностью, которую можно было понять и как некое предобещание, и как обычное кокетство.

Была у них вскоре и еще одна встреча, когда он, с разрешения командира полка, заехал навестить своих раненых. Обошел всех, поговорил, потом, не предупредив, зашел к ней. Сидели у нее около часа в присутствии подруги, которая тут же квартировала, пили чай, поддразнивали друг друга — он называл ее пятой колонной противника в тылу наших войск, ранит и разбивает сердца командиров, она его — пешим гусаром, на своих двоих. Он злился, что не наедине, дай волю, вытолкнул бы без разговоров соквартирантку за дверь, но вынужден был терпеть. Когда Анка вышла провожать в сени, быстро обернулся, поцеловал в щеку возле уха, ощутив теплую нежную кожу, шелковую щекотку волос, задохнулся от волнения, подумал смятенно: «Черт те что, был гусар, да теленком стал!» На улице, глядя в блестящие улыбчивые глаза, сказал твердо, решительно:

— Жди. Приду.

С тех пор он упорно искал случая побывать в медсанбате, повидаться с ней. И ничего не получалось, шли непрерывные бои, переброски с места на место, неустроенность и бесприютность, до ночевки в снегу, когда, казалось, замерзали даже мысли. Оборона — это окопы, землянки, постоянство обитания, некий устоявшийся быт, хотя бы под снарядами и бомбами; наступление — гонка, спешка, кочевье, когда не знаешь, где окажешься к вече-

ру. Прежде ему нравилось это — в любое время суток идти вперед, видеть, как синеватая полоска впереди постепенно становится лесом, расплывчатые в метели темные пятна превращаются в село; идти и сознавать, что каждый клочок земли, остающийся за спиной, очищен от немцев, возвращен своим людям и в этом есть и его заслуга — пусть там кто-то, если хочется, пошучивает над ним, плевать, он хорошо делает свое дело! Теперь с удовольствием предвкушал пору, когда наступит остановка. И такая пора пришла — в самом начале марта командир полка приказал ему передвинуться с батальоном на правый фланг дивизии, выше по Северному Донцу, прогудел в рыжие усы:

— Передохнете дня три. За большее не ручаюсь, Гитлер по резервам скоблит, танки и пехоту к нам подваливает. Амуницию в порядок приведите, совсем зачухались.

Поскреб примороженный подбородок, хотел еще что-то сказать, но раздумал, махнул рукой:

— Ну, ни пуха...

К постою пришли, намесившись снега, в конце дня, заняли два поселка, примыкавших к пойменному левобережному лесу, серому от изморози, стукавшему на ветру костяными ветками. В поселках почти никого из жителей не осталось — еще недавно здесь шли бои, кто, подальше от беды, уехал сам, кого, не считаясь с возрастом, угнали на оборонительные работы немцы. Во дворах, запустевших, сиром хохлившихся заснеженными крышами, ни поросенка, ни петуха, разъявленные ворота болтались, поскрипывали, в темноту пустых сараев тянулись языки сугробов. В просторном доме, который захватил для командиров ординарец Заварзина, такой же, как на улице, холод, окна заросли мохнатой наледью, из подпечья тянуло прелью и сыростью.

— Накаляй до предела! — сказал капитан ординарцу. — Чтобы даже от головы пар валил. Про субтропики слышал? Так вот, делай субтропики. А я пока посмотрю, как роты разместились.

— Слушай, пальмы можешь не доставать, — засмеялся заместитель комбата старший лейтенант Ираклий Брегвадзе. — Делай субтропики без пальм, скорее будет. Зачем пальмы? Холодное мукузани лучше.

— А где я мукузани возьму? — подстраиваясь к шутке, спросил ординарец. — Из колодца зачерпнуть?

— Из колодца зачерпни для своей лошади.

— Ладно, тогда чай поставлю.

Сначала, когда затопили, в доме сделалось промозгло, сочили воду окна, плакали тусклыми каплями стены, словно сосновые бревна вспомнили свою молодость и выжимали смолу. Потом стало жарко, душно, от печки пыхало паром.

— Не знаешь субтропиков,— констатировал Ираклий Брегвадзе.— Вместо Сухуми Африку устроил.

— А вы там бывали?

— Я нет, но мой отец слышал, что его троюродный дядя бывал. Точные сведения, как в боевом донесении.

Ужинали, расстегнув ворота гимнастерок и сняв «сбрую», ремни и пистолеты, обливались потом, блаженствовали. Спать залегли пораньше. Место на печке, после шуток и пересмешек, присудили адъютанту старшему, лейтенанту Бородуле, он простудно кашлял и был поменьше ростом, а печка коротковата; комбат выбрал себе лежанку, впервые за много дней разделся «по-мирному», стащил гимнастерку и брюки. Спалось сладко, истомно — кругом тихо, темно, только чуть слышно, убаюкивающе шуршал ветер, накатываясь на камышовую крышу, и поскрипывали у крыльца валенки часового. Да еще, банно, до изнеможения распарившись на печке, иногда бормотал адъютант: «Ну сволочи... ну сволочи!»

Встал Заварзин привычно, на рассвете, поглядел в оттаявшие окна — красное сквозь дымку, будто разморенное сном, из-за растушеванных степных холмов, как из перин, выкатилось солнце, положило по снегам тени, сперва блеклые, текучие, потом быстро набравшие твердый синий цвет. Два «мессера», вынырнув из-за леса, пронеслись на бреющем полете, чиркнули вдоль улицы пулеметными очередями.

— Здравствуйте живете,— буркнул комбат.— И тут тарыхтят. Есть, Ираклий, на свете место, где можно тихо посидеть?

— Под Ткварчели знаю одну пещеру, там тихо. Поезжай.

— Не повезло нам с погодой, лучше б метель.

— Это у наших летчиков надо спросить... А что мы на пустой желудок языки мочалим? Мысли тоже надо кормить, от тощих ни мяса, ни шерсти.

Ели неспешно, перешучивались.

— Слушай, что это ты кричал во сне: «Ну сволочи, ну сволочи»? — допытывались у адъютанта. — Шестую атаку отбивал?

— Не помню.

— А тебе, комбат, какие сны снятся, военные или гражданские?

— Войны и днем хватает, мне девки снятся. Представляете — большая теплая хата, чистые лавки, стол с вином и закуской, всюду, куда ни глянешь, девки, и среди них один я.

— Почему меня не зовешь? — укорил Брегвадзе. — Зачем полная хата девок одному? В следующий раз меня зови, песня будет, лезгинка будет.

— Не будет, — вздохнул Заварзин. — Вру. Не везет, с детства никаких снов не вижу. Валюсь в темноту — и все. Будто кто тулупом накрыл.

Часам к двенадцати погода, беспокоившая капитана, переменилась, наволокло низкие облака, словно небо задержали солдатским одеялом, запыхал, завиваясь призрачным дымом, мелкий снежок. Леса по берегу реки посмутнели, потеряли обличье, света убавилось, в хате по углам темной водой наливался сумрак. Где-то далеко впереди и правее бухала артиллерия, редко, лениво — ни всплесков огня, ни шапок вздыбленной земли, только глухой звук и легкое содрогание пола. Во дворе ординарец снова и снова заводил трофейный мотоцикл — зарычит, потыркает и смолкнет. Его мечтой было заполучить при случае, во время очередного наступления, двухместный с коляской, чтобы им с капитаном не таскаться на лошади, и он тренировался на истрепанном двухколесном. Адъютант старший, бывший авиационный техник, со стальными передними зубами — свои высыпались на землю, когда был сбит вместе с летчиком при перебазировке, — гнулся у стола над двухверсткой, делая пометки, вполголоса пел с белорусским акцентом:

Бывайте здоровы,
Живите богато,
А мы уезжаем
До дому, до хаты.
Мы славно гуляли
На празднике нашем...

— Слушай, перестань, — попросил комбат. — Тем более про праздники. Не выпил, а закусываешь,

— Зачем человеку петь мешаешь? — отозвался Ираклий Бреговдзе. — На передовой нельзя, миной пристукнут, здесь нельзя. Где петь?

— Понимаешь, операцию одну обдумываю. Стратегическую.

— Помочь?

— Помоги. Отоспался вот, делать нечего — и сразу скучно. Что, если я вечером в медсанбат отлучусь на часик-другой?

— К Анке, что ли?

— Ага.

— Разрешение на отлучку просил? Нет? Есть чего ради рисковать. Сам говорил, что ничего и не было, одни тары-бары. Добыча — слова, в ответе — голова.

Адъютант фыркнул, он не мог понять, как обожаемый им комбат Заварзин, гусар, лихая голова, всегда идущий к цели по кратчайшей, мог канителиться с этой Анкой, переливать из пустого в порожнее; не догадывался, что не мог бы объяснить этого и сам Заварзин, — кто знает, как и почему возжигается в нас, разгорается та или иная надежда? Говорят — чужая душа потемки. В своей тоже иногда можно потерять ориентировку, заблудиться, как в лесу, никакой компас не поможет. Комбат, для которого дисциплина всегда была делом чести, понимал, что такая самоволка может обернуться чрезвычайным происшествием, но не мог уйти от навязчивых мыслей. Искал варианты:

— А что как послать записку и пригласить на ужин? Если не дежурит, может согласиться. И повод какой-нибудь придумать, именины, например. Из вас никто в этом женском месяце не родился?

— Считай, что я родился, — сказал Бреговдзе. — Настоящий мой день рождения в декабре, но я не праздновал, специально отложил для такого случая.

— С обмана начинаете, обманом кончится, — подал голос адъютант. — Я в июле родился.

Адъютант Бородуля имел два великих достоинства — быстро схватывал задачу и был точен в исполнении, а притом обладал, с точки зрения товарищей, и одним крупным недостатком — проявлял нечувствительность к юмору и не любил лишних разговоров. Острили — жизнь мало отпустила ему слов на его век, поскупилась, и, как расчетливый человек, он экономил их с молодых лет.

— Не будем мелочиться, — засмеялся Ираклий Бреговдзе. — Пускай мелочится Черчилль с открытием второго фронта, считает, у всех ли солдат все пуговицы пришиты на кальсонах. Объявляй мой день рождения, посылай старшине запрос на трофейный шнапс, он, по-моему, тайком еще от Морозовской бочонок возит. И строчи записку, в конце стишки приведи — «В лесу родилась елочка, в лесу она росла». Зачем такие детские стишки? Надо знать женщину, она поймет как намек на стройность и свежесть.

— А ты, Ираклий, сам бывал влюблен?

— Семнадцать раз... Нет, двадцать один. Только никому не говорил об этом.

Комбат написал записку, правда, без стишков, попросил ординарца отвезти, до медсанбата не было и двух верст. Результат получился таким, на какой втайне никто не надеялся, — Анка сообщила, что у них дел сегодня немного, она к тому же не дежурит и приедет с подружкой часам к шести, если за ней пришлют лошадь. Капитан Заварзин обрадовался, словно он сам вправду был именинником. Ираклий Бреговдзе встревожился:

— Вай! Приедут женщины, а мы еще небритые, подворотнички не сменили, на полу можно пшеницу сеять, на подоконниках новая география — река Кура впадает в Аральское море. Объявляй, комбат, общий аврал, а мне отдай твою лошадь на шашлыки — как я могу праздновать свои именины без шашлыка? Все бараны от Самтретиди до Батуми будут надо мной смеяться!

К четырем часам хату было не узнать, пол отскребли и отмыли и он радовал глаз живыми рисунками сосновых досок; окна и подоконники вытерли, подворотнички сияли белизной, в кладовушке нашли старый уют с прогоревшими боками, разогревая на припечке, отгладили гимнастерки. Затея, поначалу сомнительная, породила праздник со всем к нему надлежащим — заботами, веселыми хлопотами, шутками, приподнятым настроением, волнуящим ожиданием. После бесконечных боев, переходов, крайнего нервного напряжения, часто жизни на сухом пайке из ледяных консервов и мерзлого хлеба, вьюжных ночей с заревами пожаров он был дорог втройне, словно на короткий срок вернулась мирная жизнь со всеми ее несказанными радостями, которые прежде не

умели по-настоящему ценить, считали — обычное дело, так и надо.

В разгар суеты заглянул старший политрук Соболев, высокий, густобровый, с хитрыми пристальными глазами. Он разместился в соседнем поселке с третьей ротой, готовился к выступлению по текущим вопросам — когда еще выпадет такой удобный случай? Прежде, в дни военных неудач, агитация была простой: «Вперед, за Родину! Вперед, за Сталина!» Теперь, на волне сталинградской победы, гром которой катился по всей планете, солдаты и офицеры почувствовали свою силу, обрели уверенность и не довольствовались лозунгами, хотели знать все глубже и основательнее, задавали самые неожиданные вопросы. Агитация кончилась, начиналась сложная воспитательная работа — на общих словах не проскочишь, надо прорабатывать уйму материала.

Узнав причину переполоха, Соболев сказал Заварзину:

— Опять заводишься на все обороты. Думаешь — стоит?

— Разве это на все? На треть. Аккуратненько. С общего согласия.

— Не зря сказал командир — не жди от быка молока, от сосны березового сока.

— В смысле намек на мои боевые действия?

— В смысле серьезности и сознательности.

— Тогда правду сказал. Точь-в-точь как мой дед. Только тот с добавкой — прогыцаешь, бывало, до темноты на улице или около речки, явишься домой чуть живым, а он и устроит выволочку за космы, с потяжкой от затылка. Сильная наука, до следующего утра хватало!.. Попразднуешь с нами именины Ираклия?

— Попозже подойду. Если освобожусь, а вы к тому времени дом не переверните кверху фундаментом...

Но праздновать не пришлось, в десять минут шестого прибыл нарочный из штаба, — телефонной связи не тянули, ни к чему, — принес приказ — срочно поднять батальон, вывести на высоты за Северным Донцом, комбату явиться в штаб за дополнительными указаниями. Капитан Заварзин прочитал приказ, встряхнул, прочитал еще раз, засмеялся — до того все было неожиданно и нелепо.

Брегвадзе забеспокоился:

— Что еще там?

— Отменило начальство твои именины, как тут Бородуля пел — «Бывайте здоровы, живите богато». Вызвать командиров рот, выступать будем. На вот, посмотри сам.

— Кроссворд, — удивился Бреговдзе. — Правый берег наш, войска ведут бой в глубине. Зачем нам занимать эту плешь? Там ни кола ни двора.

— В штабе, наверное, объяснят.

Есть на войне неукоснительное правило, нигде специально не записанное: если ты не выполнил приказ и не взял высоту потому, что не хватило сил, все будет понято правильно, разве что посожалеют и посочувствуют; если же ты мог начать марш или передислокацию вовремя, но не сделал этого, возблаговари судьбу, если обойдешься одной основательной головомойкой. Поэтому уже через минуту от праздничного настроения не осталось следа — посыпались команды, люди с шага перешли на бег, поселки превратились в кишачий людскими муравейник. А еще через час разобрались, проверили оружие, выстроились, двинулись. В первое мгновение капитан Заварзин подумал, что следовало бы послать в медсанбат записку, сообщить — именины переносятся, — извиниться. Но было не до того, все заняты, потом как-нибудь.

Еще стоял день, но чернолесье на левобережье реки уже наливалось сумерками, косо летел негустой, сухой, как песок, снег, сек лица, тек за воротники. Узкая, на одну телегу, дорога без единого следа вилась ужом, петляла среди серых корявых стволов, совала под ноги скользкие корневища. Солдаты, которые надеялись понаслаждаться теплом еще хоть одну ночь, угрюмо молчали. Разумом понимали — ничего не сделаешь, на то война, а душа, не смиряясь, протестовала и ныла.

Километров через пять, уже в сугробы, подошли к реке, послали разведку — лед на быстринах тонок, под снежной шубой отпарился, местами чернели полыньи, рябила вольная вода. Переходили с опаской, в затылок по одному; передний тюкал штыком, — если пробивал с одного удара, принимали правее или левее, вязали кружева. Пулеметы и минометы, ящики с боеприпасами тащили на длинных веревках и кусках провода, пристроив на тонкие ольховые хлысты. Чертова работа, а делать нечего, переправа много ниже по реке, в два конца километров семнадцать киселя хлебать, За рекой по берегу

дороги не было совсем, полезли прямо на крутояр по узким тропкам, давно не хоженным,— они слабо белели свежим снегом среди редкой сухой травы и комьев глины. Сопели и чертыхались, поминали фашистскую мать и господа бога. Молоденький солдат Савкин, недавно прибывший с пополнением, только что со школьной скамьи, еще робкий и несноровистый, поехал на ватных штанах книзу, сбивая других. Шумели:

— Чего елозишь, раззява?

— Блинов не напек, а масленицу устроил.

— Ходить надо учиться не на войне, а как только из люльки вылез.

Солдат чуть не плакал, оправдывался:

— Так склизко...

— А нам не склизко?

— Песочку в карманы насыпь да посыпай.

— До старости доживет, свой заведется...

За гребнем крутояра открылась мутная степь, полоγο поднимающаяся к двум холмам. Наверное, это был пустьрь, бросовая земля, где давно не пахали и не сеяли,— во многих местах склон рассекли, избороздили овраги и промоины, в которых кое-где мотались, посвистывали метелки бурьяна и чахлые кустики. В сизости вечера, положившего невдалеке небо на землю и замазавшего все одной серой краской, казалось, что более унылое место может привидеться разве в дурном сне. Старший лейтенант Брегвадзе с досадой хлопнул рукавицей по туго набитой полевой сумке:

— Скажи, у бога есть совесть? Зачем придумал такую позицию? Или мы не туда пришли?

— Туда,— заверил адъютант.— Это сейчас ничего не разобрать, а днем, наверное, открывается отличный вид на наши тылы.

— Кому интересно смотреть на наши тылы? Обнимал царь персидский месопотамскую княжну через речку глазами... Мне интересно, когда нас в тылы на отдых выводят.

— Немцам интересно. Поставь тут хороший артиллерийский дивизион — там ни проходу, ни проезду. Для их системы обороны позиция первый сорт.

— Что ты за немцев думаешь? За себя думай, за меня думай!

— По приближенной оценке — нам, если что, будет трудно.

— Хороший ты человек, утешил — если волк не задержит ягненка, из него может вырасти овца...

Вскоре прибыл капитан Заварзин, до реки его подбросили на санях. Был весел, — вероятно, в штабе у кого-нибудь «на сугрев» перехватил стопку, — при своей норме не разгонишься, шиковали на трофейном французском коньяке и шнапсе.

— Ну, и чем нас пожаловали за верную службу? — спросил Бреговдзе. — Что на этой прекрасной местности будем делать?

— Занимать высоты и закрепляться. Противника поблизости нет и, возможно, не будет. Подойдут немцы — подкинем жару. Только откуда им тут взяться?

— Сперва себе подкинем, — невесело подытожил адъютант. — Спать не придется, в мерзлой глине за ночь паршивого окопа не отроешь.

Люди батальона, особенно ветераны, за девять месяцев непрерывных боев привыкли ко всему — жить в окопах, чавкающих грязной осенней водой, сутками обходиться одной банкой консервов на двоих, брести километр за километром в угольно-черной от ненастья или аспидной от мороза мгле, в кровавых вспышках огня и судорожно прыгающих тенях атаковать села с застигнутым врасплох противником, спать, по-звериному зарывшись в снег. И к смерти тоже привыкли — день за днем они убивали сами и день за днем хоронили своих убитых, тех, с кем бок о бок коротали ночь или утром получали кашу из одного бачка. Однако не было дела тяжелее и мучительнее, чем долбежка окопа в мерзлой земле. Кирки нет, от лопатки, пока доберешься до талого пласта, вздуваются кровавые мозоли. И все же, хотя не раз бывало, что отрытые с предельным напряжением окопы назавтра же оставались без боя, закапываться надо было снова и снова — не по уставу и приказу, а ради, как говорили деды, живота своего. Война учит жестко, оплошности не прощает. И солдаты на высотах, сперва в полушубках, потом скинув их, принялись за свой каторжный труд. Повезло третьей роте, которая при двухэшелонном построении оказалась в зоне мелких оврагов и промоин, причудливо ветвившихся от глубокой балки. Тут лишь расширили трещины, подравнивали площадки и насыпали не-

большие брустверы, маскируя их снегом и всяким хмызником.

В отвершке одного из оврагов, правого, оборудовали командный пункт батальона — просто расширили узкий ровик, прикрыли ветками. Артиллеристы протянули сюда нитку связи и посадили корректировщиков огня. Комбат настаивал в штабе, чтобы дали хоть одну батарею противотанковых пушек, но начарт отказал:

— Ты видел пушки с крыльями? Чтобы по воздуху летали? Я нет. Допустим, как-нибудь переправим по льду, но как я втащу их на эти кручи? Если что, поддержим с берега, а ты захвати побольше противотанковых гранат.

— Понятно, спасение утопающих — дело самих утопающих.

— Ничего, гусар, не первый раз. А то еще и не будет ничего, только охладишься малость. Давай топай, размазывайся на всю катушку!

Рассветало долго, нехотя, небо у горизонта медленно отслаивалось от земли. В степи, как на засвеченной фотопленке, проступали темные пятна и кляксы — куст, человек, глинистый выступ? Издали не различить. Позади, за рекой, тоже все было смазано, казалось, там за ночь образовалось море с оловянно-тусклой водой, мертвой, недвижимой. Ветер, переменявшись на западный, задувал порывами, все сильнее, гнал поземку, развешивал белые космы над кромками оврагов. За исключением самых выносливых и упорных, все еще долбивших окаянню каменную землю, солдаты спали в мелких окопчиках, сунув в изголовье вещмешки и патронные сумки. Спали по двое, тесно прижавшись друг к другу, спали поодиночке, скрючившись, подтягивая коленки к подбородку, ежась и подергиваясь. Иногда кто-нибудь, чувствуя, что совсем коченеет, вскакивал, быстро перебирая ногами в валенках, топтался на месте, взмахивая руками, похлопывая рукавицей об рукавицу, — диковинный, нелепый танец людей, доведенных морозом до крайности.

В шесть часов впереди загрохотало, — видимо, завязывался нешуточный бой. Заварзин и Брегвадзе, обходившие позиции первой и второй рот, остановились, настожились.

— Как думаешь, Ираклий, не нам намекают?

— У нас на Кавказе раньше говорили — заслушав стук копыт, готовь или кинжал, или угощение.

— А окопчики эти лежащие — хреновина, и больше ничего, — подсадовал Заварзин. — Голову укрыл, а казенную часть пулеметом счистят. Надо будить людей, пусть углубляют. У нас на Орловщине тоже свой обычай — пить не хочешь, а по воду сходи. Отступить, в случае чего, некуда, половину перебьют сверху, с обрыва.

— А вторая под лед нырнет, сомов за хвосты ловить.

Зазябшие солдаты вставали с трудом, разминали оочевневшие руки и ноги, иные умывались снегом, до красноты растирали посеревшие лица. Завтракали наспех, скудно: черный хлеб, банка консервов с заледеневшими кусками жира, — кухни не подошли, повара и помощники все еще ломали голову, как сделать настил. Взводные пошучивали, пытаясь подбодрить солдат, но в этом не было надобности, все сами понимали, что к чему. Тем более что впереди, за миткальной завесой метели, громыхало все гуще, слитнее, а потом стало гукать и справа. Одно утешало — нелетняя погода, голова прикрыта. Немцы уже не были хозяевами воздуха, прошлогодние времена, когда они делали на плацдармах все, что хотели, минули. Но у них еще было достаточно самолетов, а пехота, какая бы она опытная ни была, всегда нервничает при атаках с воздуха. Это идет от сознания личной беспомощности, беззащитности — с танком еще можно бороться, если есть граната, можно увернуться, а когда визжит бомба или хлещут вдоль окопов крупнокалиберные пулеметы, только и остается, что гадать — полоснет, мимо пронесет? Поэтому в авиационных частях плохую погоду бранят, а в пехоте ей радуются — заступница.

Часу в двенадцатом гул впереди стал затихать, различались только редкие орудийные выстрелы, но они становились ближе. Заварзин напрягал слух, сдвинув шапку, приставлял к ушам ладони, пытался по звукам разгадать, что происходило впереди. И хотя догадки были смутными, внутреннее напряжение в нем нарастало, переходило в знакомый азарт перед схваткой. Потом на короткое время все затихло, и он подумал, что ошибся, что ничего не будет. Может быть, была наша артиллерия с закрытых позиций? Но в половине первого ветер донес моторный рев и, вынырнув из метели, словно из снятого молока, показали немецкие танки, облепленные пехотой. Они ползли медленно, настороженно, словно приножи-

ваясь чуть склоненными дулами пушек к свежавывавшему снегу. Заварзин пересчитал — четырнадцать. Позади танков чернела колонна грузовиков с пехотой.

— Уверенно идут, сволочи! — выругался Заварзин, не подозревая, что почти в точности копирует ночную брань адъютанта. — Дадут прикурить. Иди на командный, Иракий, пусть артиллеристы открывают заградительный огонь. А то им не свербит, будут заниматься таблицей умножения.

— На командный ты иди, я останусь со второй ротой. Готовь подпорки на случай, если пошатнемся.

Заварзин еще несколько секунд смотрел в степь, заключил:

— Пошатнетесь быстро. Будь окопы полного профиля, танки можно бы пропустить через себя, мерзлые брустверы выдержат. А в этих гробиках делать нечего. Не прозевай критического момента, сползай в ров.

И внезапно удовлетворенно засмеялся:

— Слушай, рвы — это и есть наша главная стратегия! Зачем нам держать лобовой фронт? С танками мы не справимся, ну и пусть катаются, а пехота полезет в мешок, прищучим с флангов. Позвони в первую роту и разъясни. При отходе обозначься красной ракетой.

— Я сам в первую пойду, — сказал старший политрук Соболев. — С вами тут безработным останешься.

— Работы всем хватит, а что идешь — правильно. Скорохватов прежде в лесах ротным воевал, степь ругает — сковородка, видно все противнику. Так и нам видно, баш на баш!

— Разберемся.

Минут через десять ударила с правого берега артиллерия, снаряды шли через голову с воркотней, на снижении шепелявили, распарывая снежную кисею, выкидывали перед танками конусы огня и земли. Но огонь был слаб — били всего две батареи — и неточен. Танки на мгновение остановились, осваиваясь с новым положением, затем резко прибавили скорость, развертывались, строились в боевой порядок.

Эта масса железа, ревущего, источающего синий дым, когда оно, словно единое разумное существо, маневрирует перед атакой, заставляет сердца тревожно биться и замирать — идет сама смерть, жестокая, равнодушная, катится, содрогая степь, сила, признающая только силу.

А колонна машин, следующих за танками, между тем остановилась, из кузовов посыпались солдаты. Брегвадзе в бинокль видел, как там, прямо на снегу, устанавливают минометы, тяжелые, тупорылые, круто задирающие толстые стволы в мутное небо. Но никто еще не стрелял, — возможно, немцы думали, что на правом берегу никого нет, и готовились лишь на всякий случай. Немецкая группировка эта, свежая, выдвинутая в прорыв из второго эшелона, прошла около восьми километров, не встречая никого, кроме небольших кучек отбившихся от частей солдат, ускользавших в лога и посадки, — по ним стреляли прямо из кузовов, как по зайцам, больше для острастки.

Лишь когда с высоты ударили пулеметы и автоматы, а из логов минометы, немцы поняли, что, хотя конечная их цель — Северный Донец — близка, продираться к ней придется с боем. Тогда сразу открыли огонь и танки и минометы, на высотах заметались клочья огня, степь быстро покрывалась бурыми пятнами, затягивалась понизу грязной пеленой. Однако все понимали, что это лишь раскачка, зондаж на выявление линии обороны, главное впереди.

Капитан Заварзин связался через артиллеристов со штабом полка — отдельной нитки не протянули, далеко, — доложил обстановку.

— Четырнадцать танков на тебя одного? — переспросил командир полка. — В глазах не двоится? Так, понимаю. Многовато. А пехоты?

— Примерно до двух батальонов.

— Ну, это для ударного кулака поскупились. Хотя тоже не подарок. Как собираешься действовать?

— Использую рвы, промоины, их тут много. Танкам туда дороги нет. Прошу подбросить артиллерии.

Секунд десять в трубке были слышны только трески и шорохи, потом хриповатый бас командира полка:

— Подбросить ничего не могу. Продержись до вечера. Слышишь, повторяю — до вечера! И слушай музыку справа. Желаю успеха!

В дважды настойчиво повторенном «до вечера» Заварзин уловил какой-то намек, обещание, нечто важное, чего нельзя доверить телефону, и это несколько утешало. Но до вечера еще было около шести часов, триста шесть-

десять минут, каждая длиной в день, и тысячи секунд, в каждую из которых грохают взрывы, кромсая мерзлую землю и теплую человеческую плоть, у кого-то из ран хлещет кровь, кто-то погибает, появляются новые сироты и вдовы. Об этом было бы до содрогания страшно думать, если бы стихия боя и предельное напряжение нервов давали возможность размышлять. Но было не до таких размышлений, тем более что никакой «музыки справа», кроме редких далеких выстрелов и сипения поземки, он не слышал. И он выбросил ее из головы — придет время, разъяснится. Все помыслы, все внимание — тому, что происходит здесь в каждое мгновение.

Между тем события развивались быстрее и не так, как предполагалось вначале, — немцы, вопреки обыкновению, не стали тратить времени на разведку боем, пошли сразу, танки, которых нечем было остановить, потащили за собой серо-зеленые хвосты пехоты. Уже через двадцать минут взлетела красная ракета, и это значило, что Брегвадзе со второй ротой скатывается с высоты; наверное, то же делает и первая рота. Еще через несколько считанных минут на вершине правого холма, как памятник, прорисовался силуэт немецкого танка, четкий, серо-синий на фоне грязноватого облачного неба. Он немного постоял недвижно, — видимо, танкисты осматривали местность, которая теперь открывалась им для обзора вся, до берегового обрыва в узком бордюре кустарника, — потом неторопливо, уверенный в себе, двинулся вниз. На командный пункт пришел Брегвадзе, запыхавшийся, возбужденный. Из разодранного на плече полушубка лезли клочья темной шерсти. Сказал:

— Все, спихнули нас. Мы пощипали немного их пехоту, себе дороже. Я решил — терять людей на такой позиции дальше бессмысленно.

— Ну, и правильно, — спокойно согласился Заварзин. — Ты что, ранен?

— Я не ранен, полушубок ранен.

— Тогда оставайся со своим раненым полушубком тут, я пошел в третью роту. Главный цирк будет там.

— Может, лучше мне пойти?

— Нет. Держи связь с артиллерией. Передай командирам первой и второй: если будем контратаковать, белая ракета — приготовиться, зеленая — пошел!

Третья рота стояла уступом назад, занимала позиции

в ветвистых отвершках оврагов, почти в самом центре четырехугольника с примерно километровым поперечником. Теперь Заварзин строил весь расчет на том, что танки не могли совершить охватывающего движения или прорваться в тыл, справа и слева были овраги, извилистые, с изорванными краями. Они были превосходными укрытиями для первой и второй рот и создавали как бы мешок с горловиной у седловины холмов и окончанием на обрыве. Правда, на середине, у осевой линии, пулеметный и винтовочный огонь был малодейственным, автома-ты же и совсем не доставали, поэтому туда затекала основная масса немецких солдат, и продвижение поначалу было быстрым. Но только до тех пор, пока молчала третья рота. Когда же, подпустив атакующих метров на сто, ударила из всех видов своего оружия, положение немецкой пехоты сразу стало трудным — она была как на ладони на неглубоком сыпучем снегу, в который не зарыться и по которому не разбежаться. Настильные пуле-метные и автоматные очереди опрокидывали навзничь, переламывали в поясице, будто понуждая отдавать по-клоны, пришивали к земле. Строй атаки нарушился, в нем появились разрывы и завихрения, передние стали пятить-ся, отползать, оставляя в снегу борозды и кровавые следы.

— Ничего, ничего,—удовлетворенно хмыкал Завар-зин.—С перцем и горчицей сойдет. Для начала. А что дальше?

Дальше на выручку своим солдатам двинулись танки, но один из них — танкисты плохо видели сквозь мутную завесу взметенной земли и снега — сорвался в глубокую узкую промоину, лязгая гусеницами в воздухе, грохнулся на дно вниз башней; второй, получив в бортовую броню снаряд,—наконец-то артиллеристы с того берега доби-лись зримого успеха,—остановился, застыл на месте. Остальные, почувствовав опасность, отодвинулись, от-крыли орудийный огонь по закрайкам оврагов, но снаряды либо рикошетили на мерзлой земле, либо разрыва-лись на противоположном скате, не нанося особого ущерба.

— Их бы не бить, а живьем захватывать и в плуг,—сказал усатый солдат со Ставропольщины.—Такая сила пропадает!

— Захвати,—согласился его приятель и бессменный

собеседник, сухонький и жилистый калужанин.— Он те поднесет дулю!

Оба они пришли на войну из колхозов, и постоянной темой их бесконечных разговоров в окопах и на отдыхе была земля — когда что сеять, как за чем ухаживать, чем кормить кур, чтобы они несли больше яиц, листья какой травы прикладывать от нарыва, а из какой делать отвар при простуде. Ставрополец прихвастывал, что у них вольготней, круглый год едят белый хлеб. Калужанин стоял на своем:

— Черный сытнее. Опять же у нас картоха. Без нее человеку никуда — ни варева настоящего, ни киселя тебе.

— В давнее время и без картохи жили.

— Да она и жизнь такая была...

Мышление человека, как ручей из родника, вытекает из его опыта, и эти двое даже тут, где, казалось, и вообще думать невозможно, оставались верными своей натуре. Когда танки сдали назад и автоматная трескотня несколько притихла, калужанин полез за кisetом, сказал:

— Передымим, что ль... Вроде оно надтихает.

В самом деле, у немцев на некоторое время наступило замешательство, бой протекал в необычной, странной обстановке, не предусмотренной никакими уставами. Очевидно, немецкие командиры, нацеливая острие клина на эти заманчивые высоты, не подозревали о всех мелких каверзах местности, как не придавали им значения сначала и в заварзинском батальоне, хотя и рассматривали внимательно двухверстку. Карты, даже самые хорошие, — а у немцев они были не хуже наших — печатаются долго, природа иногда работает быстрее. Особенно если ей помогают люди. Заварзин вспомнил, как батальону капитана Косовратова показали на карте рощу, которую надо было занять, а рощи не было, ее вырубил перед самой войной. Часа три крутился батальон в голой степи под звездами — нету рощи, сквозь землю провалилась.

Пришел Ираклий Брегвадзе, сообщил:

— Звонил командир полка, спрашивал, как дела.

— Дела — как сажа. Не та, что бела, а та, что черна. И что ты ему сказал?

— Что немцы нам дали по зубам и мы дали по зубам. Верно?

— Верно. Потери во второй большие?

— За тридцать убитых, около сорока раненых. Некоторые остались в строю.

— Дрянь дела.

— У немцев тоже очень большие потери.

— Боюсь, контратаковать вам все-таки придется, когда нас прижмут. Зря не растрчивайтесь, поберегите силы. Мы тут, как видишь, маневрируем...

После некоторой заминки немцы попытались овладеть вершиной правого оврага на позициях второй роты и проникли, ссыпались в него, но это был укол не в кожу, а в одежду,— двигаясь по узкому, изрытому течеей дну оврага можно было только гуськом, и тут диктовал свою волю тот, кто раньше пришел и выше сидит. Потеряв до полутора десятков солдат, два взвода, проникшие в овраг, поняли, что лезут в ловушку, и отошли.

Наконец командир немецкой группы принял новое решение: оставив на флангах у вершины оврагов заслоны автоматчиков, двинул все двенадцать танков и основную массу пехоты на позиции третьей роты. Учитывая опыт первой атаки, танки не подходили близко, опасаясь сорваться с обрыва или налететь на гранату, били беглым огнем из пушек с короткой дистанции, резкие хлопки, визг и разрывы снарядов слились в один надрывный вой. Пехота вела шквальный автоматный огонь с хода или коротких остановок перед новым броском. Кинжальные вымахи огня, шурханье осколков и комков мерзлой глины, крики и стоны раненых, снежные вихри — все закрутилось в сумасшедшей карусели, глаз и ухо ничего не различали в отдельности и osobости. И еще чудилось, что вздрагивающая и качающаяся степь начала дыбиться, вспухать и подергиваться пеплом.

Для третьей роты наступил критический момент. Управлять ею уже было нельзя, оборона разбилась на отдельные очаги, людей волнами захлестывали страх и ярость. В отделении сержанта Хохрякова пожилой солдат, дважды побывавший в медсанбате, сбил кулаком ушанку у молодого Савкина, который вчера вечером сверзился с обрыва, ревел в самое ухо:

— Не запяливай zenки, туды-т твою мать, не пуляй в небо! Там смерть твоя идет по тебя. Не убьешь ты ее — убьет она!

У солдата Паныгина, который до того участвовал лишь в двух небольших стычках и войну знал главным образом

по рассказам да фильмам, не выдержали нервы. Потеряв всякое представление о том, где он находится и что делается вокруг, мокрый от липкого пота и слепой от страха, он выскочил из промоины и побежал по открытой степи. Вероятно, в памяти его смутно стоял мираж обрыва, по которому можно скатиться к реке, и спасительный лес на другом берегу. Крылья ушанки трепыхались, дергались полы расстегнутого полушубка, из открытого рта со струей пара вырывался не то плач, не то вой: «Ма-а-а!..» Зрелище было таким неожиданным, ни с чем не сравнимым, что в первое мгновение никто ничего не понимал. Затем из танка ударили по ногам длинной пулеметной очередью, раскрошили их на уровне колен. Паныгин упал ничком, шапка откатилась вперед, а танк мстительно, с жестоким остервенением наехал на него и, оставляя красный след, растер, размазал по снегу.

Солдат Усманов, невысокий, жилистый, с черными большими глазами на худом загорелом лице, крикнул что-то на своем языке, кинулся к отделенному:

— Товарищ сержант, разрешите сделать этому танку селям алейкум!

— Убьют.

— Я его убью!

Вырвал из вещмешка, засунутого в расщелину, новую байковую портянку, скинув шапку, одним движением наматал ее наподобие чалмы, вывернул полушубок белой шерстью наружу, с противотанковой гранатой в каждой руке пополз в мелкий отвершек промоины. Уже в десяти метрах его фигура потеряла человеческие очертания, слилась со снегом и комьями земли. Немецкий танк, раздавивший Паныгина, сделав полукруг, возвращался к старому месту. Подождав, пока он оказался почти рядом, ощущая тепло и вонь отработанных газов, Усманов рывком поднялся на колени, метнул гранату.

Вместе со взрывом лягнула и сползла с направляющих гусеница, танк, сбавляя скорость, начал разворачиваться на месте. Усманов выждал, пока он стал к нему кормой, швырнул вторую гранату, на воздухозаборник, попал; полыхнуло пламя, за ним, клубясь и колыхаясь, потек чернильный дым. Открылся люк, выскочил танкист, укрываясь за машиной, пополз; второго срезала чья-то автоматная очередь, когда он только показался, и он медленно осел внутрь горящей машины.

Усманов вернулся в отделение. Сержант одобрительно толкнул его в бок:

— Поймал беркут лисицу! Правильно говорю?

Усманов блеснул белыми зубами:

— Как настоящий узбек, товарищ сержант.

Ожесточение боя снова нарастало. Отделения сержантов Манохина и Куприянова, крайние слева, были скомканы, вдавлены в землю, немецкие солдаты стали проникать в проломы. Капитан Заварзин приказал командире роты во что бы то ни стало отсечь огнем остальных, сам возглавил атаку против прорвавшихся — они в горячке скатились вниз, их сверху забрасывали гранатами, противотанковыми и лимонками. На дне овражка сбивался дым, курилась пыль от обваливающихся глинистых глыб, слышались стоны и крики. И все же небольшая часть немцев ускользнула на противоположный склон главной балки, вела оттуда суматошный нервующий огонь по обороняющимся — им теперь стало трудно действовать логично и осмотрительно; когда в спину направлено дуло чужого оружия, затылку холодно и руки плохо слушаются.

Почувствовав, что бой достиг критической точки, что каждая упущенная минута ведет к разгрому всего батальона, Заварзин — красный, в распахнутом полушубке, с бешеными глазами — рявкнул ординарцу:

— Ракетницу!

Схватил, проверил патроны, вскинул руку.

Две падающие звезды, белая и зеленая, с интервалом секунд в пятнадцать, прочертили дымный след под низкими облаками, догорели в воздухе. Контратака первой и второй рот, нацеленная во фланги и тыл, яростная, с непрерывно катящимся по степи «рра-а!», сразу внесла в сражение перелом, хотя бы и кратковременный, оторванные от танков слабые заслоны у вершины оврагов не выдержали, оставляя раненых и убитых, попятись к холмам. На время, перенацеливаясь, замолкли немецкие минометы. Танки, хотя все происходило в пределах прямого выстрела, не могли оказать помощи атакованным, издали невозможно различить, где свои, где чужие. Видя, что тылам грозит разгром, они развернулись и пошли к седловине, за ними, огрызаясь неприцельным огнем, начала отсасываться, оттекать от позиций третьей роты и пехота.

Услышав, что линия боя удаляется, выскочили на другую сторону и ушли немцы из оврага.

Третья рота получила передышку. Не зная, сколько она продлится, пополняли боеприпасы, эвакуировали раненых, подправляли брустверы. О еде, хотя давно прошло время обеда, никто не думал.

С появлением танков контратаковавшие первая и вторая роты отошли на старые позиции, в овраги. У Ираклия Брегвадзе пулей разорвало ухо, голову перебинтовали, так что шапка теперь сидела на самой макушке. Жизнелюбивая, общительная натура брала свое, посмеивался: «Мама драла за уши, немцы драли — не шали, Ираклий, будь умницей!» Хвалил командира роты, лейтенанта Топченко:

— Хорошо сыпал перец в немецкий суп! После войны приезжай в Тбилиси, шефом в ресторан устрою.

— Сперва до вечера дожить надо.

— Доживем, это я тебе говорю, Ираклий Брегвадзе. Пусть до вечера фашисты не доживают!

Шел третий час. Огонь с обеих сторон ослабел, — вероятно, немцы приводили себя в порядок, загружали снарядами танки, решали, как действовать дальше. В это время сразу, подобно обвалу, далеко справа возник тяжелый низкий гул, степь дрогнула, толкнула в ноги. А возникнув, не прекращался, рос, ширился, и от него, казалось, начинали вибрировать не только земля, но и воздух, деревья, облака. Заварзин прислушался, спросил, ни к кому не обращаясь:

— Музыка?

— Что-что? — переспросил стоявший рядом командир третьей роты Борисов, который получил легкую контузию и плохо слышал.

— Говорю — концерт.

— А-а! — неопределенно протянул Борисов, так и не поняв, о чем толкует комбат.

И снова, во второй раз на протяжении последних полутора часов, подумал капитан Заварзин о странности происходящего — что делается на фронте, отчего идет этот ожесточенный бой на небольшом плацдарме, а справа и слева поблизости тихо, пустынно, мертво? Ни человека, ни выстрела, белая сметанная степь бестревожно стекает к реке, к темным гривкам лесков и кустарников. По логи-

ке чуть раньше, чуть позже должны были там появиться войска, свои или чужие, но их не было. Почему?

У каждого на фронте свое место, своя задача, свой угол и предел зрения. Солдат видит поле боя в секторе обстрела, достоверно осознает лишь то, что происходит перед ним или поблизости. Его восприятие конкретно, он сражается лицом к лицу с чужим солдатом, с отдельным реальным танком, бьющим из пушек, громыхающим и лязгающим, ползущим на его окоп, иногда умирает с горьким чувством поражения и разгрома, тогда как на самом деле именно в этот момент одержана победа. Ему тяжело, он не знает оперативной цели, смысла, хода сражения,— это станет известно лишь потом,— но зато и задача у него ясная, простая, строго определенная. Однако и комбат, организующий бой, управляющий сотнями людей, отвечающий за них — чтобы они были сыты, одеты, обуты, накормлены, вооружены, обеспечены боеприпасами, надлежаще исполняли свой долг,— о многом из того, что происходит в дивизии, не говоря уже о корпусе и армии, полного представления не имеет. Кое-что может подсказать опыт, кое-что доходит, просачивается из уха в ухо. А во всей полноте и глубинной сути картина открывается после того, когда она уже обрамлена рамкой мившего.

Если бы капитан Заварзин мог заглянуть в документы и карты вышших штабов, он узнал бы, что на их фронт подошли свежие пехотные и танковые корпуса немцев, отступающие с Кавказа; что из Берлина, по указанию Гитлера, ставится задача снова выйти к Северному Донцу и по его крутому берегу, опираясь на Ворошиловград, организовать прочную оборону, остановить «сталинградский вал» и удержать Донбасс; что для этой цели — и это вскрыто всеми видами нашей разведки — создана крупная группировка прорыва.

Против нее нашим командованием приняты меры. А что же заварзинский батальон?

Его вывели на эти высоты, по своему положению самые заманчивые из близлежащих, потому, что он был свободен и находился рядом, вывели на всякий случай, для подстраховки — в качестве возможного заслона, в качестве резерва, как выйдет по обстоятельствам.

Вышло то, что в предположениях занимало самое последнее место,— бой.

В итоге всех сложных действий двух сторон, преднамеренных и вынужденных, и сложилась для батальона острая обстановка. Два вспомогательных клина немецкого прорыва размочалились и завязли в нашей обороне, но один, в самом центре, пробил ее и, не сумев расшириться у основания, узким лезвием дотянулся до плацдарма с господствующими высотами. Случайность, каких на войне бесчисленное множество. Между тем правее, километрах в двенадцати — пятнадцати, ближе к Ворошиловграду, наши войска наносили в середине дня мощный удар под основание немецкой группировки, и эту «музыку» он сейчас слышал.

Но если тревожился капитан Заварзин, пытаюсь увязать происходящее с положением на фронте, то не меньше, а гораздо больше тревожился и командир немецкой группировки. Не сует ли он ногу в медвежий капкан? Признаком расширения прорыва нет, фланги голы. Приказ надо выполнять, нового не поступало, но что дальше?

Призраки Сталинграда маячили теперь по горизонту и, пусть не в тех масштабах, слишком часто становились явью.

— Заерзали, — сказал лейтенант Борисов, глядевший в бинокль. — Сейчас опять полезут. Хоть бы скорей вечер.

— А вечером они брататься придут?

— Ну, все же успокоятся.

— Не жди. Сегодня они и ночью покоя не дадут. Особенно если подкрепление получат.

Но пока немцы не атаковали — редко били с места танки, всхрапывали тяжелые минометы, пехота вела ленивую перестрелку на флангах, с первой и второй ротами. Заварзину сообщили, что потеряна связь, замолчал телефон, — наверное, перебит провод. Если без разговоров со штабом полка можно обойтись, помощи все равно не будет, то с артиллерией дело обстояло хуже — она осталась «без глаз», без корректировки. Комбат выругался — не было печали! — пошел на командный пункт. Ординарец сунул ему в руку кусок хлеба с ломтем сала, он будто не понял, что к чему, машинально положил в карман полушубка.

— Да поешьте вы, товарищ капитан!

Блеснул глазами, подмигнул:

— Шнапсу достанешь — поем.

На командном пункте адъютант старший сообщил, что

связисты пошли искать обрыв, что он разговаривал с командиром первой роты. Нервничает Скорохватов — как бы не зашли в тыл, лог у него широкий, с мелким кустарником. Насочатся и ударят в спину... И патронов мало, подносчики не справляются, далеко таскать от берега.

— А что с политруком?

— Соболев контужен.

— Передай Скорохватову — фантазии оставить! Когда насочатся, тогда пусть и нервничает. А то сам приду — дам чертей!

— Ты уверен, что не пойдут в обход?

— Что они, дураки, чтобы распыляться? Кулаком не прошибешь — растопыренными пальцами тем более... А подносчикам, пока передышка, пусть помощь подкинет.

Закурил, затянулся, сказал, словно размышлял вслух:

— Я вот думаю — почему немцы мямлят? Выжидают чего-то?

— Сейчас полезут.

— Знаю. А все ж таки что-то тут не так.

Между тем на западе край тучи медленно поднялся, как занавес перед последним актом, блеснуло солнце, пригрело щеки, зажгло веселым блеском снега. Все предметы впервые за день приобрели твердые, присущие им очертания, разнообразно окрасились — багрово полыхнул танковый след, все, что осталось от Паныгина; рыжими стали воронки от снарядов и глинистые обрывы, зеленоватым серебром замерцали кустики полыни, свекольно проступили вихры краснотала, в манящей покоем, уже предвесенней синеве открылись заречные леса. Там еще клубились уходящие облака и косо освещенная солнцем земля была светлее, радостнее неба. В глазах солдат перестали мельтешить хлопья снега, виделось далеко и резко, цель садилась на мушку прочно.

— Весна скоро, — вздохнул адъютант Бородуля. — Журавли домой полетят.

— Журавли — это сойдет, — отозвался Заварзин. — Лишь бы не «мессеры». Вон как расчистило и обрисовало!.. Между прочим, представляю, как меня поносят сейчас в медсанбате — натрепался и умотался.

— Икается, что ли?

— Пока нет, за дальностью не доходит. Кончим тут,

записку пошлю. Со стишками про елочку, как Ираклий советовал.

— Если до того нас не кончат.

— Сидит ворон на дубу, он играет во трубу!.. Не кар-кай, меня не возьмет.

— Тогда не лезь, куда не надо. Без тебя в третьей не обошлось бы?

— Не знаю... Разрубят там, закувыркаемся через гору. Так что, может, и опять придется идти.

И пришлось.

В пять часов немцы, решив, очевидно, во что бы то ни стало выполнить задачу, еще раз навалились на третью роту, которая стала комом поперек горла. Четыре танка и часть автоматчиков остались на охране флангов, все остальное медленно, с угрожающей обстоятельностью двинулось вперед. Танки не спешили, стреляли выборочно, прицельно, солдаты часто залегали, вели огонь с места — они уже отяжелели, не хватало сил для длинного броска.

Эта атака показалась Заварзину похожей на оползень, тяжелый, неумолимый, который подминает под себя леса и сдвигает фундамент зданий, видел такой под Адлером, когда бродил по туристской путевке. Натянул поглубже, до бровей, ушанку, прокричал Бородуле:

— Я в третью. Скажи Брегвадзе, пусть подбросит по рву подкрепление. Все, кроме корректировщиков, в строй!

Восстановилась связь, артиллеристы нащупали передний рубеж атаки, вели беглый огонь, работали, наверное, в одних гимнастерках, спешили. Рыжими вымахами фонтанировала земля. Временами, как соломенное чучело для штыковой практики, швыряло на воздух солдата, еще больше оставалось их на месте недвижимыми темными пятнами. Но немцы продолжали движение, а со стометровки покатались все вдруг — без бинокля различались обветренные, мокро блестящие лица со впалыми щеками, безголосые, широко открытые в нехватке дыхания рты. Левый фланг роты был вдавлен в землю, стерт. Лейтенант Борисов кинулся туда, чтобы не дать немцам распространиться вниз по оврагу, — шла беспорядочная схватка, каждый сам себе главоверх, всаживались очереди в упор, изрешечивая, перерубая. В узостях промоин рвали гранатами противника и себя.

В центре роты тоже вот-вот могло кончиться крахом. Дело дошло до гранат и выстрелов в упор, кое-где немцам удавалось даже преодолеть закраек, схватывались в рукопашной, сцепившись насмерть катились на дно оврага. Удержаться помогло подкрепление из второй роты, которое привел сам Ираклий Бреговдзе, — меньше измотанные, в компактном построении, ударили внезапно, яростно. Закраек оврага выстилался мертвыми, под низким солнцем на снегу багрово проступали красные пятна и полосы; немцы сбились с темпа атаки, потеряли уверенность, некоторые отползали, бежали. Капитан Заварзин, ощущая, что решают секунды, приподнялся над закрайком, вскинув руку с автоматом, кричал, красный от напряжения:

— Огонь, огонь!.. Пошла дубинушка!.. Огонь, огонь!

Срывался на секунду, захватывал полную грудь чадного холодного воздуха, выталкивал отрывисто:

— Бей... не жалея... Гляди веселей... Огонь... огонь...

И — оборвал, пошатнулся, дернулся, словно кто-то невидимый ударил сверху дубовым поленом. В первое мгновение даже не почувствовал боли, удивился, потом подумал, что, наверное, слегка задело. Но, опустив глаза, увидел повисшую руку, внезапно ощутил нестерпимое жжение, побледнел — половина ладони с четырьмя пальцами висела на куске кожи, зазубринами белела кость, на сапоги хлестала кровь. Поняв, что произошло, выматерился зло, крикнул ординарцу:

— Перевяжи!

Ординарец достал пакет, делал закрутку на кисти, чтобы остановить кровь, руки дрожали, бубнил:

— Я сейчас, сейчас... На командный пункт надо, к фельдшеру... Отвоевались...

— Я тебе отвоююсь!.. Пока кто на ногах — ни с места, понял?.. Ни черта ты не умеешь, иди за фельдшером.

— Сбегаю... Сейчас сбегаю...

С каждой секундой боль усиливалась, перетекала на плечо, перед глазамиплыли какие-то мазутные пятна, радужные блики. На одно короткое, стремительно промчавшееся мгновение Заварзину даже показалось, что солнце село, пал вечер и над землей стелется умиротворяющая тишина, пахнувшая почками вербы и талой водой. Он даже вздохнул с облегчением, как человек, закончивший тяжелую работу, но затем снова в уши ворвался автоматный

треск и утиное кряканье минометов, прорисовывались танки, волочащие за собой еще более удлинившиеся и набрякшие синевой тени.

Придерживая на животе тяжелую сумку, запыхавшись, прибежал фельдшер, привычным движением завернув рукав шинели, заляпанный кровью, наложил жгут, забинтовал, подвесил руку к груди. И пока он это делал, Заварзин вдруг осознал то, что уже некоторое время смутно сочилось в сознание,— «музыка» справа в самом громком варианте закончилась, стихает. Что там происходит — победа, поражение? Кто выиграл и радуется, кто проиграл и платит — жизнью людей, исковерканными, брошенными на поле боя пушками, танками? Или, как в шахматах, ничья? А затем,— он не мог бы сказать, через минуту или двадцать,— время для него стало вязким, как смола, закупорилось в своих берегах,— увидел, что и танки, и немецкая пехота отходят, втягиваются в седловину между холмами, истаивают в полыхающей языками, искрящейся снежной пыли. Подумал, что опять галлюцинация от боли, вроде уже привидевшейся темноты и тишины, но услышал голос ординарца:

— Уходят!

Уходят? Почему? Что случилось? Об этом можно было только гадать, но гадать было некогда и ни к чему. Подошел Иракий Бреговдзе, уставший, с пригасшими глазами, покачал сокрушенно головой:

— Носилки сделать, сам пойдешь?

— Куда?

— Знаешь.

— Перележу немного. Свяжи с полком.

Проглотил чуть не горсть пирамидона. Докладывал, сидя прямо на земле, покачивался от боли, держал трубку в левой руке, сдвинув набок ушанку.

— Отошли, говоришь, немцы? — басил командир полка.— Не уйдут, полезли в бутылку, а мы пробку заткнули. Правее наши части прорвали фронт, наступают. Чего это у тебя голос квёлый?

— Зацепило малость.

— Ничего, раз на ногах, и пить сможешь, и плясать тоже. Батальон свернуть, двигаться по правому берегу на Парамоновку, дня два передохнете. И тебе по пути, медсанбат уже снимается, будет рядом.

Но прежде чем свертываться и уходить, предстояла

печальная работа — собрать раненых, похоронить мертвых. Как всегда у атакующего по открытой местности, тем более без быстрого достижения цели, у немцев были огромные потери, но и батальон, если считать оставшихся в строю, уменьшился на треть. Кто-то предložил, ссылаясь на крайнюю усталость солдат, приспособить для братской могилы отвершек промоины, но на него цыкнули товарищи.

Вскоре на вершине холма, далеко видного со всех сторон, даже из заречья, застучали лопаты, с интервалами покотился грохот — рвали тяжелый грунт связками гранат. Когда давали прощальный залп, Заварзин тоже расстрелял обойму левой рукой, по небритой щеке к подбородку сползла слеза — сам удивился, прежде все понимал трезво, только в отрешенности стыли глаза и ходили желваки на скулах. Нервы сдают? Заходящее солнце, красное к ветру, бросало на серые лица людей, на свежий холм быстро слабеющий, печальный свет.

Неловким движением нахлобучил Заварзин ушанку, попросил свернуть сигарку, сказал Бреговдзе:

— Принимай батальон, в заместители бери Бородулю. Я отвоюался.

— Может, обойдется?

— С одним пальцем на правой руке? Разве что в интенданты подамся, и то в левшу переквалифицироваться придется.

Помолчал, вздохнул, улыбнулся — становился снова самим собой, каким его знали, — гусаром:

— Зато Анка теперь от меня никуда не денется. С месяц проваландаюсь в медсанбате, возьму штурмом или подкопом... Женюсь, скорей всего.

— Ты — женишься?

— А что? Отгулял на воле полностью. Будете плохо воевать, гусариков в подмогу пришлем...

Уходили в синих сумерках, при свете первых звезд — притихшая степь с холмиком свежей братской могилы засыпала, растворялась в морозном мареве наступавшей ночи. По горизонту еще вспыхивали зарницы орудийных залпов, светили пожары, в небе, незримые, гудели самолеты, шли в разведку или на бомбежку, а пустынная земля отходила от грохота, воя, проклятий и стонов, отодвигала в прошлое только что кончившийся день с его яростью и кровью. Многие протекло тут — закрывалась она

лесами и оголялась, видела плуги и винтовки, тачанки и танки, рожала пшеницу и становилась пустырем. Многое протекло и многое протечет, а что — кто скажет, кто увидит заранее?

Единственная высота, с которой человек виден, в подлинной сути своей,— это его дело.

«В результате 15-дневных ожесточенных боев войска Южного фронта отбросили противника на западный берег реки Северный Донец и на южный берег реки Маньч. В ходе наступления разгромлены вновь пополненные 17-я и 23-я танковые дивизии немцев, нанесены большие потери 6-й, 11-й танковым дивизиям, 306-й, 336-й пехотным дивизиям, дивизии СС «Викинг», 16-й и 28-й моторизованным дивизиям, 7-й авиаполевой дивизии и другим частям».

Из доклада Военного совета Южного фронта Ставке

«Сообщена волнующая новость. Мощная вражеская армия разгромлена и взята в плен вместе со штабами и генералами. Битва, которая решит все, выиграна. Сталинград! Озаряются счастьем лица, повсюду радость. Во Франции, во всем мире вера превращается в уверенность».

Поль Крибейе, один из руководителей французских партизан

«В ход были пущены все мыслимые виды транспорта. Тысячи солдат шли на запад в эту холодную, страшную ночь. Но они были веселы, удивительно веселы и счастливы и громко говорили про Сталинград и про то, что они совершили там... И когда фары освещали степь, видны были в снегу трупы людей, павшие лошади и разбитые вдребезги орудия войны. Мы находились теперь на территории, которую еще недавно занимала окруженная немецкая группировка».

Александр Верт, «Россия в войне 1941—1945»

Миру брезжил рассвет победного дня. А в донской степи солдаты, офицеры, генералы на пределе человеческой выносливости делали свое дело. Падал и падал снег, выла пурга, трещали морозы. Обледеневали валенки, воротники полушубков,

шапки, брови, зубы. Но — шаг, шаг, еще шаг, теперь вперед! Генерал Запорожченко, командир нашей дивизии, — той, ушедшей на войну из цветущих садов Кубани, — два дня, руководя боем, ночевал в скирде соломы у переднего края. Жуя мерзлый хлеб с куском мерзлого сала, говорил:

— Я много пожил и повидал, но только теперь понял до конца, что для человека, воодушевленного сознанием правоты и верой в народ, горизонты невозможного отодвигаются за пределы нашего глазомера...

ЗДРАВСТВУЙ, КОМБАТ!

История эта, по всей вероятности, вряд ли была бы написана, если бы не одна случайная встреча, которая бросила на нее неожиданно яркий свет. В жизни нередко случается, что какой-нибудь человек или событие кажутся нам самыми ординарными, и лишь потом, когда проходит немало времени, мы начинаем понимать их в истинном значении, и перед нами вместо будничности обнаруживается чудо человеческого бытия.

Сорок второй год для южных армий был тяжелейшим испытанием, втянул в сталинградскую воронку более миллиона людей — пожилых и молодых, женатых и холостых, веселых и брюзгливых, ярких по характеру и малозаметных. Одним из них был капитан Виталий Косовратов. Он прибыл к нам в первой половине сентября, вскоре после того как наши дивизии заняли на правом берегу Дона от хутора Рыбного до Серафимовича плацдарм, с которого позже двинулись на Калач наши танки, замыкая в кольцо группировку Паулюса. В штабе дивизии Косовратова назначили — предшественник был убит — комбатом с «посадкой» на высоту между Рыбным и Матвеевским, голую, неудобную, обдуваемую ветром и палимую все еще жарким солнцем. К тому же плацдарм в этом месте был узким, метров пятьсот в тыл до мелового обрыва, с которого легче было скатиться, чем спуститься.

На войне вообще удобных мест не бывает, но хуже этого придумать что-либо вряд ли было возможно. Досталась нам высота сравнительно легко: под ударом баталь-

она Андрея Шубникова итальянцы просто бежали, побросав в землянках плащ-палатки, тощие байковые одеяла, оранжевые, словно елочные игрушки, гранаты в алюминиевых рубашках и зубные щетки. Но, оглядевшись и спохватившись, непрерывно ее контратаковали, так как отсюда не только во всех подробностях просматривалось ближнее левобережье, но и каждая машина, идущая в нашем тылу за тридцать километров. Высоту таранили и грызли ураганными налетами артиллерии, клевали минами, штурмовали с воздуха, утюжили танками. За одну первую неделю на ней был ранен капитан Шубников, попогиб сменивший его комбат, был убит командир роты, а второй искалечен. Здесь каждую ночь солдаты хоронили павших или эвакуировали за Дон раненых.

Не знаю, как объяснили Косовратову его задачу — возможно, сухим военным языком, не вдаваясь в подробности, — «оседлать, закрепить, удержать». Я познакомился с ним по пути на переправу, когда он шел к «месту прохождения службы». Шел и насвистывал мотивчики танго и фокстротов из тех, под которые мы танцевали при луне в парках в канун войны.

Еще не совсем обогретый утренним солнцем, лес был прохладен, наполнен мирными шелестами, шевелил светлые вперемежку с темными пятна на укатанной до блеска дороге, выгонял на работу полчища муравьев и козявок. Тянул легкий ветерок с запахом речной воды, невдалеке слышалось тарыхтение повозки и ленивые понукания ездового: «Н-но, милая!» И комбат, с тощим зеленым вещмешком за плечами, шел и насвистывал, заменяя птиц, покинувших эти места из-за постоянных обстрелов. На душе у него, по всему судя, было безоблачно, он явно переоценивал идиллию придонского леса, который в любую секунду мог взорваться свистом, грохотом, шипением осколков. Мы, старожилы, ходили здесь, держа ушки на макушке и непрерывно шаря глазом по обочине, чтобы иметь на примете к случаю рытвину, ямку или воронку. «Пижон или не нюхал пороха? — думал я, постепенно нагоняя Косовратова. — Бравада или благоденствие от неведения?»

— Слушал вас в довоенном репертуаре, — сказал я, когда мы представились друг другу. — Исполнение почти художественное.

— Погодка хороша! — улыбнулся он. — А вот лесок

так себе, грибов не видать. Под Ржевом наши теперь небось боровики жарят и рыжики в консервных банках присаливают. Знаете, что такое соленый рыжик к холодной водке?

— А что такое тухлая вода из бензиновой канистры — знаете?

— Думаете — предстоит?

— Там, куда идете, — да.

— Что ж... В жизни всегда так: то вода — беда, то беда — без воды. И так далее. Но я слышал где-то, что человек выносливее собаки, ко всему привыкает.

— Оптимизм вам, видать, не по карточкам выдавали. Сами весь потребляете или займы даете?

— Если просят. А у кого нужда?

— Увидите.

— Да, загнали вас тут во глубину Руси дальше всех. Даже не верится! Но жизнь свое везде возьмет, ее в сапог не вобьешь.

— Повоевали много, опыта набрались?

— Было малость... Ротой командовал, потом в госпитале текущий ремонт делал. Вам не доводилось? Выйдете — тоже насвистывать будете или облакам «Утомленное солнце» петь. Я и сам бы, да у меня голоса настоящего нет...

Мост перейти Косовратов не успел — начался налет. Тявкили зенитки, осыпая листву осокорей мелкими осколками, султаны зеленой воды, подсвеченные солнцем, вспыхивали на стержне театральных люстрами. Иногда близкий взрыв бомбы осыпал водяной пылью деревья и кусты, и они начинали серебряно сиять, а земля била в ноги короткими толчками, попрыгивая, как рабочая лошадь под непривычным для нее седлом. По воде плыли оглушенные стерляди, мертвенно белели толстобрюхие судаки.

Я посмотрел на Косовратова. Каски он не надел, на высокий лоб с первой, слабо обозначенной морщиной выбивался из-под пилотки коротко стриженный темно-русый чуб, глаза цвета густо-синей осенней воды смотрели спокойно и сосредоточенно.

— Не попадут, — прокомментировал он работу немецких летчиков. — Нервничают.

Посмотрел на мои закушенные губы, прибавил:

— И вы тоже нервничаете.

Я действительно нервничал, и, наверное, заметно, но ему-то зачем об этом говорить? Тем более что не все просто, что простым кажется. Деревянный, с трудом под обстрелами построенный мост я принял от армейских саперов с обязательством немедленно заминировать. От края до края. Чтобы в случае отхода пропустить на левый берег все свои танки, но ни одного немецкого. И теперь каждый пролет моста был начинен взрывчаткой — первые от берега на электрозапалах, остальные на детонирующем шнуре. Это значило, что взрыв даже одного заряда от близко упавшей бомбы мог поднять на воздух две трети моста. И вдруг в это время приказ на отход? Мороз по коже! Но посторонним это не объясняют, ездить и ходить по такому мосту и так не мед, а если еще знать, что под тобой собственные мины... Косовратов об этом, вероятно, тоже не догадывался,— пехота! — а я не считал нужным объяснять. Да он тут же и забыл о соображениях насчет моих нервов, облокотившись на край щели для удобства, принялся рассматривать в бинокль свои будущие владения.

— Н-да-а,— протянул он, когда самолеты, разворачиваясь для нового захода, ушли к Еринскому,— высотка-то у преддверия рая. С апостолом Петром можно запросто шуточками перекидываться.

— Зато для философии жизни удобно,— съязвил я.— Видно далеко, во все концы света.

— И у итальянцев то же самое,— продолжал он.— Значит, почти так на так... А для философии не обязательно видеть во все концы света. Диоген в бочке жил.

— Но его не бомбили.

— Если не считать насмешек...

Когда самолеты ушли и движение по мосту возобновилось, Косовратов, прощаясь, пригласил:

— Случится оказия — прошу в гости.

— На рыжик с холодной водкой?

— Каша на сале — тоже вещь...

Пришел я дней десять спустя, рано утром, когда небо едва начинало зеленеть. Итальянские контратаки, правда, уже повыходились, стали затихать, но палили на этих высотах из всех видов оружия даже по суслику. Косовратов, стянув гимнастерку и майку, умывался в траншее возле блиндажика: ординарец тоненькой струйкой цедил воду из носика обгорелого чайника, немало лет послу-

жившего в казацкой хате; комбат, туго сложив ладони, наклонял лицо, стараясь не уронить ни одной капли. Экономили водичку, ходить-то за ней надо было под обрыв не без риска получить пулю или осколок! Жилистая шея комбата уже была кирпично красна, а от обреза воротника кожа молочно белела, словно была чужой. На левом плече алел шрам с еще заметными следами ниток, которыми рану зашивали.

— Ну, цел твой мост? — улыбнулся Косовратов, прихорашивая чуб обломком расчески.

— Цел. Но я уже передал его под охрану соседям.

— А сам путевку на курорт получил?

— Я — в огородниках! Пехоту минами от итальянцев отгораживаю.

— Меня в очереди нет?

— Подай письменную заявку, оплати гербовый сбор...

— Правильно, традиции надо сохранять! А то кончим войну, глядь — бюрократов нет. Что такое! С непривычки оторопь возьмет!...

После завтрака я изложил Косовратову причину, по которой прибыл, — выбрать в расположении батальона место для наблюдательного пункта командира дивизии. Я хорошо знал, что комбаты не любят таких «мезонинов» — притягивают лишние мины и снаряды. Но Косовратов сам помог мне оценить местность и привязаться на карте. Я смотрел на него с любопытством — не умудрен еще в таких делах? Не понимает, что делает? Он, видимо, догадался, сказал:

— Ждешь, когда скулить стану. А я не буду. Ждешь ведь?

— Жду.

— И жди на здоровье. У меня в роте солдат был один, бондарь по ремеслу, так он говаривал: «Слеза не огурец, кадку ею не наполнишь». Умный дяденька! И давай-ка полезем в блиндаж, сейчас чемоданы кидать будут. Интересное тут распределение труда: в окопах итальянцы, а тяжелая артиллерия — немецкая. Работают по расписанию, как на железнодорожном узле.

В самом деле, через минуту или две немцы открыли огонь — аккуратный, с интервалами в сорок пять секунд. Накатник в блиндаже ритмично вздрагивал, струйки сухой мелкой пыли, медленно просачиваясь сверху, вспыхивали в солнечных лучах, пробивавшихся сквозь окно, ко-

торое могло служить и амбразурой. Комбат перехватил мой взгляд, вздохнул:

— Эта проклятая пыль теперь за час не выветрится. Плюемся и то черноземом... А опасности прямых попаданий нет, немцы уж если берутся, то долбят по одному месту. Великое дело — национальный характер! Итальянцы, например, музыку и песни любят, заведут наши в окопе со скуки — слушают, не стреляют, аплодируют порой. Симпатичные люди, даже убивать жалко!

— В секту молокан готовишься? У них религия запрещает брать в руки оружие.

— Нет, я убиваю по возможности, но — жалко. Гитлеровцы знают, за что воюют, мы — тоже. Тут — коса на камень. А эти сами не понимают, чего их сюда черт занес. Ветер, что ли, в голове? Иногда кричат: «Рус, земля лезь, наш офицер идет, пук-пук будем!» И начинается пальба, сплошь и рядом в белый свет. Воевать против них легче, чем против немцев, но как-то не по себе. Там знаешь, во что пулю и штык всаживаешь, чувствуешь себя человеком против зверя, здесь — человеком против обманутого простака. Разговаривал я тут с одним пленным, спрашиваю через переводчика: «Зачем пришел, землю завоевывать?» Скалит зубы: «У вас климат плохой, нам вашей земли не надо». — «Так зачем же?» — «Дуче приказал, генералы пригнали». Злюсь: «Ты что же — овца, домашняя скотинка, которую хозяин куда захотел, туда и погнал?» Обижается: «Италия — прекрасная и культурная страна, это всему миру известно!» И ведь будь это капиталист или аристократ, а то простой рабочий, как говорится, «брат по классу».

— Комиссару своему эти сантименты не разводи — не поймет.

— Почему не поймет? Воспитание у нас одно, мы даже одногодки, в окопах сидим вместе. Он и сам голову ломает: как так получилось, что надеялись на мировую революцию, а вышла такая чересполосица?..

Я с любопытством рассматривал блиндаж Косовратова. Говорят, что каков дом, таков и хозяин, и на фронте истина эта оставалась неизменной. Если в блиндаже на полу клочится солома, на лежанке валяются пустые консервные банки вперемежку с гранатами, а на столе хлебные крошки и патроны, то так и знай, что живет тут либо ухарь, для которого все трын-трава, либо человек уста-

лый, надломленный, смятый жизнью, не способный ни к быстрым решениям, ни к смелым действиям. У Косовратова земляной пол чисто подметен, лежанки аккуратно застланы плащ-палатками, гранаты и патроны в специальных нишах, на стенке подвешен кусок зеркала, подобранный, видимо, в разбитом доме, а за зеркалом сизые метелки ковыля. Даже банка с остатками топленого масла аккуратно перевязана марлей. Я поделился своими наблюдениями. Косовратов пожал плечами:

— Не на богомолье в Киев идем. Там переночевал из милости у добрых людей — и дальше. А мужик русский знаешь как действовал? Придет в глушь, кругом зверье воет, а он поплюет на руки, возьмет топор и начинает дом строить. Так и заселили землю до Тихого океана...

Через двадцать минут обстрел кончился, немецкие артиллеристы выполнили норму. Солнце заметно поднялось, выкатилось в бледное небо над высотами, стало припекать. Сухо и горько, предвестием осени запахла редкая трава, потек, водянисто мерцая у горизонта, нагретый воздух. Комбат сказал, что он должен поспать, жизнь у них главным образом ночная, а мне предложил почитать книжку, принесенную кем-то из Вешенской, из библиотеки Михаила Шолохова. Это был «Разгром» Фадеева, я уже читал его и потому сказал Косовратову, что последую его примеру. Было душно, досаждали какие-то мураши, что-то шуршало и потрескивало в соломенной подушке, но усталость взяла свое. Проснулся я часа через три от негромких голосов в траншее. Вышел. Прислонившись спиной к земляной стенке, чернявый сержант с пушистыми усиками убеждал пожилого длиннолицего солдата с темными осоловелыми глазами:

- За Доном теперь хорошо-о!
- А чо хорошего?
- В хутор сходить можно.
- А чо в хуторе? Песок кругом.
- Кино, говорят, крутят.
- А чо кино? В два месяца раз.
- Заладил — чо да чо... А тут чо?
- Обыкновенно. Война.
- Я в лесах вырос. Мне тут, в степи, как голому на сковородке.

— Местность как местность. Вот в городе — там да. Там стены валяются, камень кругом брызжет... Сталинград,

к примеру, взять. Горюет злосчастно наш брат солдат. А тут чо? Тут — ничего...

Принесли обед из термоса. Заместитель Косовратова старший лейтенант Слепнев, круглый и налитой, как яблоко, рассказывал, хлебая из котелка:

— Зимой, с декабря по февраль, был я на курсах усовершенствования. Жили на солдатском режиме, ночью на посту напляшешься в сапожках! Но главное — всегда хотелось есть, даже во сне. «Подье-ем!» — а ты шницель не доел. Зато как дорвешься, бывало, до военоторговской столовой — по два и три обеда закладываешь! Идешь потом и шатаешься от сытости, глаза, как на свету у совы, слипаются.

— И водку из-под полы проворили, — высказал завистливую догадку адъютант, который, с небольшими перерывами на формирование, находился на фронте с начала войны.

— Случалось.

— И к бабам шастали.

— Чего не было, того не было. Очень ты кому нужен, если в неделю на час вырвешься.

— А бабы там оголодали. Мужик, в тылу отбракованный, и то на счету.

— Бросьте-ка вы жеребятину, — нахмурился комбат. — У женщин в тылу синие жилы на руках от недоедания и работы. А вы слюнявите.

— Так это без обиды, по присловью. И война огрубляет.

— А я думаю, — отрезал Косовратов, — если уж мы способны огрубиться до скотства, то и воевать не за что.

— Народ никогда не стеснялся в крепких выражениях.

— Тоже мне народники! Знавал я таких — земляную силу изображает, в семье при детях матюками кроет. А куда конь с копытом, туда и рак с клешней: ребяенок его едва маму мамой называть научился, а уже товарищей обкладывает, пишет еще, как сорока лапой, а на заборе углем художества выводит. И на войне тоже. Как генерал матерщинник, так и вся дивизия туда же: в атаку поднимаются — матом, приказы по телефону — матом... Провода перегорают! А телефонистки на узле — девчонки, может, дочки таких же командиров... Пакость, дикость, а не народность!

— Война!..

— Хамство и на войне — хамство.. Мать-перемать... а мать в тылу слезами обливается. Я же так считаю, что без уважения к матери и к женщине мы не только никакого социализма не построим, а и просто настоящими людьми не станем. Душа свинарником пахнуть будет...

Неизвестно, чем бы и окончился этот неожиданно возникший разговор, воспламенивший страсти, если бы не звонок из штаба — запрашивали в полк информацию о положении и, по просьбе комиссара, сводку о политбеседах. Оставив Косовратова у телефона, мы со Слепневым вышли.

— Наивный у нас комбат, верно? — спросил он.

— Почему наивный?

— Мораль нам читает...

— Обиделся?

— Да нет, просто какая уж тут мораль, в этом озверении? Государство на государство, народ на народ. Убиваем, калечим, за человеком охотимся, как за зайцем, прости господи. От крови тошнит.

— Цинизм лечит, что ли?

— Победа все спишет и переменит. Между прочим, комбат и дневник ведет. А это запрещено приказом.

— Может, стихи сочиняет?

— Какие там стихи! Проговорился, правда, что литературой увлекался, но — по части чтения. А по профессии — агроном. Так тут у нас не посевная, не уборочная!..

— Послушайте, Слепнев, а вы не думаете, что это на ябеду смахивает?

— Нет, не думаю. Я ведь как командир командирую. В пекле живем, друг друга понимать надо. Он же недоτροгу строит из себя.

— Нас же не на одну колодку тачали.

День повернул к вечеру, высоты Задонья сперва пожелтели, затем пошли рябью — от каждой травинки, от каждого бугорка вытянулась тень. Вдоль брустверов легла черная иззубренная полоса. Левобережье затягивало ровной мягкой синевой, в которой одиноким огоньком горел крест на церкви в Еланской. В такую пору к станицам и хуторам начинают течь из степи стада коров и овец, обозначая свое движение лентами золотящейся пыли, но никаких стад теперь тут не было — дороги, которые просматривались с высот, были однообразно мерт-

вы. Зато под самый закат, перед тем как солнцу нырнуть за синие гребенки леса под Солонцовским, живым мерцающим пламенем высветлился кусок Дона. Но созерцанию тут же и пришел конец — снова с теми же сорокапятисекундными интервалами начала бить немецкая артиллерия. И по тому же, что утром, месту. Когда она окончила и стало темнеть, я собрался уходить.

— Подожди минутку, — попросил Косовратов. — Я напишу записку.

— Куда?

— В медсанбат. Можешь передать?

— Мне редко приходится там бывать.

— Ничего. Когда случится, тогда и передашь.

— Романчик? А сам кипятился, когда об этом зашла речь.

— Неужели и ты не понимаешь? Я вовсе не против влечения мужчины к женщине и женщины к мужчине. Иначе и нас на свете не было бы. Это было и будет, даже если с неба камни посыплются... Я против пошлости и грубости...

— Ладно, не оправдывайся. Пиши.

Вернулся он минут через пятнадцать с заклеенным стандартным конвертом, в котором лежало письмо. Но адреса на конверте не было. Я указал на оплошность:

— Чеховского Ваньку Жукова изображаешь?

— Нарочно не пишу. На войне с письмами всякое случается. Как и с людьми. Не хочется быть жвачкой на чужих нечищенных зубах. Ирину Озолину знаешь?

Я перебрал в памяти всех девушек и женщин медсанбата — а я их знал, вместе ехали на фронт, — но никакой Ирины Озолиной припомнить не мог.

— Нет, не знаю.

— Не имеет значения, она поступила недавно.

— А может, почтой пошлешь?

— Не стоит. У них там с хирургом сложные отношения.

Я взял письмо.

И разразился скандалчик.

Записки я сам передать не смог, пути в медсанбат не лежало. Послал ординарца — кубанский казачок, смелый и оборотистый, он был надежен во всем. Когда он вернулся, я поинтересовался — какая она, эта Ирина? Однако единственное, что я мог установить, так это то, что

«совсем молодая». В остальном описании она ничем не отличалась от всех других — зеленая гимнастерка, зеленая юбка, брезентовые сапожки... Ординарец явно не был экспертом по части женской красоты.

— Ей лично передал?

— Ей. Она живет на постое с подругой. Я ее вызвал...

Таким образом, совесть моя перед Косовратовым была чиста, как слеза. Но из этого еще ничего не вытекало. Ирина, дорожа письмом, не захотела оставить его дома, положила в карман гимнастерки. И выронила в операционной. Уборщица нашла и передала хирургу, и тот разбушевался, грозил увольнением. Допытавшись, что принес его мой ординарец, хирург пожаловался к случаю штабникам и даже командиру дивизии, когда тот приезжал проводить раненых. Среди офицеров поползли слухи, что Косовратов завел шашни и соблазнил сестру, а я был сводником. И посему нам будет — иные утверждали, что уже был, — устроен «громовой разнос» и что дело этим еще не кончится. Знакомый майор из оперативного отдела штаба, когда меня туда вызвали по текущим делам, проскрипел:

— Нашли чем заниматься, когда Сталинград в опасности.

— А без письма Сталинград в безопасности был бы?

— Воевать надо лучше, а не за юбками бегать.

— Разве Косовратов в тылу сидит?

— Ничего, комиссар вложит вам ума.

— Косовратов беспартийный. И я еще не член партии.

— Да? Поздравляю! Тогда займется сам комдив, а у него рука потяжелее.

Теперь уже я, прожеванный сплетней, фыркал и выпускал колючки, не без опасения ожидая встречи с командиром дивизии. Знал я его как человека острого, но умного и уравновешенного, и звали его все ласково «дедушкой». Да мало ли что? Положение наше, несмотря на частный августовский успех, было не из веселых, напоминало байку об охотнике, который залез к медведю в берлогу. «Эй, я медведя поймал!» — «Так тащи его сюда!» — «Да он не идет!» — «Ну сам сюда иди». — «А он не пускает!..» В таких условиях может случиться, что всяко лыко в строку. Однако же комиссар дивизии, с которым я встре-

тился мельком, ничего не сказал, а командир дивизии не вызывал.

Увидел я его недели две спустя в хуторе Солонцовском, куда меня пригласили на вручение орденов и медалей отличившимся бойцам, среди которых находились и наши из батальона. Церемония проходила в бедненьком, тусклом зальчике вполне торжественно, даже, пожалуй, несколько выпренне и скованно, поскольку это были едва ли не первые награды в дивизии — сорок второй много и жестоко требовал, но наградами не баловал. После вручения командир дивизии предложил мне сесть с ним в машину:

— Пристраивайся, сапер, в Кулундаевский подвезу...

Я поехал от недобрых предчувствий — в Кулундаевском стоял медсанбат. Исподтишка разглядывал комдива; летом, когда фронт дивизии был растянут на пятьдесят километров, — не фронт, а кисея, пальцем проткнуть! — ему в отчаянном положении приходилось сутками мотаться по раскаленным пескам левобережья, ночи не смыкать глаз в штабе, и ото всех мытарств он был худ, выглядел старше своих лет. Даже глаза его казались выгоревшими, излишне светлыми, как степное небо. Теперь он поправился, посвежел, был схож с бегуном на дальние дистанции, загустевшей голубизны глаза смотрели испытующе, но с веселинкой.

— Вот уж не собирался в Кулундаевский, — сказал я, упреждая события.

— Знаю. Ординарца туда посылаешь.

— Посылал, товарищ генерал.

— Свою инициативу проявил? Или Косовратов попросил?

— Он просил, чтобы я сам к случаю завернул.

— А ты — ординарца?

— Самому обстоятельства не позволили.

— У меня попросился бы.

— Вы бы не пустили.

— Для такого дела не пустил бы.

— Вот видите!

— Ничего не вижу. Предлог бы подыскал. Обещание, данное товарищу на фронте, надо выполнять. Или не давать его. Под смертью ходим.

— Мне сказали, что вы и без того собираетесь учинить разнос.

— Кто сказал?

— Так говорили...

— Ябедничать не хочешь? Правильно. А разнос за что?

— Как за что? За это самое...

— А если Косовратов девушку любит? Он человек серьезный, насколько я понимаю.

— В штабе указуют: война, положение тяжелое.

— Верно указуют: тяжелое. Фашисты к Волге вышли, этого на русской земле со времен Чингисхана не было. И все-таки жизни это не отменяет. Вот если бы вы службу несли нерадиво, мы бы с комиссаром показали вам, где раки зимуют! Да и за шашни направо-налево чесать против шерсти будем. Но что серьезно — то серьезно. Где Косовратов познакомился с медсестрой? Когда успел?

— Не знаю.

— В медсанбат тайком не бегал?

— Думаю, что нет.

— Тогда у меня все.

— Зачем же меня в Кулундаевский везете?

— Поговорить по дороге хотел, мне туда надо — раз; командир химроты у тебя там приятель — два. Приятель?

— Да.

— Вот и передохни у него вечерок. Батальон заслужил поощрение за переправу и минирование, да всех не отпустишь. Значит, получатель от имени...

Прибавил после паузы:

— Был я у Косовратова, сидел на НП недавно. НП — жиденький, от дождика. Поосновательнее построить не могли? Добротой моей пользуетесь? А комбат ничего, с размышлениями. Скородумов не люблю: котят родят быстро, а они слепые. Леску ему бы подбросить для блиндажей и пулеметных гнезд, а? На осень потянуло, солдат и командиров укрывать надо.

— У Косовратова еще ничего, порядок. Оседло устроились, только поселкового Совета не хватает — озе-ленение организовать на общественных началах.

— И молодец. Забота о победе начинается с заботы о солдате. А лес ему нужен.

— Транспорта нет.

— Подумаем...

Я вздохнул с облегчением. История с письмом, мелкая

при обычных обстоятельствах, все же отравляла настроение, наводила на грустные размышления. Трагедия Отелло тоже из сплетни выросла! Не перевелись и у нас люди, которые сало ели, а других за постное масло в семи смертных грехах обвиняли. Лезет такой в чужое белье копаться — руки от удовольствия дрожат, а самого тряхни — дерьмо посыплется. На войну шли с убеждением, что общая беда очистит от мелкой скверны, — очистила, да не всех. Видно, клопа и в огонь брось — все клопом запахнет... Эту мысль в общих чертах, без перебора в формулировках, я и высказал командиру дивизии. Он не согласился:

— Кого имеешь в виду? Хирурга? А ты примерься с его места, — может, того хуже раскипишься. Вам волю дай — всех сестер сведете. Умны, начитанны, напористы, и женщин атакуете куда успешнее, чем итальянцев! А у него, у хирурга, раненые, он за каждую жизнь перед своей совестью ответ держит... Ну, еще кое-кто чернозем на колесо накручивал. Так и тут ум приложить надо. Есть люди, у которых всю жизнь с женщинами не ладилось, — легко это? Ласки всем хочется, даже собаке. Такие не понимают или завидуют. У других дочери в тылу, за них боятся — вдруг и там вертопрахи крутятся? Одергивать их, чтоб неповадно было! Иные и жен и детей потеряли, у них и жизнь в том состоит, чтобы фашисту отомстить, все прочее поехой кажется... Вот оно сложно как выходит все. И вообще для удаления бородавки на носу голову снимать не обязательно...

Тем все и кончилось. Много было дыма, да при малом огне. Но все-таки было... Впрочем, сорок второй можно судить лишь сорок вторым — горели не только города, но и нервы.

Леса Косовратову мы подвезли, но по присловью — не до жиру, быть бы живу. Голь на выдумки хитра, недостаток транспорта компенсировали изобретательством: к чему, рассуждали мы, забирать в блиндажах и пулеметных гнездах стены деревом, если земля плотная, и так выдержит? Хватит двух венцов сверху и накатника. В этом духе проинструктировали командиров рот, для дополнительного вразумления вручили самодельные чертежики на каких-то трофейных итальянских бланках. Когда ротные ушли, Слепнев, похудевший и взвинченный, дал волю раздражению:

— На воде экономим, на чурбаках экономим, патроны приказано расходовать с оглядкой. Один патрон — один итальянец. А если промах?

— Не зарывайся, Слепнев, — посоветовал Косовратов.

— Да при чем тут — зарываться, не зарываться? На вещи надо смотреть трезво. Фашисты на две тысячи километров от Берлина — у них машин хватает. Если в оборону садятся, такие казематы строят, что бомба не берет. Итальянцы и те из автоматов за так просто пукают, для страха. Куда же у нас идут дела?

— Ладно, из слов стенки не выложишь, патроны не набьешь. Придет пора — все разъяснится.

— Из разъяснений тоже патронов не сделаешь и блиндажа не построишь!..

— Чего это он брюзжать стал? — спросил я, когда мы остались одни с Косовратовым.

Он вздохнул:

— У всех нервы на взводе. Немцы агитацию ведут, утверждают, что Сталинград с часу на час будет взят. Потом марши и фокстроты бравурные шпарят. Радиоустановка у них тут, никак наша артиллерия накрыть не может.

— Верят?

— Как сказать? Наши-то сводки тоже кисленькие. По совокупности и набегают. Да, по правде сказать, в Сталинграде и наша судьба решается: если немцы его возьмут и еще ударят на Воронеж, можно петь «Со святыми упокой». Ни одной дороги к нам не останется, значит, ни патрона, ни снаряжения... ничего. А ведь и так уже Кавказ с нефтью и Кубань с хлебом отрезаны. Слепневу же и того хуже, у него жена и дочка маленькая под Новороссийском остались.

— Как будто у тебя тишь да гладь!

— Я комбат, — невесело улыбнулся Косовратов, — моя нервозность в такой обстановке — зараза для батальона. Хочешь, чтобы верили и тебе и комиссару, — с утра заправляй по форме и ремень и психику. Даже если на душе скребут черные кошки.

— Был я недавно у Заварзина, у гусара. Знаешь? Вот с кого все как с гуся вода — треплется, пижонит. Про тебя сказал, что ты в стратегии ничего не понимаешь — медсестру надо не из своего госпиталя сманивать, а из итальянцев.

янского, в крайнем случае при наступлении захватить Русских девок, говорит, я уже знаю, тут ничего нового, а с итальянских художники мадонн писали! Силен?

— Счастливая натура. Даже завидно, честное слово! Мы вот в обстановке копаемся, в психологии, а он просто живет. Результаты же будут одинаковы.

Поскольку разговор перешел на такие темы, я рассказал Косовратову о встрече с командиром дивизии, спросил, откуда он знает Ирину. Он помялся:

— Сейчас не ко времени, как-нибудь в другой раз. Настроение не то...

На войне другого раза может и не быть. Но об этом не напоминают...

Снова встретились мы уже зимой, незадолго до наступления. Трудности лета остались позади, в нашем тылу появились свежие войска, и настроение пошло круто вверх. Мне приказали сделать дорогу для танков под кручей из Матвеевского к Рыбному. Замысел был хорош: чего другого, а танкового удара отсюда итальянцы ожидать никак не могли. Беда была в том, что сидевшая у нас в печенках круча облаком нависла над Доном в тылу косовратовского батальона, дорожка под ней была узкая и чертоломная, на телеге поедешь — и то гляди, как бы в воду не плюхнуться. Как сделать дорогу для танков? Долбить кирками? За месяц не управишься. Взрывать? Итальянцы догадаются, не дураки — и прощай внезапность!

Надоумил командир первой роты Бабушкин, пожилой, спокойный, житейски умудренный:

— Рыбу надо глушить на Дону повыше кручи. Реку там итальянцы просматривают, поймут, чем занимаемся. Само собой, снарядов подкинут, но зато и взрывы под кручей в общей кадрили сойдут... А судак, если его сразу, как только из проруби вытащишь, заморозить — какой судак! На Волге пыловым называется... Крылья расправишь — летит!..

Так и сделали. Батальон получил уху, танки — дорогу. Косовратов конечно же обратил внимание на громыханье в тылу, прислал связного узнать, что происходит. Я написал ему записочку: «Ловим рыбу для свадьбы, приглашаем тебя со всем батальоном». Но связной видел, что делается, доложил. Косовратов, разумеется, догадался, к чему идет дело, но для уточнения прислал ко мне в Ле-

бязинский старшего лейтенанта Слепнева. Тот рассказал пару новых анекдотов об итальянцах, которые придумывали солдаты в окопах, потом сказал, что у них на переднем крае сплошные минные поля, если поступит неожиданный приказ на атаку, что делать?

— Не знаю.

— Учите, капитан, мины вмерзли в землю, с ходу не выковырять.

— Мы и не собираемся ковырять.

— Почему?

— Приказа нет.

— Но ведь он может быть в любую минуту? К тому идет, а?

— Будет — выполним.

— Комбат рассчитывает на доверительность.

— В своем тылу на разведку пустился? Хитер. Но я доверительно и говорю.

— Мы все же перемены ветра ждем. У нас тоже признаки есть.

— Какие?

— Закат был свекольного цвета! — усмехнулся Слепнев. Свои сведения он предпочитал держать за пазухой.

— А как с блиндажами? Выдержали стены? Или все же деревянные поставили? Теперь транспорт есть.

Засмеялся:

— Ничего, обойдемся...

— И патронов хватает?

— На войне патроны и хлеб всегда нужны...

В ту же ночь батальон Косовратова вывели с высоты и расположили на отдых под Еланской. А мы — в Лебязинском. И рядом, а порознь. Так мы и не посидели в тепле казацкой хаты за рюмкой. И неожиданно сошлись на одной тропе в ночь перед наступлением. Судьба свела нас в одном окопе — его батальон поставили во второй эшелон, я остался с одной ротой, вторая повзводно была переподчинена пехотным подразделениям на время прорыва обороны.

— Вот и слез ты со своей высоты, — сказал я.

— Признаться, не ожидал.

— Нечаянная радость слаще.

— Обжитая оборона — как старый дом: и знаешь, что в новом лучше, а и жалко чего-то. И похоронили многих там, и рухлядью обзавелись, и командиров итальянских

по именам знали. Даже травка, что на брустверах прижилась, и то какая-то своя стала.

— Сдал кому?

— Меньшим братьям, химроте в том числе. Твой приятель пузом степь греет.

— Чего это он там? Газов ждет, что ли?

— Какие газы! Строевые подразделения сдвинули на главное направление, а ими дырку заткнули. Ничего им не сделается! Вот только к передовой не привыкли, каждой пуле поклон кладут пока что. Когда пришли в белых халатах, на ангелов были похожи, теперь же и в ад без отмывки не возьмут. Словно трубы ими чистили!

Атаку назначили на восемь, но она не началась и в девять. Рассвет — как молочный кисель. Падал мокрый снег, высоты заволокло серой мутью. Ни одного самолета в воздухе, нигде ни одного выстрела. Нервный накал, обычный перед наступлением, стал западать, зевками и осоловелостью глаз сказывался недосып. Сжигая папиросу за папиросой, мы топтались в кое-как, наспех открытым окопе. Зима не схватила землю как следует, со стенок капало, по дну чавкало. А мы уже в валенках, и мокрые ноги мерзли хуже, чем в сапогах. Ординарцы набросали на дно ракового голья, но помогло мало.

— Ирину видел? — спросил я, когда мы на минуту остались вдвоем.

— Мельком. Командир полка дал отпуск на четыре часа.

— Все в порядке?

— В порядке.

Мимо нас проходил к командному пункту командир дивизии в шинели и серой папахе. Поздоровавшись, усмехнулся:

— Ага, сошлись Фигаро с графом Альмавивой!

— Сами свели, товарищ генерал.

— Только выход на сцену не ваш пока. Посидите за кулисами...

Около десяти часов небо стало отсасывать туман от земли. Сквозь редкий снежок смутно обозначились высоты, занятые итальянцами. Подозревали они что-либо? Вряд ли. Если что и заметили, то на сегодня уже успокоились. Классика оперативного искусства такова, что все наступления начинаются на рассвете — за ночь скрытно группируются войска, впереди целый день для развития

успеха. Но утро давно кончилось, день полз к обеду. Мы и сами в сомнении: что случилось? Какой новый приказ получен? И разумеется, мы даже не подозревали, что начинается операция, которая станет переломной в ходе всей войны и с грохотом войдет в историю.

Нет, ничего мы этого не знали, и томились неизвестностью, и подумывали, где придется ночь коротать... И в это время неожиданно, так, что дух перехватило, ударила по всему фронту артиллерия — тяжелая с левого берега, от Лебяжинского, Еланской и дальше, дальше, полевая на правом берегу, от Нижне-Калининского до устья Хопра и Серафимовича. Из леса в излучине донесся рев «катюш», и через наши головы, как змеи-горынычи, ринулись реактивные снаряды. В воздухе — вой, свист, шум, земля под ногами «плавала». Мы знали, что большинство солдат и у нас и у итальянцев вооружены винтовками, но ни одного отдельного выстрела различить было невозможно — сплошной горох. Слева от нас, оставляя на волглом снегу темные следы и лязгая гусеницами, устремились к передовой танки с десантниками в белых маскахалатах. Донеслось приглушенное «ура!».

Так прошел весь день, очень короткий. Засумерничало неожиданно рано, будто даже не солнце садилось, а просто землю затягивало дымом и копотью. Мимо нас, потные, на трюхающей рыси, пробежали связные и посыльные — лица красные, глаза блестят, рты судорожно хватают воздух. Спрашивали с болезненно обостренным интересом:

— Ну, как там?

— Упирается, сволочь...

— Ничего, ползем помалу...

— Танки пошли по тылам...

И уже перед самым вечером:

— Раскололи, что орех обухом!

И какой-то вовсе возбужденный младший лейтенант:

— Пошли, братцы, ей-богу, пошли! Теперь хрен остановишь!

В сумерках я и Косовратов получили приказ сниматься, двигаться на Кружилин в колоннах. Снег к этому времени повалил сплошняком, идешь, а впереди белая стенка. На позициях итальянской артиллерии, где все перетерто в крошево и еще валялись неубранные трупы, зашли в уцелевшую командирскую землянку. Железная печка

уже почти остыла, но под золой, когда ее разгребли, еще вспыхивали волчьими глазами угольки. Горела керосиновая лампа, в углу лежал незапертый потертый чемодан с бельем. На стене, у изголовья кровати с никелированными шарами — сволокли, видать, у какой-то казачки, — висела прокопченная иконка, изображавшая распятие Иисуса Христа. На ногах и на руках натуралистические яркие пятна крови от гвоздей.

— Во бежали, даже бога бросили! — веселился ординарец Косовратова, ухватистый солдат с выгоревшими бровями, быстрый и жилистый. — Теперь им одна дорога — в ад... Можно, товарищ капитан, я возьму на память? У меня бабка страсть богомольная, подарю ей эту иконку — блинами со сметаной закормит!

— Иконка-то католическая.

— А что, у них бог другой?

— Бог тот же, обряд другой.

— Так разве она поймет? Один черт...

— Бери.

И мне:

— Уютненько жили. Я на соломе спал, а они на перинах.

— Не зря говорят, что дома и солома едома. В Италию приедешь — на перинах поблаженствуешь. В отместку.

— Пока солнце взойдет, роса очи выест...

Разгром противника, особенно когда от него много натерпелся лиха, всегда должен радовать. Но поле боя в плотнеющих сумерках являло картину унылую, удручающую. В стволе пушки с оторванным колесом лафета, похожей на смертельно раненное животное, скулил ветер; чадил догорающий танк, отброшенная взрывом башня темнела в степи, как шлем на богатырской голове из пушкинской поэмы «Руслан и Людмила»; убитые, некоторые без шинелей, лежали в подтеках собственной крови, на открытые глаза, с последней мольбой или проклятием устремленные в небо, наслаивалась снежная пленка, пошевеливались на головах седые клочки волос; воронка от тяжелого снаряда была схожа с могилой — приготовили ее, покойников привезли, а похороны не состоялись. Мы, конечно, видели только малюсенький клочок поля боя и даже не подозревали, что то же самое было не на десять, не на двадцать, а на двести километров, от Дона до Вол-

ги; нам и в голову не могло прийти, что все это по совокупности потом будут называть Великой Сталинградской битвой и поворотным пунктом войны. Однако и то, что проходило перед нами, было достаточно страшным и впечатляющим. Наша совесть чиста? Конечно. Справедливое возмездие? Разумеется. Но есть в душе человека, если он еще человек, какие-то струны, которые перед лицом смерти звучат в тональности печали и заставляют в доме покойника ходить тихо. Не хотелось говорить и нам, шли молча.

Наконец и это осталось позади. Стемнело, снег повалил гуще. Из белой мглы совершенно неожиданно, под самый нос, выскочили плетни, потом сарай, потом хата с узенькой, в вязальную спицу, полоской света в занавешенном окне. Зашли узнать, что за хутор. Хозяйка, морщинистая, закутанная до глаз в темную шаль, вытертую и с бахромой по краям, в мужской поддевке, из которой, как грязная пена, лезла вата, смотрела на нас с мучительным недоумением человека, который еще не совсем проснулся. Пыталась что-то сказать, но губы прыгали:

— Не... не... не...

— Успокойтесь, мамаша. Разве не видите — свои?

Стала отходить, на глазах появились слезы. Зашептала тревожно:

— Немцы только что от меня выскочили. Человек двадцать.

В самом деле, на полу возле ушата с помоями еще дымился окурок сигареты, на который мы сначала не обратили внимания. Ординарец Косозратова метнулся на улицу, порыскал вокруг двора, вернулся.

— Нету. Метель такая, что ничего не видеть.

— Черт с ними, — махнул рукой Косозратов. — Им сейчас не до нас, нам — не до них.

По пути к Кружилину, который мы с трудом нащупывали по следам танков и артиллерийских тягачей, нас ожидала еще одна встреча. В хуторе, построенном в один порядок — а может, это была лишь одна из его улиц, ночью не разобрать, — все окна в хатах были освещены, будто пытались высмотреть: что там, в степи, делается в эту ночь? Кто, убитый, медленно заносится снегом, приобретающая до весны белую могилу? Кто, смертельно раненный и не замеченный товарищами в горячке боя, напрасно

просит о помощи под низким серым небом без единой звезды? Мы так давно отвыкли от освещенных окон, что они рождали и праздничное изумление, и недоумение одновременно. От одной из калиток отделился и вышел в полосу света сивый, как дым, дед в латаном полушубке и в шапке с одним висячим ухом. Растопырив руки и мелко перебирая кривоватыми ногами в стоптанных валенках, кинулся нам навстречу:

— Товарищи казачки, один минут! Дело есть!

— Какое дело, дед?

— Военное, казачки, а то чего бы и останавливать. Пленных имею, сдать положено.

— Какие еще пленные?

— Итальянской нации.

— Да откуда они у вас?

— Самолично взял... Забегли на огонек, полохливые такие, в снегу до макушки. Я и крикну на них: «Ага, взяло кота поперек живота!» Гуркотню-то мы весь день слышали, так я и сообразил. А они на мое присловье черт те что подумали, руки вскинули... Ну, оружие их я на баз выкинул, самих же в горницу запер и девку с ухватом на караул поставил. Теперь, значит, сдать положено.

— Некуда нам их девать, дедушка. Держите до утра.

— Ну, раз пленные не к надобности, прошу зайти пирогов отведать. Старуха моя музыку вашу в безотрыв слушала, а как темнеть стало, говорит: не иначе, наши прибечь должны, угощению ставить надо. Мучицу-то от нехристей укрыли, так что прошу.

Мы посмеялись над сноровистым дедом, но от пирогов отказались, хотя, по правде сказать, уже и оголодали. Посулили — не пропадут пироги, к утру охотники найдутся.

— Окна-то для чего засветили? — спросил я.

— А как же? Свои пришли.

— Налетит фриц да бомбой шуганет.

— По такой завирухе не налетит. Сам казаковал, значит, с понятием.

В свете от окон узнал чернявого сержанта, который там, на высотах, мечтал побывать за Доном. Лицо его мокро, губы полураскрыты, дышит шумно — видно, тоже устал. Спросил:

— Как дела?

Ухмыльнулся:

- Топ-топ, супротивнику гроб!
- За Доном побывал?
- Не довелось. Да теперь чего уж!
- А приятель где? Который все «чо» да «чо»?
- Ранило его...

Снег, снег. Влажный, с пресным запахом. Все бело — степь, воздух, шинели, шапки, брови. Ставишь ногу, а куда — не знаешь: никаких теней, чувство расстояния утрачено. Кто-то упал, поскользнувшись, самосработал автомат, плеснул очередь. К счастью, в небо. Короткий переполох, чтение морали:

- Своих побьешь, раззява!
- В обороне не отоспался, на ходу дрыхнет!
- Засветите ему по уху, чтобы искры из гляделок!

И нам присветит...

А присветить и вправду не мешало бы. То и дело теряли дорогу — черт ее углядит по такой погоде. Все чаще приходилось «нажимать» на компас. Фонари у нас были, но батареи давно выработались, изводили спички. Иногда в стороне или позади тоже на мгновение вспыхивал замутненный метелью огонек или возникал белый шар от фары, но кто там шел или ехал, было неизвестно. Может быть, те же немцы, что забегали в хату, может быть, другие батальоны и полки, может быть, артиллерия на гусеничной тяге. Степь за рубежом сражения кипела яростной жизнью, но что в ней происходило, точно не знал наверняка никто. Отступающие итальянцы и немцы металась в поисках спасения, наступающие, выполняя еще днем полученные приказы, двигались к назначенным пунктам на ощупь или по компасам.

А в тылу, от Воронежа и Москвы до Ташкента и Владивостока, еще никто не знал, что уже вот оно, началось и что сотни тысяч людей, придавленные и ослепленные снегом, действуют в эту ночь с энергией, которой не подзревали в себе сами.

В Кружилин мы добрались, когда серое небо начинало медленно наливать скупым светом. Передовые части уже уходили дальше, поднимаясь в густых колоннах по длинному склону. Странное это было зрелище. Набив карманы трофейными ракетами, солдаты развлекались, то и дело запуская их в небо. Белые, зеленые, красные, трехцветные с фиолетовым сердечком, они полосовали воз-

дух, повисали гроздьями, шипя и брызгаясь искрами, крутились в снегу.

Из-за облаков вывалилась «рама», разнюхивая обстановку, закладывала сумасшедшие выражи. Летчики, вероятно, протирали глаза от удивления, пытаясь понять причину ракетной кутерьмы, но долго размышлять им не дали, на бреющем полете, как куропатки из сугроба, вынырнули из степи два наших истребителя. «Рама» удрала, свинтившись в облачный кисель, вслед — улюлюканье, свист, не переводимые ни на какой язык эпитеты.

— Были кротами, стали соколами, — смеялся Косовратов. — Смотри, что делается! Прежде из-за этой ведьмы не то что в щель или воронку, в конскую ископыть пытались вжаться, хотя там и суслику не поместиться. А теперь в пропеллер кукиш суют. Распрямились христианские души!

— Как бы опять гнутья не пришлось, — выразил сомнение Слепнев. — Насколько я понимаю, соседи справа не наступали?

— У них плацдарма нет, а лед на Дону дохлый.

— Значит, на фланге у нас — ты, да я, да мы с тобой.

— Надо полагать, и об этом подумали.

— Кто?

— Тот, кто отдавал приказ на прорыв.

— А если мне мало, чтобы другие думали? Если я и сам хочу?

— Становись маршалом!

— Остроты — делу не замена.

— Стоит ли заводитьсь? — пожал плечами Косовратов. — Конечно, оборону мы освоили, а в наступлении — перзоклассники. Тут ведь не только тактика — тут психика другая. Пулей встречать идущего и самому идти под пули — вещи разные. Но это еще не значит, что надо без конца опасаться и сомневаться, — это значит, что надо учиться. И побыстрее!

— Надеюсь, это не намек на трусость?

— Да перестань ты, Слепнев! Что мы знаем о масштабах операции? О количестве людей и техники? О конечных целях? Ничего. И дурак был бы тот, кто раззвонил бы об этом раньше времени, — тысячи людей зря кровью умылись бы. Наше дело — понять и выполнить приказ, отданный нам. Но пока что и выполнять-то нечего, просто совершили туристическую прогулку до Кружилина.

— И смотреть в будущее не надо?

— Смотреть — да, гадать не стоит. Был у меня приятель, командир роты. Интеллигентный и разумный человек, но с золотухой в мыслях: все они у него чесались по части предвидений и прогнозов. С утра до вечера решал: что сделают немцы, если мы сделаем то-то и не сделаем того-то? И как действовать нам, если немцы не сделают того-то, а сделают то-то? Все предвидел, на все случаи у него имелся план. И что же? Кончилось все совершенно непредвиденным вариантом...

— Был убит?

— Поел ягод, заболел дизентерией и был отправлен в тыл... Сейчас, кстати, мы узнаем наше будущее...

В центре Кружилина уже стояли регулировщики — два пожилых солдата с повязками на рукавах. Один, в черноземной щетине по бурой, обветренной коже и в валенках с новыми, сияющими галошами, сунул в карман незажженную трубку, предложил нам зайти в штаб.

— А штаб чей? — спросил Косовратов.

— Зайдете — узнаете.

— Повеселело на душе, отец? — спросил я солдата.

— Что правда, то правда. Вот только Берлина не видеть, сколько ни глядим — далеко-о еще...

Полковые штабники двигались на машине и нас опередили. Здесь же находился и командир дивизии. Спать ему, видимо, тоже не пришлось, но он уже был чисто выбрит и оживлен.

— Притомились? Всю ночь топали? — спрашивал он. — Итальянцев и немцев встречали? Нет? Ага, посыпался муравейник! Одежка же у них к зиме не приспособлена, застывать начнут. Как настроение у бойцов? Кормили уже? Даю четыре часа отдыха, потом получите новый приказ. Маловата передышка, только и успеть, что дух перевести, да и ждать некогда — куй железо, пока горячо...

Разместив людей и удостоверившись, что повара уже делают свое дело, пошли в хату, которую подобрали ординарцы, и мы с Косовратовым. Пожилая, но миловидная казачка, за юбку которой цеплялись двое мальчишек, чумазых и бледных, рассказывала: «Идете все, идете... Куйте вам и счету нету. А итальяши говорили, что всех вас уже побиили, одни дети да старики воюют». Затем сказала, что неподалеку в балке должен быть какой-то итальян-

ский склад. Что там, она не знает, жителей близко не подпускали, да уж что-нибудь есть...

Мы с Косовратовым решили — сходим. По правде сказать, втайне мы надеялись, что перепадет вина и консервов, — совсем не вредно было бы устроить батальонам небольшой подарок. Но это была наивность неопытности: склады, в которых водились такие вещи, всегда доставались передовым частям, и они знали, что делать, а если не управлялись сами, то остатки немедленно брали на учет интенданты и выставляли свою охрану. Нам достался врытый в откос балки небольшой склад оружия и боеприпасов. Саперного имущества, которое могло бы пригодиться нам, здесь не было, но мой ординарец соблазнился новеньким шкодовским ручным пулеметом. Вещичка выглядела симпатично, но по боевым качествам не бог знает что, главным образом из-за малой обоймы.

— Возьмем, а, товарищ капитан? — спросил ординарец.

— Зачем? Нам в саперном и автоматов не положено.

— Так то своих... А по степям в метели ходить — мало ли чего. Будем при штабе держать и в санях возить.

— Ты знаешь, в этой идее что-то есть, — сказал Косовратов. — Ну-ка, посчитай, сколько их тут, — приказал он своему ординарцу.

За вычетом того, который взял мой ординарец, набралось двадцать семь. Были еще здесь ротные минометы, ящики снарядов, мин, гранат. Но это уже никого не интересовало.

— Пулеметы заберем, — решил Косовратов. — Я человек жадный...

— А патроны к ним кончатся — дальше что?

— В утиль сдадим.

Позже, когда мы толклись у крыльца, ожидая, пока комдив закончит разговор с разведчиками, ординарец Косовратова похвастался, что поймал в степи три итальянские лошади, достал сбрую и сани, погрузил пулеметы и патроны.

— Кругом шестнадцать!

— Завезут тебя итальянские кони в Рим, — сказал я. — Дорогу туда знают.

— Не говорите! — засмеялся ординарец. — Ведь получается что? Русского языка не понимают ни бельмеса.

— А пулеметы понимают?

— Это в два счета научим, товарищ капитан! Они все языки сразу схватывают...

— Комдиву про пулеметы не говори,— предупредил меня Косовратов.— Указаний пользоваться трофейным оружием нет, а уж что до лошадей, то обязательно отберут.

— Ты бы еще персональный артдивизион завел.

— А что ты думаешь? Если б смог — завел бы. Артиллерист из меня, правда, как из лыка пружина... Да и то не беда, освоили бы: народ у нас головастый и рукастый. На Дон дивизия пришла — и воевать-то не умела. Комиссар рассказывал: прикажешь отделению окапываться, а оно норовит хрпака в тени задать. А как прижало в обороне, вон как благоустроились! В траншеях ниши выкопали, немец из самолета пулемётами поливает, а солдат лежит да покуривает. Печки и трубы из черт знает чего делали — кусок крыши из разбитого дома, бочка, канистра, два десятка кирпичей из разрушенной трубы... Из рубашек итальянских гранат — портсигары, вместо зажигалок, кресала — патрон, завязки от кальсон, вываренные в золе, кусок железа да кремень. Нам бы в любом деле злости побольше...

Позвали к генералу. Он сказал:

— Сами видите, пошли дела! Теперь понимаете, для него плацдармы держали? Наши танки в Калаче замкнули окружение немцев в Сталинграде. Если доведем операцию до конца, великое дело сделаем! Только без головокружения от успехов — работа впереди серьезная. Ты, Косовратов, перейдешь в первый эшелон, будешь на острие клина... Действуй решительно, врежайся как можно глубже, пока итальянцы и немцы в себя не пришли! Воевать придется иногда без связи с соседом, с открытыми флангами. Нашим войскам это в новинку, поэтому все командиры и политработники должны неустанно объяснять бойцам смысл задачи. Поймут — сделают! Нервы у самих в обороне не отсырели?

— Как будто нет.

— Отставить «как будто»! Сомнения украшают философов, но губят солдат. Еще вопросы ко мне есть? Нет? Значит, ни пуха ни пера!..

Я уходил на Каргинскую, Косовратов пошел правее.

— Что, если увижу, передать Ирине?

— Что жив и здоров. Остальное она знает...

...Погода переменялась.

Метель из влажной, декоративной переходила в сухую, мороз набирал силу. Начинается это красиво, кончается страшновато. Редкий влажный снежок, поначалу почти отвесно слетавший на высоты и курганы, все подсушивался и подсушивался, все сильнее косил, будто кто его швырял из-за горизонта. Степь постепенно принимала вид ткацкого станка, на котором со все усиливающимся посвистом натягиваются туго скрученные нитки. Все злее и напористее задувал ветер. Вдобавок к падающему он срывал на сугробах старый снег, выпавший раньше, взвихривал его, перемалывал в муку тончайшего помола. Прошел час, другой, и уже не видели мы собственных валенок, словно брели по колени в белой кипящей воде. И наконец степь одичала совершенно, зашипела, как рассерженная гусыня, завывала разбойно, перемешала небо с землей. Ничего не разобрать и не различить. Ни шинели, ни ватники тепла не держат, оно выдувается, выбивается ветром; брови запорошились и стали белыми, с ресниц течет; и нечего думать, чтобы обтереть лицо рукавицей, наляпашь снег на снег; и голой рукой не стоит, облегчения на секунду или две, да зато и в рукавицы снегу натолчется.

И по этой степи, озверевшей к ночи, двигались наши батальоны, грохотали танки и артиллерийские тягачи, плутали группами и в одиночку разбитые итальянцы, румыны и немцы. Иногда в белой летящей мгле возникали перестрелки, и было неизвестно, кто стреляет и в кого, и некогда было разбираться, неумолимо действовал приказ: вперед, только вперед! Порой в хвосты батальонов и рот пристраивались, побросав оружие, итальянцы и плелись до ближайшего хутора или станицы, где их сдавали до подхода вторых эшелонов на попечение местных жителей, вооружаемых итальянскими же карабинами.

В такую ночь только и мечтаний, что добраться бы до жарко натопленной хаты, выпить кружку горячего чая — водка по норме положена, да ее нет, тылы запаздывают — и растянуться на полу как есть, не раздеваясь. Довоенные годы вспоминаются пребыванием в куцах рая — подумать только, можно было по семь часов спать в постели, в воскресенье ездить загорать и купаться! Иногда в метели начинаешь дремать прямо на ходу, и вдруг словно перешагиваешь какую-то незримую черту, за которой ни метели, ни воя — недвижимый прохладный воздух с запа-

хами трав, утренние березки в каплях росы, девушка спускается к речке, беззаботно помахивая полотенцем, свистит над головой птица, стежка дырчата оттого, что ночью вылезали черви...

Просыпаешься от удара ветра в лицо. Ах, поспать бы, только поспать бы! Но приказы командования, которое старается использовать все выгоды ситуации, подгоняют и подгоняют. В первые сутки после выхода из Каргинской спали три часа целой ротой в одной избе с выбитыми окнами. Мне, как командиру, отвели самое спокойное место — под столом, чтобы в суматохе не наступили на голову. Да и какой сон? Только свалились замертво — в хутор сунулась группа немцев, обстреляла из пулеметов. Слово горстями гравия по стене. Правда, в бой ввязываться не стала: получив короткий отпор, растворилась в снегах, как в кипящей извести. Так нам еще что, мы шли вторым эшелонем, а каково Косовратову, Шубникову и другим, кто впереди? Они врзались в боевые порядки итальянцев и немцев, как нож в живую дергающуюся плоть. Что там творилось! Раций не было, связь тянуть не успевали, из пятерых посыльных до цели добирался один, остальные блуждали по степи, попадали в другие части, а то и погибали... Позже, на занятиях комсостава, нам объяснили цель, смысл и последовательность всей операции, но это уже ничего изменить не могло: в памяти на всю жизнь остались облепленные снегом, шатающиеся от усталости солдаты с белыми бровями, и это, на пределе человеческих сил, движение через буран, когда ветер приходится расталкивать грудью, в которой и без того не хватает воздуха, и мельтешащие в сером крутящемся мареве фигуры немцев, итальянцев, румын, и станицы, которые, когда к ним подходишь, наводят на мысль об эпохе обледенения, и хаты с замерзшими или выбитыми окнами, со стенами, исклеванными пулями и осколками.

И наконец мы остановились, и я иду в медсанбат. Не для того, чтобы передать очередную записочку Ирине Озолиной, которую я так еще и не видел, а для того, чтобы повидать самого Косовратова.

Улица, широкая, на каком-то просторном степном дыхании, поднимается вверх от речки Калитвы — плавно, не спеша поднимается, словно где-то в отдалении решила во

что бы то ни стало влиться в низкое и серое, как выморочный двор, январское небо, от которого веет стылостью и скукой. С утра подбавило снегу, он, молодой и кипенно-белый, прикрыл колеи с вывороченной грязью. Глаз едва различает мерзлые желваки и ухабы, идти трудно. Редко поставленные дома прячут зады в скопище сараев и пунек, в сорочьи пнезда плетней и частоколов, нахлобучили белые крыши. Стрехи свисают низко над маленькими окнами, как старые трещиноватые козырьки над чьими-то смутными глазами, в которых ни живого тепла, ни любопытства, а только одна затаенная усталость. Ни петуха, ни свиненка на улице. Либо немцы поели, либо рассовали их в глухие закуты, а если бы могли, так и глотки заткнули бы, чтобы и не кукарекало и не хрюкало оно, не вводило бы во грех. Война — дело жестокое: немцы ушли, придет срок, уйдут на запад и свои, а жить надо.

В самом конце улицы, наверху за неширокой площадью, на которой летом, вероятно, ветер гоняет бурые вихри пыли и заплатами курчавится низкорослая травка из тех, что и свиньи скубут, и гуси щиплют, и овцы толкут, и теленок ловит неумелой мокрой губой, а она всё же ухитряется выжить, — за этой неширокой и сейчас пустынной площадью видится серое, построенное безо всяких премудростей, на простой квадрат, здание школы. В нем и помещается медсанбат.

В отличие от улицы, которая является как бы тупиковой и в нижнем конце никуда не ведет, площадь изъезжена и исхожена, разрисована елочками автомобильных шин, слюдяно блестит санными следами. Виднеются кучки навоза, иные из них еще паруют, мертво шевелятся под ветром клочки сена. Обметенные ступени крылечка в трещинах, оббиты, истоптаны, со слабыми красными пятнами — оттирали от крови, да не оттерли, не сразу и горячей водой возьмешь. Возле треснутой притолоки прибит сизым на морозе гвоздем небольшой флажок — он то обвисает белой кляксой, то, когда шевельнет ветер, полыхает красным крестом, наводя на неожиданные соображения: на кресте, если верить Библии, Христа распяли, а медицина при чем? И вслед за этой мыслью другая: господи, когда зимой ранят, и так хуже некуда на холоде, а тут еще положат вот в такое унылое здание...

Коридор пуст и чисто вымыт. Это неожиданно: рассказывали, что несколько дней назад, во время боев, тут то-

уже в два ряда, головами к стенкам, ногами к проходу, лежали раненые. Видно, уже эвакуировали. В первой комнате направо, куда я захожу, совсем молоденькая круглоликая сестра с темно-ореховыми глазами кипит на примусе инструменты. Комнатка тесная, рыжие обои с лета засижены мухами, клочья их болтаются подгнившим клейстером наружу; окошко замерзло, все в рождественских елочках, света просеивается с горсть; после свежего морозного воздуха остро чувствуется запах копоти, керосина и йода.

— Вам кого? — спрашивает сестра.

По-видимому, я, здоровый, с полыхающими от мороза щеками, в жизни медсанбата явление нетипичное. Ее жизнь протекает среди серых, землистых лиц, окровавленных повязок, страдальческих глаз. Поэтому во взгляде ее можно одновременно прочесть и вопросительность, и плохо скрытое любопытство, и даже кокетливую женскую лукавинку. Для меня это не ново. Во время первой финской войны мне довелось с двумя девушками идти на остров возле Питкяранта, перед самым мостом нас накрыли беглым артиллерийским огнем две ледокольные канонерки — свист осколков, комья мерзлой земли по спинам, тучи снега вместе со срезанными ветками сосен и елей. И мне на всю жизнь запомнился беззащитный детский крик: «Ма-ама!» А едва кончился артолет, еще и в ушах не перестало звенеть, обе они, отвернувшись, как по команде, вытащили зеркальца и принялись охорашиваться. «Ну прямо котят!» — засмеялся сопровождавший нас солдат.

— Мне хирурга, — сказал я.

— А для чего? — допытывалась сестра.

— Не бойтесь состариться от любопытства?

— Не хотите говорить — ждите.

— Сколько?

— Сколько надо.

— Не очень-то вы любезны.

— Наше дело лечить, а не любезничать.

— Ладно, уступаю моральному давлению. Комбат Косовратов у вас?

— Это который? Капитан? С орденом? Глаза синие такие, мочальный чуб, около уха родинка?

— В следственных органах работали?

— Я?

— Да.

— С какой стати?

— Словесный портрет хорошо получается...

— Нечего надо мной насмехаться и зубы заговаривать, не болят. У нас капитан.

— Можно его видеть?

— Во-первых, он не у нас, а на отдельной квартире. У нас тут теснота. И вообще ждите хирурга, я справок не даю.

Сестра была тоже новая, не из армавирских. Сперва она дулась на меня, подозревая, что я над ней подшучивал, потом оттаяла, рассказала, как плохо им пришлось во время наступления от Дона до этой Калитвы — каждый день переезды, все несутся сломя головы, а машины буксуют, помещения заранее не подготовлены, в Поповском пришлось саперов выкидывать из школы, расположились, как баре, а им негде. В другой раз начали оперировать в колхозном правлении, а там окна выбиты, над столом чуть не снег порхает. И еще в одном месте их бомбили — ужас! — окна только брызнули, железная крыша набок съехала, а у них операция, раненый на столе с осколком в животе, отойти нельзя, тут ему и конец, да и бежать-то некуда, щелей не выкопали...

— Где вас мобилизовали? — поинтересовался я.

— Меня?

— Кроме вас, тут еще только печка...

— Меня не мобилизовали, я добровольно.

— Думали, тут пряниками кормят?

— Знаете, товарищ капитан, поберегите ваше остроумие для других! Я думала, вы как человек, а вы не понимаете...

Наверное, мы бы с ней основательно перецапались, а потом, быть может, и подружились бы, что довольно часто и случается, но пришел хирург, длиннолицый мужчина с пшеничными усами, человек крутой и насмешливый. Помимо тяжких хлопот, которые выпали на его долю во время боев, он, видимо, все еще вел изнурительную войну с лейтенантами, капитанами и майорами, которые, по его предположениям, только и ожидали, как бы увести его врачей и сестер. «Я их, сукиных сынов, вполне понимаю, — жаловался он однажды моему комиссару, навестившему раненых, — девки у меня живописные, кровь ходуном ходит — хоть каждый день для переливания от-

качивай. Сам страдаю, понял? Так нельзя же, дай волю — черт знает во что медсанбат превратят! И твой комбат туда же, записочки подсовывает. Плохо ведешь с ним политработу, комиссар!..»

Поздоровавшись, хирург уставился на меня зелеными навыкате глазами, словно просвечивал рентгеном:

— Ну-с, чему обязан честью? Однажды уже имел удовольствие от ваших посыльных.

— От одного посыльного, товарищ майор, от одного!

— Осмелюсь заметить, что меня интересует не статистика случаев, а их общая идея... Так чем заслужил удовольствие?

Я сказал, что хочу видеть Косовратова.

— Гм... Больше ничего?

— Ничего.

— Это можно.

— Как дела у него?

— Пустяки, малость икру попортили, выковыривая пулю. Недели за полторы отлежится. Сам как?

— Ничего... Ватные штаны осколком прожевало, кожу посекло — фельдшер мелкий ремонт произвел.

— Ну, милуй бог... Люся, налеп саперу сто граммов спирту и отведи к Косовратову... Если бы вы, черти, за спиртом только приходили в медсанбат, я бы вас, как родных братьев, встречал... Воды иной раз не хватает, а спирт у немцев захватили... Бывай! Мне уже раненого на стол положили...

Сестра налила мне спирта в какую-то зеленоватую медицинскую склянку, на закуску подала полстакана воды, спросила:

— Умеете?

Я кивнул: кто на войне не умеет этого? Выпить единым махом спирт, затем, не переводя дыхания, воду — и словно не было ничего. Только не дышать, иначе вывернет кашлем, слезами умываться придется... Люся следила за мной, словно шла медицинская процедура, вздохнув, надела шинель:

— Пошли...

Через площадь двигались в «кильватерной колонне» — Люся впереди, я в двух шагах за ней. Рядом идти постеснялась. У нее хорошенькие хромовые сапожки, тщательно начищенные, в разрезе шинели виднелись между краем юбки и голенищами красивые икры, хорошо обрисован-

ные даже при шерстяных чулках. Женственность и молодость. Я в полной мере понимал лейтенантов и капитанов, но испытывал только чувство грусти: одна такая же молоденькая сестра уже погибла — грузовик налетел на противотанковую мину, ее выбросило из кузова, ударило о корни придорожной ракиты. Когда подобрали, была еще жива, но сказать так ничего и не смогла, горлом шла кровь. Теперь вот эта, новенькая, — что ждет ее в невысказанных мытарствах, которым и конца не видно? Всю свою нежность отдала природа женщине, довела ее до совершеннейшего произведения искусства — и вместе с нами, небритыми, огрубевшими, с потрескавшимися от мороза губами, в одну толчею и прорву...

— Вы видели комбата, Люся?

— Перевязки ходила делать.

— И что?

— Когда оперировали, злющий-презлющий был. Кричал — хоть уши затыкай, команды подавал... Знаете, обезболивающие у нас вышли, а так майор спирту ему закатил целую кружку... Он и разошелся! А так ничего!

— Ирина Озолина ходит к нему?

— Это вы у него спросите...

Улица, на которую мы прибыли, была точной копией той, по которой я шел к медсанбату, — такая же широкая и пустынная, только дальним концом выходила в голо простертую степь, резкой белизной отграниченную от серого неба. Малолюдность станицы объяснялась просто: одних давно взяли в армию, других угнали немцы, третьи, связавшиеся с полицейскими службами, ушли сами, четвертые еще не возвратились из эвакуации или от родственников, куда уехали — вместе легче — на время боевых действий. Домик, в котором коротал вынужденный отпуск Косовратов, отличался от других только тем, что его стены были тщательно выбелены и поэтому вместе со снегом на крыше он больше напоминал сугроб, чем жилье. В наледи были и окна, а на крыльце, плохо покрашенном в коричневый цвет, вдоль перил лежали пуховые валики снега, как изящно сделанные подлокотники. В первой половине дома закопченное чело печки, лавки вдоль стен и запах кизяка; во второй — домотканые дорожки в синюю, красную и белую полоски, два фикуса.

При виде нас Косовратов, укутанный красным стеганным одеялом, попытался приподняться, но только охнул:

— А, ч-черт...

— Да ты лежи, мы к тебе не на танцы.

Я ожидал его увидеть похудевшим и побледневшим, но в тепле и на покое он только отошел от красноты и лицо стало приобретать ровный цвет загара. Он, на мой взгляд, даже поправился, а к тому же был заботливо ухожен — брит, небольшой темно-русый чуб наново пострижен и расчесан, глаза без неизменных в последнее время красных прожилок от бессонницы, гимнастерка и портупея с пистолетом аккуратно повешены на спинку стула. Люся, посчитав пульс, ушла, а он, проводив ее взглядом, вздохнул:

— Вот мощи изображаю. Жития святых.

— Очень похоже. И питаешься, по всему видно, акридами и диким медом.

— Акриды — это, кажется, обыкновенная сушеная саранча?

— Саранча.

— А звучит красиво, верно? Вот так же, наверное, с нектаром и амброзией — благолепно и интригующе, а попробуешь — ерунда...

— И давно ты в рай собираешься?

— Нет, просто баловство мысли... Ну, со мной все ясно. Ты как?

— Ничего. Стоим вот на Калитве, дела не делаем, от дела не бегаем... Немцы немного подбросили силенок из тылов, мы подвыдохлись... По моим оперативным суждениям. Вечером в баньку собираюсь — комиссар идею подал, сарайчик тут один оборудовали.

— У комиссара твоего язык колючий, а мужик он правильный. Между нами, я его на Дону сманить хотел к себе.

— Не пошел?

— Сказал, что тебя жалко оставлять. Пропадешь.

— Я милого узнаю по походке! Говорить тебе не запрещают?

— Наоборот, поощряют... Единственно доступный мне вид деятельности. И физзарядки.

— Тогда рассказывай, как воевал.

— Может, для потомков оставить? Байки старого деда про персональные подвиги во время оно? Роскошное дело — теплая завалинка, трубка и галчата с раскрытыми ртами.

— Собираешься дожить — оставляй. Орден за что дали?

— Так, небольшая катавасия одна.

— Не знал, что у нас в дивизии за небольшие катавасии стали ордена давать. Сам бы схлопотал. За плацдарм вот не дали тебе.

— Там — сидел, тут — ходил...

По правде сказать, я уже слышал эту историю несколько раз и от разных людей. По рассказам одних выходило, что мелочь, обыкновенная вещь в наступлении, каждый бы мог; по рассказам других — чуть не битва при Фермопилах, достойная занесения на скрижали. И еще читал я донесение в штабе. Сухое, отжатое от эмоций. На вид все было просто: батальон, наступая вдоль грейдера на Миллерово, в ночном бою, сражаясь перевернутым фронтом, разгромил два итальянских батальона и приставшую к ним в пути потрепанную роту немцев. Вспоминая это, подзадориваю Косовратова:

— Говорят, целую дивизию ты разгромил.

— А не армию?

— Пока нет.

— Дойдет до армии — скажи.

— Легендами начинаешь обрастать, как старая баржа ракушками. На плацдарме первым в дивизии соблазнителем числился, теперь героем.

— Зашемило — вот и геройствовал. Помнишь сказочку, как два козлика встретились на узкой перекладине? А внизу пропасть.

— Как же, букварь в свое время одолел.

— И у нас так случилось. Навалились с тыла. Нам идти, как сам понимаешь, некуда. А им тоже дороги нет: слева — речушка с гнилым льдом, да еще низину подтопила, справа — отроги да балки, забитые снегом. Силенки же на исходе, целые сутки плелись по заметным полевым дорогам.

— Итальянско-немецкий козлик-то посильнее был?

— Зато — как муравьи на бумаге...

Случилось это часов в двенадцать ночи. Одна рота батальона продвинулась в хутор километра на два впереди, две вместе со штабом батальона расположились, тоже в хуторе, позади. Мороз перевалил за двадцать, в поле было мглисто, мело понизу. Днем ничего серьезного не случилось, впереди прошли танки, так что оставалась

только зачистка. Поэтому ужинали во благодушии, надеясь на спокойную ночь, печки в хатах натопили до красноты.

А в начале первого часа, когда комбат уже распаривался в постели, прибежал встревоженный командир роты:

— Немцы!

— Где?

— Позади. До полка.

— У страха глаза велики!

— Проверено, товарищ комбат...

Итаलो-немецкую группировку обнаружили, когда она выходила на рейдер, трое оставших ездовых. Двое были убиты, третий, ехавший впереди, «ускакал на кнуте», гнал так, что лошадь едва не изошла мылом. Командир роты ездовому не поверил, но на всякий случай выслал разведку. Да, все было верно. Батальон, наступавший на острие клина, сам оказался между молотом и наковальней. И, как говорится, жаловаться некому, ни с кем никакой связи. В лихорадочной спешке обсуждали положение:

— Отозвать назад вторую роту?

— А если и спереди нанесут удар?

— Хоть в кулаке будем.

— Но лишимся всякого маневра.

— Не стоять же двумя ротами против почти целого полка.

— Не стоять — значит лежать! В земле. Никакой пощады не будет.

— Главное — не пустить в хутор. Здесь они задушат численностью.

По приказу Косовратова командир роты выдвинул два взвода с пулеметами метров на семьсот вперед, чтобы ударить по голове колонны, заставить ее задержаться и развернуться. Взводы проскользнули на высоты, пересеченные оврагами и промоинами, справа от дороги. Успели вовремя. Когда они открыли огонь, итальянцы шарахнулись влево, но скоро оттуда донеслись проклятия — солдаты по колени проваливались в набрякший водой снег, а некоторые, проломив гнилой ледок, барахтались в тине. Тогда они сосредоточили плотный огонь пулеметов и автоматов на высотах, стараясь сбить заслон, но взводы, укрываясь овражками, все время меняли позиции.

Пока шла эта перестрелка, в хуторе приготовились к

длительному бою, расположив роты за стволами осоко-рей, в садах, за стенами хат и сараев. Комиссар попросил казачек собрать скатерти и простыни для тех, у кого не было белых маскхалатов, и казачки, особенно молодые, шмыгали из дома в дом, пошучивали:

— Приданое даем, так и нас с собой берите!..

Водя, в пояснение обстановки, пальцем по стеганому красному одеялу, Косовратов рассказывал о дальнейшем развитии неожиданных событий:

— Ни справа, ни слева они наступать не могли, только на узком участке вдоль дороги. Правильным для них было как можно быстрее переть напролом, но, во-первых, они не знали, какие им силы противостоят, и осторожнича-ли, во-вторых, они много времени потеряли, ввязавшись в перестрелку. Когда же сунулись позже, мы накрыли их ми-нами и встретили таким плотным огнем, что они растеря-лись. Так вот и валандались до рассвета.

— Трофейные пулеметы пригодились?

— Ординарца я к медали «За боевые заслуги» пред-ставил — ведь это он организовал. Ну вот, стало светать, Я знал, что немцы, а особенно итальянцы до ночных атак не охотники. Теперь наступал решающий момент. Но за ночь я собрал все свои и трофейные пулеметы, в том чис-ле и те, что были во второй роте, выдвинувшейся вперед, скрытно расположил большую их часть на высотах для удара во фланг. Со строгим приказом — открывать огонь сразу по сигналу ракеты... И наконец итальянцы и немцы, расстреляв десятка три снарядов из двух пушек, пошли... Странное и жутковатое это было зрелище: промерзшие, запорошенные снегом, они шли плотными рядами с небольшими интервалами, как смертники. В бинокль хоро-шо были видны заросшие щетиной лица с запавшими ще-ками, широко открытые рты, из которых вырывался пар. Итальянцы впереди, немцы — они все еще командовали и подгоняли — во втором эшелоне, компактными группами. Ближе, ближе, ближе... И тогда ударили все пулеметы, причем крайние на высотах — по немцам. Это было все равно как если бы по зимним тучам полыхнула молния и рыкнул гром!.. Через полчаса все было кончено, немцев покосили почти до последнего, большая часть итальянцев подняла руки. Они — это мы узнали после от пленных — решили по количеству пулеметов, что нарвались на све-жий полк...

Помолчав, Косовратов вздохнул:

— Были и у нас потери. Почти полностью погибли и два первых взвода на высотах.

— А как твой заместитель Слепнев? Ты меня извини, но мне все время казалось, что он не в ладах с тобой и, быть может, метит в комбаты.

— Многое нам иногда кажется... Отвоевался Слепнев. В этом бою раздробило снарядом голень. Отняли ногу, эвакуировали в тыл.

И, еще помолчав, заключил:

— Такие дела...

— Итальянцы — не наши знакомые с плацдарма?

— Нет, от Чира шли. Перед тем как двигаться дальше, посмотрел я на тех, что остались на дороге... Крестики у них на шее, у немцев и итальянцев, образки в нагрудных карманах. Цивилизация, просвещение, Галилей, Шекспир, Толстой, вера во всевышнего и — озверение... Знаешь, что-то мне после этой мясорубки думать труднее стало. Глупо, а?

— Не судите — да не судимы будете... Времени у тебя пустого многовато.

— Это верно. Как теленок на лугу: длинен день — всякой травки отпробуешь. Да и тишина. Непривычно.

— Ирину видишь? — спросил я, чтобы переключить разговор в область реальностей.

— Вижу...

Достал кисет, закурил. Долго смотрел, как дым синими завитушками поднимается вверх, а потом, образовав крохотное облачко, начинает расплываться. Я подумал, что, пожалуй, на этом «вижу» наш разговор о ней закончится, но ошибся.

— Должен тебе сознаться, — сказал он, — что это я ее привез на Дон и посоветовал поступить в медсанбат.

— Ты — на Дон?

— Я.

— Но ты ехал к нам из госпиталя?

— Не прямо. Через Москву.

— И там захватил старую знакомую?

— Не угадал... Ехал я один как перст, если не считать случайных попутчиков. И на войну ушел без романтического «хвоста» — была одна короткая любовь, да и та закончилась еще в сороковом... Ну, ехал и ехал. Занимался трепом с лейтенантами и капитанами. Пил вместе с ними

же свекольную самогонку — выменяли на консервы. Но в Липецке наш состав попал под бомбежку. Знаешь сам, как бывает: внезапный налет, треск, гром, пожары, неразбериха. В комендатуру обращаться бесполезно: у людей сумасшедшие глаза, отдельного человека для них не существует, они мыслят эшелонами. По правде сказать, лучше быть комбатом на фронте, чем комендантом железнодорожного узла в прифронтовой зоне. Налет был жестокий, полдня мы помогали подбирать раненых и тушить пожары. К вечеру железнодорожники начали исправлять пути, а я, решив вздремнуть, в надежде, что ночью уеду, забрел на картофельное поле, начинающееся сразу за водокачкой. И вдруг вижу: сидит у межи девушка, размазывает кулаками слезы. Ситцевое платице на плече разорвано, вещей — никаких. Пытаюсь узнать, что с ней произошло, — ревет еще сильнее... Ну, кое-как вывел ее из шока, разговорились. Оказалось, что ее отец, мать и братишка погибли в Ростове, еще в сорок первом. Приехала она к тете в Сталинград, но и оттуда пришлось бежать. Чуть не до Филонова пешком шли, там немного передохнули и решили ехать к дальним родственникам на Урал. Во время стоянки в Липецке тетка послала ее за кипятком, и, пока она ходила, начался налет, бомба попала в их вагон, разнесло его в щепки. Тетку она даже не видела, спасательные команды не подпускали — такое там было крошево. И осталась она одна, без вещей и без денег. Только с документами — их теперь на всякий случай всегда носят при себе. А у меня у самого отец и мать погибли в Ярцеве, под Смоленском, знаю, каково бывает. Что ж, кто жив, тому надо жить... Накормил я ее консервами с хлебом, утешил, как мог. А когда узнал, что училась она в медицинском техникуме, хотя и не окончила, предложил ей добираться вместе со мной в действующую армию. Да и куда ей было деваться? Поплакала она еще малость и согласилась. Но поезда не шли ни ночью, ни даже утром, немцы остервенело рвали магистраль с воздуха. Кто-то сказал, что лучше добираться на попутных машинах до Грязей, оттуда уехать легче... И начали мы с ней этот поход. Километров двадцать прошли пешочком, остальное проехали на машинах. В Грязях тоже сразу не удалось уехать, заночевали мы в сарае на сене — человек тридцать или сорок. Ирина, не привыкшая к жизни на многолюдстве, жалась ко мне, спала, уткнув

носик под мышку. И так она тронула меня с самого начала своей беспомощностью и доверчивостью, такая она была милая и чистая, что... Впрочем, все остальное давно написано в стихах. Так и доехали помаленьку на Дон, а в медсанбат она пошла одна. При прощании первый раз и поцеловались — сама поцеловала, застенчиво и жарко. В медсанбат ее взяли хирургической сестрой. И потом ты был незадачливым почтальоном.

— Раньше ты мне об этом не мог рассказать?

— Много у нас времени было для длинных рассказов?

— Это верно. И теперь вы видите часто?

— В последние дни она, если нет дежурства, всегда со мной.

— Хирург смирился?

— Не в том дело... В хуторе Поповском нас на неделю вывели на отдых во второй эшелон, и штаб мой оказался через два дома от операционной медсанбата. Вечером под Новый год решили мы с ней пожениться. Правда, без регистрации, под честное слово. Устроили маленькое торжество — был мой комиссар, адъютант, вот эта самая Люся, что тебя привела, два командира роты. Пригласили хирурга, но он зашел только на минутку — в любой миг могли привезти раненых, — принес две бутылки итальянского коньяку и немного спирта. Поздравил, буркнул: «Пошла семейственность — пропала дивизия, расформируют за небоеспособность!» Мне кажется, были мы эту неделю самыми счастливыми людьми на войне. Но это всего неделя, быстрая, как полет пули... Теперь опять повезло — нет худа без добра... Вот тебе и вся история, капитан. А теперь, пожалуй, иди, сейчас придут уколы делать. Вечером свободен?

— Как будто да.

— Вот и приходи после баньки. Найдется бутылка чего-либо — захвати. Спирт я недолюбиваю, если и жечь себя изнутри, то лучше чем-нибудь другим. Должна прийти Ирина — познакомлю. Ты ведь, что ни говори, пострадал на доведении нас до семейной жизни...

Но вечером я к Косовратову не попал. И в баню тоже. В ярах нашли три немецкие машины, груженные минами, детонаторами и прочим саперным имуществом. А у нас, как говорится, закрома были пусты, тылы растянулись на двести километров, машины шли плохо и доставляли в первую очередь патроны и снаряды. Случай посылал нам

в руки все, о чем мы могли мечтать. Да еще дивинженер приказал нам разобраться в конструкции новых мин — были там и такие. А потом снова начались бои, выход к Северному Донцу, вклинение в Донбасс.

В середине февраля в районе Краматорск — Красноармейское немцы предприняли контрнаступление силами 1-й танковой армии. Погода была неустойчивая: то оттепель, когда дороги в поселках чернели и хлюпали жирной угольной жижей, то мокрые снегопады, то морозцы и вьюги. Поначалу бои носили характер небольших стычек, но с каждым днем немцы все наращивали удары, все сильнее начинала давить их авиация. Однажды утром дивинженер приказал мне:

— Срочно поезжай на наблюдательный пункт командира дивизии. Дело есть.

— Предварительной информации не будет?

— Будет. Немцы жмут...

Выехал я с водителем на трофейном мотоцикле. Погода была уже предвесенняя. Небо то расчищалось, открывая радующую глаз синеву, то заволакивалось облаками и густо швыряло мокрый снег. Дул тугой южный ветер, и воображению уже рисовались в нем запахи моря и зелени. Плащ-палатки наши, пока мы ехали по городкам с мертвыми трубами заводов, то и дело окатывались жирной черной грязью. Вода в лужах была черной. За городом же накатанные машинами снежные колеи разъезло, размочалило, колеса мотоцикла то и дело проваливались и буксовали, а над головами почти непрерывно проносились девятки и шестерки немецких бомбардировщиков, работавших почти на бреющем полете. Но мы были одни и, видимо, казались слишком мелкой целью, так что лишь один раз попутно были обстреляны из пулемета.

Картина резко изменилась вблизи переднего края. На наших глазах в ста метрах впереди девятка немцев вывалила весь свой груз на стык дороги с лесистым оврагом. Когда бомбардировщики ушли, оказалось, что под бомбы попали командир полка с адъютантом и четыре подводы. Командира полка подобрали мертвым, адъютанта не нашли — прямое попадание. Возле покореженного дуба оплывали кровью лошади, одна из них, с распоротым животом, из которого вывалились внутренности, все еще была ногами, пытаясь встать, и в глазах у нее было столь-

ко человеческой муки, что у водителя мотоцикла Куликова навернулись слезы.

— Нам тоже оставалось тридцать секунд до смерти, — сказал он.

— Тридцать секунд на войне — вечность.

— Убирайте к черту ваш мотоцикл! — еще издали закричал старший лейтенант. — Не видите, что делается, претесь на самую передовую!

Подойдя ближе, извинился:

— Прошу прощения, товарищ капитан, но дальше ехать нельзя. И мотоцикл отведите назад.

— Где наблюдательный пункт?

— Сто метров левее...

В узкой щели, наскоро прикрытой тощим накатником, находились командир дивизии и начальник артиллерии. Им было сейчас не до меня, и майор из оперативного отдела предложил посидеть в окопе левее.

Наблюдательный пункт и окоп находились на самом верхнем срезе длинного пологого склона, картина боя виделась как на ладони. Из двух поселков, сразу разворачиваясь в боевой порядок, выползали две группы немецких танков, машин восемнадцать — двадцать. Редкие снаряды нашей артиллерии взбивали фонтанчики земли и снега, но, казалось, не производили на атакующих никакого впечатления. Позже, поднимаясь из окопов, к танкам присоединилась пехота, и этот медленно ползущий вал из железа и людей подкатился к началу склона. Усилила огонь немецкая артиллерия и по высоте, на которой находились мы, и ниже и правее, где занимала оборону наша пехота. Все чаще рывкали и танки, но не снарядами, а металлическими болванками. Для чего они это делают, я не мог понять: снаряд поражает площадь, болванка только прямым попаданием, и применяют их лишь для борьбы с танками и бронемашинами. Но зато эффект весьма внушительен — болванка пронзительно визжит, ударившись в землю по касательной, подскакивает, иногда два и три раза, и воеет при этом, и гремит, и шипит. В окоп к нам спрыгнул плотный и осанистый начальник артиллерии, я спросил:

— Товарищ полковник, почему они стреляют болванками?

— Надо думать, снарядов мало.

— А у нас?

— Было бы много, уже встретили бы как следует. У меня приказ — бить только в упор, на верной дистанции.

Достал папиросу, нервно чиркнул спичкой.

— Не люблю этих болванок.

— По-моему, снаряды хуже.

— Снаряд убивает нормально, а это попадет — пополам перережет... Уроды в артиллерийском семействе...

На середине склона по немецким танкам слева густо ударила противотанковая артиллерия. Два или три сразу загорелись, остальные замешкались, начали принимать правее. Мне показалось, что у немцев не хватает уверенности, тем более что пехота их сразу залегла под пулеметным огнем, а затем стала пятиться. Можно было считать, что прямо перед нами стычка идет к концу. Но метрах в двухстах правее события принимали критический оборот — за остервенелыми ударами авиации немецкие танки ворвались на позиции нашей пехоты, и уже невозможно было разобрать, что там происходит: частила артиллерия, длинными очередями захлебывались пулеметы и автоматы, коротко, с глухим звуком, ухали противотанковые гранаты. Спустя десять минут мы узнали, что в бой брошен последний резерв — разведрота. Еще через десять минут стали поступать сообщения:

— Командир разведроты убит.

— Немецкая пехота начинает отходить.

— Шесть танков подбито, остальные поворачивают назад.

И наконец еще одно:

— Убит комбат.

— Кто?

— Капитан Косовратов...

Бой продолжался час с небольшим, но потери наши оказались значительными. Я намеревался попрощаться с Косовратовым, хотя бы снять шапку над его наспех вырытой могилой, но командир дивизии запретил:

— Понимаю все... Но нельзя терять ни секунды! Немедленно вызывай саперов и начинайте минировать дорогу от оврага в наш тыл.

— В тыл? Я правильно понял?

— Правильно. Получен приказ на отход...

В белесоватых от снегопада сумерках, когда вся округа погрузилась в безмолвие — ни одной ракеты, ни одного выстрела, только ровный шум южного ветра, — наши части начали отступление. И я так и не увидел, где похоронен Косовратов, не побывал на его могиле, — мертвый, упокоенный, он остался на захваченной территории, и в первый день небытия над ним глухим лязгом содрогали землю танки немецкой армии...

Через два месяца меня перевели в армейскую газету, а еще некоторое время спустя нашу 3-ю гвардейскую армию передали в состав 1-го Украинского фронта. Мы вышли к Луцку и Ровно, на Берлин, затем на Дрезден и Прагу. Дивизия же, в которой я воевал между Доном и Донцом, ушла к Одессе, в Румынию и закончила свой путь в Вене. Продолжалась только переписка с друзьями, и от них я узнал, что Ирину Озолину в конце июня откомандировали в тыл в связи с ожидающимися родами.

Шли годы, сглаживали в памяти события военных лет, и, пожалуй, я никогда бы не написал этой истории, если бы не одно случайное происшествие.

На опушке предосеннего леса за Припятью собирался подняться вертолет — шли последние приготовления к началу учений «Днепр». Несмотря на то что за каждым кустом и деревом стоял часовой или какая-нибудь военная техника, надо всем властвовало мирное, даже несколько элегическое настроение: неторопливо, словно белые лошади на выводке, двигались в синем небе облака, приятный свежий ветер перебирал уже посветлевшие листья молодых березок и шуршал бурой травой, на стареющей, сплошь утыканной засохшими сучьями сосне деловито постукивал дятел. Пахло грибами, вереском, хвоей. В группе офицеров кто-то вполголоса рассказывал, что в селе рядом есть отличная банька и председатель колхоза уже прислал приглашение с гарантией свежих венников и хлебного кваса.

В это время мимо нас к вертолету, придерживая полевую сумку, быстрым шагом прошел старший лейтенант. Что-то неуловимо знакомое почудилось мне в его лице и фигуре, встревоженная память кинулась в свои подвалы нервически перебирать встречи и события долгой жизни, но, наверное, не много она бы преуспела, если бы не возглас стоявшего в группе офицеров капитана:

— Косовратов, напомни там, чтобы с обратным рейсом прислали газеты.

— Есть напомнить...

Дверь вертолета закрылась, ветер от винта подмял траву, земля задымила пылью. Через минуту, наклонившись чуть вперед и набок, вертолет исчез за деревьями. Я подошел к капитану.

— Простите, пожалуйста, я правильно понял фамилию старшего лейтенанта: Косовратов?

— Правильно.

— Имени и отчества не знаете?

— Сергей Витальевич. Прошу прощения за нескромный вопрос — почему он вас интересует?

— Собственно, интересует меня не столько он, сколько его родители.

Капитан внимательно посмотрел на меня, прикидывая что-то в уме, всего вероятнее — возраст. Сказал:

— О родителях, к сожалению, мне ничего не известно. Слышал, что отец погиб в сорок третьем не то на Дону, не то на Донце... Нет, подробностей не знаю...

Бывает, что прошлое, повинувшись какому-то внезапному толчку извне, широко распахивает свои ворота и мы существуем как бы в двух измерениях сразу... В лицо мне ударил ледяной ветер, косой снегопад закрыл горизонт, сквозь вой пикировщиков и визг стальных болванок я услышал приглушенный голос командира дивизии: «Получен приказ на отход...» И снова — шелест предосеннего леса и стук дятла. В первое мгновение я испытал чувство невыразимой грусти — сын войны, никогда не видевший отца... Могила, оставшаяся в расположении немецкой танковой армии... Потом меня захлестнула волна теплой благодарности к той девчонке, к той медицинской сестре Ирине Озолиной. Значит, свято несла она любовь своей юности, значит, помнила комбата, даже в незарегистрированном, «под честное слово», браке сберегла сыну фамилию отца, не дала умереть его памяти и его роду! И я чуть не сказал вслух: «Здравствуй, комбат!..»

Но вслед за этим снова пришла грустная мысль: неужели и внуки твои, комбат, будут еще носить военную форму?..



